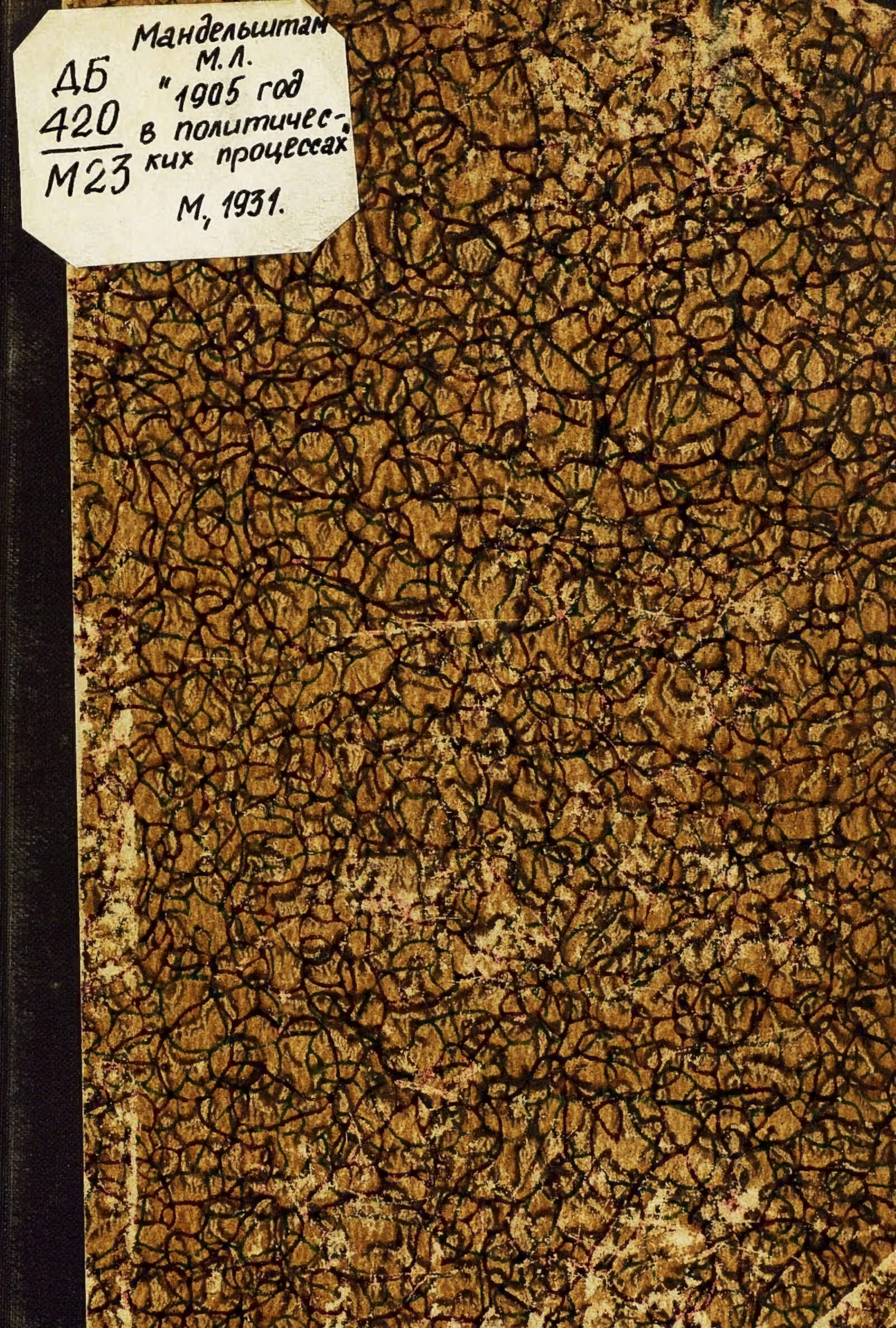


М. Л. МАНДЕЛЬШТАМ

1905 ГОД В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

ЗАПИСКИ ЗАЩИТНИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТКАТОРЖАН
19 · МОСКВА · 31


ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО
ОБЩЕСТВА
ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН
-И-
ССЫЛЬНО
ПОСЕЛЕНЦЕВ

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ
КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ,
ДОКУМЕНТЫ И ДР. МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО
ПРОШЛОГО РОССИИ

1931

№ 5-6 (LXX—LXXI)

МОСКВА

М. Л. МАНДЕЛЬШТАМ

1905 ГОД В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

ЗАПИСКИ ЗАЩИТНИКА

С ПРЕДИСЛОВИЕМ И РЕДАКЦИОННЫМИ ПРИМЕЧАНИЯМИ
Н. Ф. ЧУЖАКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МАНДЕЛЬШТАМУ

По мере того, как все жестче становится историческая обстановка, перед редакцией все чаще встает вопрос: предоставить тому или иному автору, порой нам чуждому, но в историческом плане все же весомому, предоставить ли ему, со всем «своеобразием» его заведомо несозвучных современности оценок и мышления, мирно покоиться в редакционной корзине, или же сохранить для читателя его ценную исторически рукопись и выпустить ее в свет, урезав только право автора «распространяться» вкривь и вкось и дав ему в сопровожатые как бы полит-корректора?

Есть несколько способов обеззаражения интересной, но политически дефективной, мемуарной книжки. Способ купюр и предисловия, не всегда достигающий цели и нередко умаляющий достоверность книжки. Способ «убеждения» автора по части исправлений, наиболее неприемлемый и убивающий всю книжку. И другие. Наиболее целесообразным представляется способ сохранения документальности текста, при условии попутного сопровождения его редакционно-критическими примечаниями. Этот способ мало приятен, конечно, для автора и может нас поссорить с ним, но . . . «истина дороже». Он, способ этот, увеличивает ценность книжки, делая ее по крайней мере двусторонней, если уж не исследовательской.

Передают, что после первого опыта редакции в этом направлении, — с книжкой Н. С. Русанова «В эмиграции», — сын автора, живущий в Москве, звонил т. Теодоровичу, редакционному сопроводителю книжки Русанова: «Вы испортили книжку моего отца». Чувствую, что я тоже «испортил» книжку Мандельштама моим сопровождением, и мне заслуженно будут по этому поводу «звонить». Приму эти звонки, как должное, но раскаяние вряд ли почувствую. Мы знаем достоверно, что на нашей каторжанской литературе учится молодежь, и воспитание ее нам именно «дороже».

Могут еще «звонить» по поводу полемичности тона примечаний, и это тоже будет заслуженно. Но в оправдание и тут скажу: тон примечаний — только отражение «музыки» автора. И «корректор», ведь, если рассудить по справедливости — тоже человек, и слух его так же способен преломлять явно «неверные» звуки.

Все это — в защиту метода издания. Теперь — по существу, о книжке и об авторе.

Михаил Львович Мандельштам — один из крупнейших и талантливейших политических защитников и довольно видный политический деятель описываемой им эпохи. Работа его дает гораздо больше того, что обещает ее заглавие. Внимательный по-своему наблюдатель и довольно активный участник общественно-политического движения тех лет, автор имел случай сталкиваться с представителями самых разнообразных кругов и социальных положений, от революционеров всех направлений и оттенков до представителей самого махрового черносотенства и сановной бюрократии.

Не ограничиваясь поэтому изложением политических процессов, в которых автору приходилось играть выдающуюся судебно-политическую роль, он набрасывает широкую картину общественно-политического движения 1902—1905 г.г. Следя за процессом нарастания революционного движения в стране, автор дает интересные характеристики в различных слоях общества — рабочих, крестьянских, интеллигентских и бюрократических как в столицах, так и в провинции. Рассказ свой он ведет в серьезном и вдумчивом по-своему тоне, вдаваясь нередко в более или менее подробный анализ отдельных политических моментов, но — живым, вполне литературным и местами даже образным языком.

Все это делает книжку М. Л. Мандельштама хорошо читаемой и ценной, как свидетельство живого наблюдателя. Прибавьте сюда еще подкупающую искренность автора, его всегдашнюю готовность признать то или иное заблуждение, наряду с трогательным стремлением его, уже глубокого старика, отдать свои силы современности, и — вы поймете, почему мы выпускаем книжку Мандельштама, при всех ее наивных диссонансах и, мягко говоря, старомодностях.

Нужно оговорить, что политическая судьба нашего автора довольно своеобразна. Он эволюционировал от пропагандиста марксизма, через неярко выраженное народничество к левому кадетизму, — с тем, чтобы к концу своей политической эволюции отказаться от своего лево-кадетского направления, одним

из лидеров которого он являлся, начисто отвергнуть и с.-р. и кадетов, внутренних и зарубежных, и признать свои политические ошибки.

В настоящее время, сознаваясь в «мутности» своего былого миросозерцания, в которой Ленин обвинял его когда-то, М. Л. Мандельштам целиком по-своему приемлет Октябрьскую революцию, естественным считает торжество марксистской идеологии и — верной большевистскую стратегию и тактику, оправданную всем позднейшим ходом истории. В этом М. Л. искренен, как и во всем.

Но все это отнюдь еще не избавляет его писаний от самых неожиданных и самых, откровенно говоря, несносно-раздражающих порой либералистских рецидивов. Бывают вот такие, хорошо знакомые ликбезникам, «рецидивы неграмотности», и — нечто вроде рецидивов политической «мутности» (Лениным так и сказано «мутности», а не «смутности») овладевает автором в самых ответственных местах. Нет-нет да старый адвокат, шатавшийся всю жизнь меж «братских» партий, из-за спины историка и выглянет.

Марксизм его, как был, так и остался сомнительным. Близость к народникам похожа на содружество бездейственного либерала. Что же касается российского широкодушия, свойственного нашему автору вообще, то оно и сейчас еще толкает его расточать комплименты своим далеким политическим противникам. Мы оставляем эти рыцарские расшаркивания неприкосновенными, но это не мешает нам над ними вслух смеяться.

Даже вдумчивость подхода автора к передаваемым им событиям как-будто изменяет ему порой, и обывательский масштаб оценок, рассуждений, даже самой психологии рассказчика определенно оскорбляет тогда читателя. Рождается ответное желание — воздействия насмешкой, демонстрацией отказа от приятного академизма, нескрываемой иронией.

При всей своей «междупартийной» колоритности, автор прежде всего — типичный представитель той мелко-буржуазной части бывшей цензовой интеллигенции, которая по самой природе своей была обречена на метание между революцией и так называемым «обществом». Соприкасаясь с революцией, даже наиболее искренние элементы этой «полуцензовой» интеллигенции светили лишь отраженным от революции светом. Исключения здесь только подтверждают правило. Как группа, элементы эти были революционно безлики и невольно растворялись в той среде, в которую они в данную минуту попадали. Сегодня он «мутный» марксист, завтра апологет «настоящего»

террора, послезавтра — «левый» кадет и приятный собеседник военных судей, министров и губернаторов. Хорошо еще, что он умелый рассказчик, и этим «оправданы» его шатания!

Очень характерным и для нашего автора является посменное окрашивание его в цвета того процесса, который он в данное время ведет. Сегодня он, по воле подзащитных, произносит громово-революционную, как ему кажется, речь; завтра он выступает поборником той или иной, более благоприятной отдельному подзащитному, статьи закона; послезавтра он и вовсе уже «проходит по судебному залу с притушенными огнями».

Скажут: особенность профессии и «тактика»? Да, верно, но не только тактика профессии, но и тактический оппортунизм. Оппортунизм не только адвокатско-цеховой, но и сословно-групповый! Необходимость в одиночку, по-кустарному обслуживать «хозяина» . . .

Вот — то, кажется, главное, что мы хотели сказать, приступая к путевождению по Мандельштаму. Самый же путеводитель — впереди.

Нужно заметить, что примечания писались нами раньше предисловия, в самом процессе чтения (вторично, по гранкам). Отсюда — и стихийно-рефлективный и до крайности неровный характер этих примечаний, носящий все следы прямого реагирования на столь же неровный текст. Местами сдержанно-академичный, чаще просто деловой, тон примечаний приближается кое-где к сатире. Это нужно добросовестно оговорить.

Делалось это не только «по-человечеству» (корректор не стерпел!), но и во имя просто целесообразности, требовавшей порой «снижения образа» ходульного героя, возводимого в канон, или «снижения» какой-нибудь достаточно филистерской по существу тирады, произносимой автором не в меру доктрально.

Знаем, что читатель-обыватель встретит смех плюясь и злобствуя, но смех все-таки — лучшее средство отучить прекраснодушие выражаться «красиво» . . .

Обыватель молится своим богам, — время об иконах заговорить по-человечески!

Н. Чужак.

МОИ ВОЗРАЖЕНИЯ

Н. Ф. Чужак пишет, что будет ждать от меня звонка по телефону с упреком в том, что он «испортил» мою книгу. Я с удовольствием буду звонить ему по всевозможным поводам, но только не по поводу моей книги; такого звонка автор путеводителя по мне не дождется: его не будет. Не будет потому, что я не только не нахожу, что Чужак испортил мою книгу, но убежден, что он и не был в состоянии этого сделать.

Я отвечаю только за написанное мною; Чужак — за написанное им. Я — за книгу, он — за сопутствующие замечания. А потому портить из нас каждый может только сам себе.

Автор предисловия с большим самопожертвованием обрушился не только на мою книгу, но и на меня самого, — самопожертвованием потому, что сам же он признается, что «обыватель» встретит его смех «плюясь и злобствуя».

Н. Ф. Чужак ставит мне, между прочим, в вину, что я окрашиваюсь в цвета политического процесса, который в данный момент веду. Он совершенно прав: защищая члена революционной партии, которому большей частью грозило тяжкое наказание, я считал делом деликатности и такта не навязывать ему своей идеологии, а развивать перед судом его взгляды. Один раз, в процессе Гершуни, я изменил этому правилу и процитировал взгляд на террор Короленко, и до сих пор, вспоминая об этом, я испытываю чувство стыда за свою необдуманную неделикатность. Прав Н. Чужак и в другом; я действительно считался с желанием подсудимого смягчить значимость его деятельности, чтобы уменьшить ответственность, и тогда шел «с притушенными огнями». Подсудимого я считаю хозяином собственной судьбы.

Разобрав меня, как адвоката, Н. Ф. Чужак, очевидно, входит во вкус «путеводительства по Мандельштаму» и не без язвительности отмечает, что я был «приятным собеседником судей, министров, губернаторов». Не знаю, испытывали ли они

«приятность» от моих бесед, но из всей моей книги видно, что я разговаривал с ними только тогда, когда это вызывалось интересами революционеров, мне вверенными, или когда это было необходимо для выяснения вопросов, касающихся моей личной судьбы.

Чужак находит меня смешным, «старомодным», вынутым из нафталина и «вслух смеется» над моим «российским широкодушием». Кажется, Чужак, упрекая меня в широкодушии, прав; но он ошибается, когда думает, что я «расточаю комплименты моим далеким противникам» (из эмиграции).

Действительно, во время моего пребывания за границей эмиграция вела против меня бешеную кампанию, при чем не стеснялась в приемах и печатала заведомую клевету. Зная прекрасно, что я вел самый скромный образ жизни, они доходили все же до того, что обвиняли меня в продажности.

Большим усилием воли я старался сохранить беспристрастие даже к людям, явно и заведомо пользующимся нечистоплотными средствами борьбы. Но комплиментов я не расточаю ни друзьям, ни врагам.

Милюков, например, остался для меня одним из даровитейших людей, которых я когда-либо встречал, но абсолютно лишенным всякого политического прогноза. Я всегда острил, что единственным средством свергнуть советскую власть было бы убедить Милюкова признать ее. Даже трехсотлетняя династия Романовых не могла выдержать его признания. Похоже ли это на комплименты?

Я считал и продолжаю считать и Маклакова одним из лучших ораторов, с простым, но скульптурно точным выражением мысли, самым корректным из моих противников, унизившимся до грубости, но не до клеветы. Чужак прав, сделав примечание, что его (Маклакова) пафос права, о котором я говорю, есть пафос царского права. Но ведь и Аристид прославился справедливостью рабовладельческого, а не коммунистического общества.

Но не ко всем своим политическим противникам я отношусь таким образом. Например, «знаменитого» петербургского профессора Миркин-Гецевича я считал и продолжаю считать насквозь желтым человеком, специалистом по обиванию прихожих, которому удалось добраться и до прихожей Пуанкаре.

Похоже ли это на комплимент? Я считаю большим достоинством «и на врага не клеветать». Я предпочитаю моральное падение моих противников своему собственному. Если, по мнению Чужака, это «старомодность», я предпочитаю быть старомодным.

Но перейдем к чисто политической характеристике, сделанной гидом по мне. Мне как-то неловко задерживать внимание на моей скромной особе, но раз мой комментатор счел нужным написать особый бедекер для туристов по Мандельштаму, я хотел бы, чтобы этот бедекер был по крайней мере без опечаток.

Н. Ф. Чужак прежде всего отмечает мои постоянные шатания. Он прав и не прав в одно и то же время. Он прав, поскольку речь идет о моих постоянных шатаниях между «братскими» партиями. Он не прав, поскольку обвиняет меня в шатании идей. Работая над свержением дворянского самодержавия, я действительно безразлично относился к вопросу, с какой партией я буду работать над задачей, составлявшей цель моей жизни. Если это вина, то вина времени, в которое складывался мой политический характер, вина душных восьмидесятых годов прошлого века. Я был «патриотом» революции, но не «патриотом» партии.

Может быть, мне, в силу крайне развитого индивидуализма мысли (который я считаю своим крупным недостатком), следовало бы оставаться всю жизнь беспартийным и оставлять за собой полную свободу политического действия. Во всяком случае, это было бы только организационным признанием фактического положения, так как по существу дела я всегда был беспартийным марксистом (по крайней мере, честно считал себя таковым).

Мое марксистское миросозерцание слагалось в конце восьмидесятых и начале девяностых годов, когда партия «Народная Воля» быстро шла на ущерб, а марксизм еще только зарождался. Типичными представителями этой переходной эпохи являются мои товарищи по петербургской работе того времени — Александр Ильич Ульянов, Лукашевич и другие.

От народовольчества я унаследовал принцип сосуществования классовой борьбы с общими, надклассовыми интересами, ценность политической свободы и некоторые другие основы идеологии этой партии. Н. Ф. Чужак считает все эти идеи либерализмом.

Если под либерализмом понимать признание частной собственности на орудия производства и землю, существование капитала и наемной рабочей силы, закономерность ее эксплоатации в очерченных законодательством рамках, признание рынка, как орудия обмена и распределения национального дохода, — то либералом я никогда не был. Но Чужак употребляет термин «либерализм» в безгранично широком смысле. Говоря, например, о грандиозной Ростовской манифестации, я замечаю: «Нельзя передать словами, какое громадное наслаждение испы-

тывали мы, защитники, в частности я, от такого близкого соприкосновения с подлинной революцией». И сейчас же мой спутник иронизирует: «Характерный вопль кабинетного либерала, впервые ошеломленного революцией!»

Я думаю, что либерализм тут не при чем, и волнение, испытанное мною, в достаточной степени объяснимо той пустыней, среди которой нам приходилось жить и работать в конце восьмидесятых и начале девяностых годов. Рабочих, народ, о которых мы когда-то говорили в тесных, конспиративных кружках, я впервые увидел в действительности. Позднейшим поколениям не понять ни наших радостей, ни наших печалей.

Чужак упрекает меня даже в простых человеческих чувствах. Он иронизирует и усматривает как бы либеральную подоплеку в том, что я тепло отзываюсь о помощнике начальника тюрьмы Якове Ивановиче и беспокоюсь о судьбе Шмита. В деле Шмита я поступил так, как мне подсказывал долг, но не болеть душой оттого, что я, выполняя свой долг, может быть, был причиной расстрела человека, я был не в состоянии. Точно так же и Каляев, к которому относятся, главным образом, насмешки Н. Ф. Чужака, в некоторые моменты своей жизни, в частности во время визита великой княгини, вдовы убитого им человека, должен был бы побороть свои чувства, но не испытывать их он не мог.

Повторяю, либералом я никогда не был. Всю свою сознательную политическую жизнь с девятнадцатилетнего до шестидесятичетырехлетнего возраста я был марксистом. «Мутным» марксистом — говорит Н. Чужак, повторяя отзыв Ленина. Этот эпизод составляет настолько значительный интерес сам по себе, что я позволю себе сосредоточить на нем внимание читателя.

В 1886 г. я был арестован, оторван от своих товарищей по работе, которые вместе со мной переживали тогда переход от народовольческой идеологии к марксистской, и выслан на родину в Казань. Здесь я начал пристально изучать политическую экономию и Маркса. Учась сам, я учил других и образовал целый ряд кружков, в которых читал доклады по учению Маркса. Вскоре я был опять арестован и на два года выслан в Симбирск, а по отбытии опять вернулся в Казань. И в Казани и в Симбирске все время я работал в кружках, пропагандируя марксизм. Тогда же я выпустил одну из первых книг по боевому марксизму — «Интеллигенция, как категория капиталистического строя».

В числе слушателей моих лекций был Ленин, тогда еще совсем молодой человек. Много позднее, в Швейцарии, он рас-

сказывал Радеку (а Радек потом напечатал) историю первого знакомства своего с Марксом («Раб. Москва», 1924 г., № 92).

«Там в первый раз он (Ленин) услышал о Марксе. Читал доклад студент Мандельштам, будущий кадет, и развивал в докладе взгляды «Освобождения труда». Доклад был очень мутный, но все-таки, как сквозь туман, Ильич увидел в нем мощную революционную теорию. Он добыл первый том «Капитала», который открыл ему новый мир».

Из слов К. Радека видно, что уже тогда, почти полстолетия тому назад, я развивал идеи «Освобождения труда» и, во-вторых, что, при всей «мутности» моих лекций, именно они впервые натолкнули Ленина на изучение Маркса. Полагаю, что это не так плохо и что даже, если бы это было единственным результатом моей работы, то моя политическая жизнь была бы оправдана.

Другой мой слушатель, ныне уже старый большевик, Стопани, так отзывается о тех же лекциях: «Первый ценный урок из кладезя марксизма большинство нашей группы молодых студентов получили от обладавшего достаточной по тому времени марксистской эрудицией прис. поверенного М. Л. Мандельштама (потом левый кадет в Москве)».

Сопоставляя эти отзывы, я думаю, что Ленин был прав, находя мои лекции «мутными». Не говоря уже о том, что в то время русский марксизм был в зародыше, на моем марксизме не могла не отразиться еще идеология «Народной Воли». Наше поколение было на рубеже. Мы не имели ни программы, ни руководителей, ни даже литературы. Мы должны были быть собственными отцами, сами прокладывать себе путь.

Сознаюсь: мой марксизм был и остается, пожалуй, до сих пор «мутным». Учение, воспринятое в юности, входит не только в сознание, но и в психику человека, и часто соскрести его можно только с самой жизнью. Мой марксизм был не только «мутным», но до известной степени и оппортунистическим, что объясняется полным отсутствием тогда сознательного рабочего движения. Бытие же родит сознание.

Я был «мутным» марксистом, был марксистом оппортунистическим, но зато никогда не был вульгарным марксистом, готовым, например, дуэль Онегина с Ленским объяснить борьбой крупного землевладения с мелким.

Я понимаю, что не Николай создал революцию, но я понимаю также, что личность царя содействовала ее ускорению и могла бросить в оппозицию неустойчивые элементы правящего класса. Вот почему в своей речи в защиту Каляева я выдвинул

один из сопутствующих моментов: невозможность для безответственных лиц, каковыми являлись великие князья, занимать ответственные места. Ни «ската от марксизма к либерализму», ни «скудости аргументов» здесь нет. Здесь просто-напросто нет опрощенного, вульгаризированного марксизма, нет упрощения всех схем, нет отбрасывания усложняющих и индивидуализирующих моментов.

В 1903 г. я, в виду начавшегося оживления политической жизни, переехал в Москву. Здесь, немедленно по приезде, я был приглашен группой большевиков регулярно работать в легальном ежемесячном журнале «Правда», где я вел общественную хронику и участвовал в редакционных собраниях. На этих собраниях участвовали М. Н. Покровский, Н. А. Рожков, И. И. Степанов-Скворцов и другие. Вскоре, вследствие расхождения с издателем, мы все вместе вышли из журнала.

Приблизительно через год после этого, я разошелся с большевиками как по вопросу о бойкоте Думы, так и по другим тактическим вопросам. Согласен с Чужаком, что в вопросе о бойкоте Думы моя роль была объективно реакционна, но объяснялась она, конечно, не либерализмом, а недооценкой сил революции.

Разойдясь не только с большевиками, но и с социалистическими партиями вообще, я вошел в «Союз Освобождения», чтобы потом перейти вместе со всем союзом в партию «Народной Свободы», где я занял крайнюю левую позицию и сохранил всю свою индивидуальность.

В кадетской партии я оставался не вследствие изменения своего миросозерцания, а потому, что по всему складу своего темперамента, по отсутствию у меня способностей конспиратора, по условиям работы, по моему общественному положению, наконец, я, по глубокому убеждению, мог принести движению наибольшую пользу, прикрываясь полулегальной партией и занимаясь широкой общественной деятельностью. Так я думал.

И только великая русская революция, только Октябрь, и то не сразу, внесли существенные поправки в мою идеологию; но я не поздравляю тех людей, которые пережили целое социальное землетрясение и ничего из него не вынесли.

Постепенно я увидел, что подлинная, народная революция, а не революция салонов либеральных и социалистических, есть процесс и грубо-материалистический, но в синтезе, в итоге он неотвратимо осуществляет революционную справедливость.

Я далеко не отношусь легкомысленно к тому, что происходит вокруг меня, и вижу те жертвы, которые несут трудящиеся

массы. Но если «патриоты» всех стран заставляли свои народы нести неисчислимые жертвы в эпоху «пятилетки» всемирной войны, то почему же теперь, когда историей поставлена задача необъятной величавости, задача перестройки мира на началах действительного равенства и уничтожения всяких форм эксплоатации, так почему теперь им меньшие, сравнительно, жертвы кажутся возмутительными и приводят этих людей в неистовство?

Будучи за границей, я не соглашался с эмиграцией, которая видела только жертвы и не хотела замечать конечной их цели. Но в то же время я не соглашался и со слащавыми баянами, воспевающими прелести обывательской жизни в эпоху величайшей революции, какую когда-либо знала история человечества.

Для меня было несомненно, что жизнь в СССР — суровая, тяжелая жизнь; но также было несомненно, что во время подлинной революции иной жизни и быть не может.

Я счел своим долгом вернуться в СССР, чтобы здесь вместе с трудящимися массами участвовать в тех тяготах, как моральных, так и материальных, которые по необходимости накладывает на народ во время революции перевод стрелки всемирной истории. Через полстолетие об этих тяготах историки будут печатать петитом, а положительные достижения революции будут жирным шрифтом выгравированы на скрижалях истории.

Все это я сознавал, еще живя за границей. Когда я приехал в советскую Россию, мне сразу бросились в глаза громадные достижения революции, выразившиеся в полном уничтожении власти денег и богатства, в почти полном бытовом равенстве и в громадном подъеме сознательности масс.

Не имея возможности, в силу своих лет, принимать энергичное участие в революционном строительстве, я по крайней мере утешаюсь тем, что несу издержки революции вместе со всей страной.

М. Мандельштам.

«КАЖДАЯ КНИГА ИМЕЕТ СВОЮ СУДЬБУ»

(От редакции)

Своеобразна судьба предлагаемой вниманию читателей книги М. Мандельштама.

Прежде чем приступить к ознакомлению с чрезвычайно любопытными мемуарами известного в свое время политзащитника и общественного деятеля, читатель не пройдет мимо «Спутника по Мандельштаму», тов. Чужака.

«Спутник» этот (отнюдь не попутчик), отдавая должное таланту автора, блеску его стиля, «серьезной вдумчивости тона» и, наконец, «подкупающей искренности автора», вместе с тем подвергает тщательному анализу все его мировоззрение, эволюционировавшее от «мутного» марксизма через неярко выраженное народничество к левому кадетизму, с тем (это о Мандельштаме), «чтобы к концу своей политической эволюции отказаться от своего лево-кадетского направления, одним из лидеров которого он являлся, и отдать свои силы современности» (разумеется, советской).

Предисловие т. Чужака вызвало «Мои возражения» Мандельштама, горячо парирующего некоторые стрелы «Путеводителя», и получилось два предисловия. Но этого мало. Турнир критика и автора в издательстве Общества бывш. политкаторжан не может оставаться без заключительного слова редакции, не желающей дезориентировать читателя, и таким образом в конечном счете мы имеем уж три предисловия, демонстрирующие как бы некий суд, где налицо все стороны «процесса»: обвиняемый — книга, и обвинитель — хотя и весьма корректный — т. Чужак, и защитник по призванию и профессии — сам автор, и наконец — председатель, редакция, обязанная дать свое «резюме».

Положение председателя обязывает не только «за страх»,

но и «за совесть» занять в споре о трактуемой книге позицию, исключающую всякий «парламент мнений» о прошлом.

Оставаться на позиции нелицеприятной и беспристрастной Немезиды в области суждения по вопросам истории, политики и творцов этой последней—было бы для нашей редакции делом лицемерным и не отвечающим нашим убеждениям, отвергающим всякие внеклассовые или надклассовые установки в области государства, политики и в частности суда, классовая природа которого известна Мандельштаму не хуже, чем нам.

В этом свете нам кажется несколько странным признание самим Мандельштамом своего излишнего «широкодушия», которое автор считает не грехом своим, естественно вызвавшим смех т. Чужака, а чуть ли не некоторым даже достоинством.

Иначе трудно понять автора, указывающего, что за рубежом, в споре с белогвардейщиной, поднявшей против него «бешеную кампанию» (при чем господа эти не стеснялись в приемах и печатали заведомую клевету), он, Мандельштам, «большим усилием воли старался сохранить беспристрастие даже к людям, явно и заведомо пользующимся нечистоплотными средствами борьбы».

Это — уже «российское широкодушие», возведенное почти в принцип «непротивления злу». И нужно признаться, что тут много от Толстого, но мало от Маркса и даже «братских партий» прошлого, вокруг которых вращался автор.

Отказываясь от «либералистских рецидивов», приписываемых ему т. Чужаком, автор утверждает: «Если под либерализмом понимать признание частной собственности на орудия производства и землю, существование капитала и наемной рабочей силы, закономерность ее эксплоатации в очерченных (?) законодательством рамках, признание рынка, как орудия обмена и распределения национального (?) дохода, то либералом я никогда не был».

Но тогда мы в праве спросить: кто же автор? Очевидно, в этой несколько сбивчивой цитате, клеймящей либерализм за признание наемного труда и его «эксплоатацию в очерченных законодательством рамках» (как-будто капиталистическая эксплоатация труда без очерченных законодательством рамок была бы приемлема для социалистов), дается методом «от противного» прямое указание, что Мандельштам не либерал, а кто-то другой. Кто же?

Оказывается, по его заявлению: «по существу дела я всегда был беспартийным марксистом (по крайней мере, честно считал себя таковым)».

Попробуем на минуту ему искренне поверить, но тогда —

как же прикажет автор даже «беспартийный марксизм» сочетать со следующим его собственным заявлением, вернее, размышлением вслух:

«Может быть, мне, в силу крайне развитого индивидуализма (который я считаю своим крупным недостатком), следовало бы остаться всю жизнь беспартийным и оставлять за собой полную свободу политического действия?».

Автор явно кокетничает своим «индивидуализмом», хотя и называет его теперь «крупным недостатком».

Но он, очевидно, не догадывается даже и теперь, до какой степени противоречит это качество автора — эпохе, коренной черте ее психологии.

В наше время колоссальные победы, гигантские сдвиги в быту, в политике и экономике, а в результате всего этого подлинное раскрепощение миллионов и миллионов «индивидуальностей» (не менее, во всяком случае, ценных для нас, чем «индивидуальность» автора), — все это стало возможным только потому, что восторжествовал всевластный клич: «В ряды! в шеренги!».

Вот почему люди, подобные нашему автору, и чувствуют себя теперь оставшимися где-то на захолустной тропе, в стороне от большого тракта истории.

Но если это так, то почему в стране строящегося социализма, в стране, ведущей самую ожесточенную классовую борьбу, издательство выпускает книгу Мандельштама? На этот вопрос отвечает в полной мере предисловие т. Чужака. А тот, кто ознакомится с его примечаниями, без особенных усилий убедится, что яд «мутности» восприятий и установок Мандельштама в полной мере обезврежен ими.

Что касается оценки книги Мандельштама по существу, то редакция тоже признает, что она, несмотря на указанные дефекты, представляет несомненную ценность, и даже примесь старомодностей и прекраснодушия не может ее уничтожить.

ГЛАВА I

ПАТРИАРХАЛЬНЫЕ ФОРМЫ СОСЛОВНО-КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

Дворянский характер самодержавия. — Непонимание этой истины крестьянством и даже интеллигенцией. — Рассказ Короленко о настроении крестьянства. — Зарождение русского марксизма. — Смешение основ народовольчества и марксизма. — Формы борьбы правительства с революцией. — Губернатор Полторацкий и голод. — Покушение Кочурихина. — 279 статья «Свода воинских постановлений». — Процесс Кочурихина. — Приговор и ходатайство о помиловании.

Дворянский характер самодержавия. Император Александр III передал своему сыну страну, по крайней мере, по внешности скованную глубоким летаргическим сном. Это был царь «миротворец» не только во внешней политике, но и во внутренней. Под внутренним миром он понимал полное подчинение крестьян помещикам и рабочих фабрикантам.

Трудно себе представить более сословно-дворянского царя. «Первый из дворян», так любил называть себя этот грузный и мешкообразный деспот, увековеченный гением Трубецкого на том самом месте, где менее чем через четверть века по его смерти вспыхнула величайшая революция новой эры.

«Первый из дворян» — это выражение передает сущность «внеклассовой» монархии русских самодержцев лучше, чем целые трактаты. Но наш коронованный миротворец во время самой коронации решил преподать крестьянам несколько уроков по политграмоте. С этой похвальной целью он произнес речь, обращенную к волостным старшинам, в которой призывал их «слушаться своих предводителей дворянства».

Караси приглашались повиноваться щукам. До высот царственного юмора не достигала даже сатира великого Щедрина!

Классово-сословного характера нашей монархии не понимали не только привилегированные классы, но и классы подчиненные, в частности крестьянство. Оно долго, очень долго не понимало дворянского характера нашей царской власти и в своих патриархальных грезах противопоставляло царя помещикам. Подтверждался тезис Маркса, что насилие противостоит в качестве права не только сознанию классов угнетателей, но и классов угнетенных. Что цари этим сознательно пользовались, лучше всего видно из слов Александра II:

«Я не могу дать конституцию, — объяснял он одному из своих приближенных. — Для всеобщего избирательного права русский народ еще не подготовлен. Если же я дам цензовую конституцию, то народ разорвет на части помещиков, так как дворянство держится только верой народа в царя».

Царь, как символ внеклассовой власти. Царь для народа был символом надклассовой власти. Царя обманывают помещики, его обманывают чиновники. Они скрывают от царя истину, но если бы только он знал, то несомненно заступился бы за своих крестьян.

Таково было патриархальное миросозерцание нашего крестьянства. Враг царя — враг народа. Я помню, В. Г. Короленко рассказывал мне эпизод из своего путешествия в ссылку в отдаленнейшие места Восточной Сибири.

Дело было в начале восьмидесятых годов, вскоре по вступлении Александра III на престол. Короленко отказался от присяги, и его из Вятки, где он отбывал гласный надзор полиции, переправляли с двумя жандармами в Якутскую область. В темную ночь на пароме Владимиру Галактионовичу пришлось переезжать угрюмую сибирскую реку. На одной стороне парома — Короленко и сопровождавшие его жандармы; по другую сторону — в кучку сбившиеся крестьяне...

— «Царев враг!» — донеслось до слуха Владимира Галактионовича недружелюбное замечание из враждебно к нему настроенной группы крестьян.

«Царев враг» звучало, как собственный, кровный обидчик.

И этот огромный капитал царизма два последних русских самодержца сумели растратить с головокружительной быстротой. С тех пор как крестьянство поняло, что русский царь в действительности только «первый дворянин», была решена судьба и монархии и дворянства. Но в эпоху, о которой сейчас идет речь, классового характера русской деспотии не понимали не только крестьяне. Ее не понимала интеллигенция и до конца не осознавали даже первые марксисты.

Зарождение русского марксизма. Русский марксизм зародился в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Мы, тогдашняя учащаяся молодежь, быстро подпадали под влияние всесокрушающей диалектики Маркса. Но тем из нас, кто уже был так или иначе связан с революционной деятельностью, было очень трудно порвать с партиями, к которым они раньше примыкали или идеологию которых раньше разделяли.

Меня это движение застало студентом Петербургского университета, товарищем по работе среди учащейся молодежи Шевырева, Александра Ильича Ульянова, недавно умершего Лукашевича и других лиц, образовавших уже после моего ареста и высылки из Петербурга «Террористическую фракцию партии Народной Воли» и организовавших покушение на жизнь Александра III 1 марта 1887 года. Но если мы будем просматривать программу этой партии, то ясно увидим, что, несмотря на принадлежность к партии «Народной Воли», мои товарищи по работе уже считали себя марксистами. Это сочетание марксизма с народничеством было характерно для той переходной эпохи.

Наше поколение жадно набрасывалось на доктрину Маркса, сохраняя в то же время некоторые основы народовольческого миросозерцания. Эти основы могут быть сведены к трем положениям: самоценность политической свободы, как блага самого по себе, а не только как революционного средства для взрыва траншей противника; второе — признание на ряду с классовой борьбой содружества классов, выражаемого в общенациональном начале; наконец, третье — повышенная оценка общего фронта борьбы с самодержавием.

Мне еще совсем недавно пришлось слышать доклад Н. Л. Мещерякова, пережившего, очевидно, ту же эволюцию, которую пережили и мы, эволюцию от народовольчества к марксизму, — доклад, в котором сам докладчик не без юмора рассказывал об амальгаме из народовольчества и марксизма, преподносимой им тогда в качестве учения Маркса.

Один из членов нашего кружка, Лукашевич, выйдя через много лет из Шлиссельбургской крепости и потому консервированный в своем миросозерцании дней его ареста, напечатал свои воспоминания. В этих воспоминаниях Лукашевич признает, что он, как и весь кружок, были тогда марксистами; и все-таки, анализируя природу русского самодержавия, он находит, что все классы русского тогдашнего государства должны быть противопоставлены по своим интересам деспоту,

т. е. царю. Таким образом человек, шедший под знаменем марксизма, не только считает русское самодержавие внеклассовым, но и противополагает его всем остальным классам общества, в том числе и дворянству. Классовый характер русского самодержавия был им не понят.

Высланный из Петербурга и оторванный от своих друзей по работе незадолго до организации ими покушения 1 марта, я, отчасти благодаря переписке с Ульяновым, отчасти независимо и самостоятельно, тоже перешел к марксизму. В Казани я организовал кружки молодежи, с которыми занимался по Марксу. Собрания происходили конспиративно, так что я не знал фамилий своих слушателей. Но впоследствии Ленин рассказывал Радеку, что с Марксом познакомился по моей лекции и, несмотря на то что находил ее «мутной», все же из нее увидел, что Маркс представляет собою огромную революционную силу, и принялся за его изучение.

Несомненно, «мутность», о которой говорил Ленин, и состояла в совмещении начал демократии с началами диктатуры и борьбы классов с общенациональным принципом. Но эта «мутность» осталась у меня и до сих пор, и я думаю, что она свойственна большинству нашего поколения. Последние годы нашего учителя Плеханова служат самым ярким доказательством моего утверждения.

Таким образом, патриархальность русской социально-политической жизни, подавление самодержавием воли различных классов, часто даже тех классов, аппаратом которых самодержавие являлось, — все это спутывало шашки на доске. И не только крестьяне, но и первые марксисты не всегда отдавали себе отчет в классовом строении русского самодержавия и русской государственности.

Но борьба классов, прежде чем возникнуть в идеях, существует в жизни. Это значит, что, несмотря на патриархальный покров, несмотря на отсутствие у крестьян ясного сознания классовой природы власти, в стране велась уже постоянная и упорная борьба между классами-угнетателями и классами-угнетенными. Отличительная особенность эпохи, о которой мы теперь говорим, заключалась не в отсутствии классовой борьбы, а в том, что ни одна из борющихся сторон не придавала своей борьбе политического значения. Во время царствования Александра III и в первые годы царствования его сына, Николая II, крестьянство совершало «политические преступления», наивно не понимая их политического характера.

Крестьянство боролось с царем, не подозревая этого, по-

добно тому, как некий литературный персонаж говорил прозой, сам того не зная.

Аграрные беспорядки того времени. Аграрные волнения не прекращались, но они не считались нападением одного класса населения на другой. Правительство рассматривало их, как простые беспорядки. Крестьянство, с своей стороны, не делало последнего, наиболее высшего обобщения и не связывало земельного вопроса с существующей формой правления. Борьба рабочих с капиталом тоже в значительной степени носила частичный характер, лишенный высшего синтеза: классовой борьбы.

Даже преступления интеллигенции, направленные против тех или иных носителей власти, даже террористические акты рассматривались не всегда, как процессы политические. Иногда они направлялись как преступления против порядка управления, тем более, что передача дела военному суду делала излишней квалификацию их как посягательства на государственный строй. Уж очень тихая, спокойная и ровная была жизнь, уж очень непоколебимыми казались самые основы государственного, а тем паче социального строя!

Помню, например, крестьянский процесс. Старшина, верой и правдой служивший своему царю и земскому начальнику, вечером сидел у себя и пил чай. На улице тьма кромешная. Раздается выстрел. Окно пробито, старшина на глазах своей семьи падает убитый наповал. Случись это позднее, например, в девятисотых годах, вся жандармерия была бы поставлена на ноги, а дальше — политический процесс, военный суд с эшафотом в перспективе. Но в конце прошлого столетия на это дело никто не обратил ровно никакого внимания. И меньше всего, кажется, сами подсудимые. Как сейчас помню, перед приговором палата ушла совещаться. В волнении мечусь я, как зверь в клетке, по судебному залу. На скамье подсудимых сидят, ожидая своей участи, десятка два крестьян, почему-то выхваченных из всей волости, одинаково ненавидевшей убитого старшину. Подсудимые меня подзывают. Подхожу и слышу вопрос:

— А на чей же счет теперича будут судебные издержки? — спрашивают меня.

Дело слушается при открытых дверях, но никто им не интересуется: ни публика — в зале ни одного постороннего человека; ни печать — несколько строк петита в местной газете рядом с подкинутым младенцем; ни даже сами обвиняемые, занятые вопросом о судебных издержках; ни революционные

партии, не узнающие в этом процессе одного из буревестников, уже реющих над бесконечными равнинами крестьянской России, под грозовыми тучами, готовыми разрядиться.

Что же касалось до политических процессов в тесном смысле этого слова, то они почти не ставились на суд, — по крайней мере, как общее правило. Александр III в области борьбы с революцией больше всего не любил шума и огласки. С большинством государственных преступников он разделывался мерами администрации. Печать не смела ни о чем сообщать.

Репрессии происходили в глубоком молчании.

Ночью тяжелые шаги на лестнице, властный стук в дверь, вваливающаяся ватага незнакомых людей в форме и без формы.

— Одевайтесь!

Стук засова, одиночка, особое совещание и его приговор после долгих лет томительного ожидания решения своей участи, этап, знаменитая Владимирка, тайга, Колымск, юрта, полугодовая тьма, оторванность от всего цивилизованного мира...

Судебные процессы, еще встречающиеся в первые годы царствования Александра III, в период ликвидации партии «Народной Воли», совершенно замирают впоследствии. Известно, что Александр III не хотел даже создать процесса из покушения на его жизнь, так называемого второго «первого марта», о котором мы уже упоминали. На рапорте министра внутренних дел он начертал, что не хотел бы создавать шума вокруг дела, а считал бы за лучшее расправиться в административном порядке и отправить обвиняемых в Шлиссельбургскую крепость, которая является тоже «неприятным наказанием».

Начало царствования императора Николая II было как во всех других отношениях, так и в отношении политических процессов продолжением царствования его отца. Если при нем и ставились иногда на суд дела политические, то они были скорее «последними тучами рассеянной бури», чем предвестниками новой грозы.

При этом, по верному замечанию Ульяновой-Елизаровой, в силу патриархальности форм классовой борьбы, со стороны бюрократии не проявлялось особого ожесточения. Так, ее брат Александр Ильич, сидевший во время суда в Доме предварительного заключения, передавал матери, что «начальник и люди здесь все хорошие». Из ее же воспоминаний мы узнаем, что товарищ прокурора, которому правительство доверило присутствовать при свидании приговоренного уже

к смерти Ульянова со своей матерью, услышав отказ Александра Ильича от подачи прошения на высочайшее имя о помиловании, присоединился всецело к его мнению:

— Прав он, прав! — воскликнул прокурор.

Губернатор Полторацкий и голод. Все подобные явления могли происходить потому, что привилегированные классы не сознавали еще всей угрожающей их классовому положению опасности. В революционной борьбе они видели, главным образом, борьбу за форму организации классового угнетения, за форму власти, а не за ее сущность, не за ее материальное содержание. И этой борьбе либеральные слои привилегированных классов не могли не сочувствовать.

Чтобы охарактеризовать отношение судов к революционному движению в начале девяностых годов и чтобы потом яснее была видна эволюция судов, считаю необходимым рассказать один из очень еще редких тогда террористических процессов, в котором мне пришлось участвовать.

Радек в своих воспоминаниях о Ленине, а затем и Стопани («На заре социал-демократии в Казани») рассказывают о моих занятиях с учащеюся молодежью по Марксу. Было это, вероятно, после моей высылки из Петербурга, но до высылки в Симбирск. Отбыв в Симбирске свой двухгодичный срок, я вернулся в Казань и вновь принялся за пропаганду идей К. Маркса.

Должен сказать, что к этому времени идеи социал-демократии, по крайней мере в Казани, сделали колоссальные успехи. До моей высылки главные споры велись между двумя народническими направлениями: между «чистыми» народниками и народовольцами. После же моего возвращения они почти всецело велись уже между народниками обоих толков, с одной стороны, и социал-демократами — с другой.

И вот, приходит ко мне одна из моих слушательниц (кажется, Санина) и рассказывает конфиденциально, что ее приятель и товарищ по фельдшерским курсам, Кочурихин, завтра намеревается стрелять в казанского губернатора Полторацкого. На мои дальнейшие вопросы моя слушательница сообщила мне, что, по словам Кочурихина, ему безразлично, убьет он губернатора или нет. Своим выстрелом он хочет обратить внимание общества на тот ужасный голод, который по вине Полторацкого переживало казанское крестьянство.

Дело было в 1891 году, во время бедствия, разразившегося на обширной территории Поволжья. Казанский губернатор Полторацкий, этот совершеннейший и законнейший тип бюро-

крата, уловив верхним чутьем желание Петербурга не только не раздувать бедствия голода, но и свести его к возможно меньшим размерам, превратив голод в недород, — в этих именно тонах повел свою политику. В его губернии «никакого голода не было». Существовал, правда, незначительный «недород», но самой ничтожной продовольственной ссуды было совершенно достаточно, чтобы с ним справиться. Так рапортовали земские начальники своему губернатору, так рапортовал и этот последний в Петербург. И весь бюрократический мир был доволен тем, что на «Шипке все спокойно».

А между тем Волга замерзла, железной дороги еще в Казани тогда не было, и подвоз продовольствия сделался чрезвычайно затруднительным, так что, когда бедствия уже нельзя было скрывать, помочь ему было поздно. Мой отец был врач, и вместе с ним мы объезжали и голодающие деревни. Нет слов пересказать, что мы увидели. Целые деревни валялись, больные голодным тифом. Родители торговали своими дочерьми. Без чувства содрогания нельзя было смотреть на ту смесь навоза, соломы и грязи, которая должна была заменить собой хлеб.

Покушение Кочурихина. Выстрел Кочурихина должен был раздаться как набат, сигнализирующий страшное народное бедствие. На мой вопрос, переданный Кочурихину моей собеседницей, почему, раз он решился на террористический акт, он не стреляет лучше в жандармского полковника Гангардта, прибегавшего уже тогда к чисто провокаторским приемам, Кочурихин ответил, что Гангардт угнетает интеллигенцию, а Полторацкий — крестьян, а что интересы последних ему ближе. Мне оставалось умолкнуть, что я и сделал.

Действительно, на другой день в назначенное время Кочурихин явился в приемную губернатора и, когда последний вышел к посетителям, выстрелил в него в упор. Пуля попала в грудь, но так как револьвер был негодный, то, едва прострелив сюртук, засела в нем. Таким образом, Полторацкий отделался легкой царапиной.

О предполагаемом покушении знал от Кочурихина еще Архангельский, как кажется, бывший тогда народным учителем. А потому оба они были привлечены: первый обвинялся в покушении на жизнь казанского губернатора, а второй — в недонесении об имеющем совершиться преступлении. Последнее, по тогдашним законам, каралось почти так же, как и само преступление (на две степени ниже). Дело было передано

военному суду с суждением по законам военного времени, по знаменитой 279 ст. «Свода воинских постановлений».

279 статья воинских постановлений. В виду того, что статья эта впоследствии сыграла громадную роль в борьбе правительства с революцией и стоила жизни не одному революционеру — да и не только революционерам, а часто и лицам, совершившим простое уголовное, иногда даже не особенно важное, преступление, — скажем о ней несколько слов.

По нашим общим законам смертная казнь была отменена для всех преступлений, кроме политических, но и здесь грозила только за совершенно исключительные деяния, как-то: за бунт, покушение на лиц царствующей династии и проч. Однако нет правила без исключений. Исключение, сделавшееся общим правилом, превратившим в свою очередь применение нормального порядка в редкое исключение, было положение об усиленной охране. На территории, объявленной на положении чрезвычайной охраны — местная власть в местностях, состоящих на положении усиленной охраны — министр внутренних дел, а в остальных губерниях — министр юстиции, по соглашению с министром внутренних дел, могли всякое дело изъять из ведения общих судов и передать военному суду с суждением по законам военного времени.

Военные законы карали строже, чем гражданские, но главное зло заключалось не в этом. Главное зло было именно в 279 ст. св. воинск. пост., по которой были преданы Кочурихин с Архангельским. Она имела в виду местности, охваченные пламенем восстания или служащие ареной боев с неприятелем. Но, как мы видели, администрация имела право и возможность объявить спокойнейшую Чухлому в непробудно сонное время как бы местом ожесточенных сражений, и тогда к ней применялись военные законы, применялась и 279 ст. свода воинских постановлений. Согласно этой статье, нападения на должностных лиц, с какими бы целями они ни производились, соединенные с убийством, покушением на него, нанесением тяжких побоев или хотя бы легких ран, а равно поджоги, грабежи, изнасилования карались смертной казнью.

Злополучная 279 ст. сыграла, как мы говорили, роковую роль в руках правительства. Нанесение пустой раны в драке городовому вело иногда к повешению. На эшафот посылались люди за совершенно бескровную экспроприацию. Одним словом, если подсчитать жертвы 279 ст., то получится целый лес виселиц.

По этой злосчастной статье были преданы Кочурихин и Архангельский, не принимавший никакого участия в преступлении, а виновный лишь в том, что он знал и не предал, не донес, т. е. сделал то же самое, что и я.

Переговоры о приговоре до суда. Оба подсудимых обратились ко мне за защитой. Усматривая некоторое противоречие в защите обвиняемых, я выступил в процессе защитником только Архангельского.

Для предварительных переговоров, а также для получения ордера на защиту я отправился к председателю военно-окружного суда, генералу Чиркину. Встретил меня генерал с той любезностью, которая вообще отличала военных судей в их отношении к защите. В завязавшемся разговоре о предстоящем процессе Чиркин сказал мне, что он предполагает обоих подсудимых приговорить к повешению.

Страшно потрясенный этим циничным предвосхищением приговора (тем более, что тогда смертная казнь была совершенно исключительной мерой, которой в моей практике еще не было), я стал доказывать генералу, что для Архангельского наказание должно быть понижено, так как он обвиняется лишь в соучастии, на две степени. Обычно это — пустое понижение, но в данном случае мы уходим от смертной казни и переходим к каторге.

Чиркин не спорил с моими юридическими доводами, а вместо того рассказал мне, что у них возникало уже такое сомнение по поводу вопроса о покушении, которое тоже понижает наказание на две степени. Когда они запросили по этому поводу главного военного прокурора, тот ответил, что должен быть вынесен смертный приговор. Я опять-таки возражал, что аналогии тут быть не может, так как покушение оговорено 279 статьей специально, тогда как соучастие в ней не упомянуто, а исключительный закон не может подлежать распространительному толкованию.

По выражению лица председателя суда я видел, что он колеблется, но не решится без согласия свыше уйти от смертной казни. Поэтому, не продолжая спора по существу, я предложил ему телеграммой изложить главному военному прокурору мои возражения и испросить инструкций. Чиркин с радостью пошел мне навстречу. Он соглашался с моими доводами, не хотел приговаривать Архангельского к казни, но и не решался взять понижение наказания на свою ответственность. Такова была та «независимость суда», которая воспевается сейчас противниками советского правосудия!

Кстати — вводный эпизод. Во время приведенной сейчас беседы секретарь суда пришел доложить, что губернатор желает воспользоваться законом, предоставляющим ему право вместо того, чтобы наравне с простыми смертными явиться в суд, требовать, чтобы суд выехал в полном составе вместе с прокурором, подсудимым и защитником к нему на квартиру и там подверг его допросу. Председатель вскипел.

— Передайте этому дураку, — обратился он почему-то ко мне, — что принц Уэльский, наследник английского престола, два раза давал показания стоя перед судом и не считал это для себя унизительным.

— Вы совершенно правы, — ответил я, — но мне кажется, что эта фраза будет звучать гораздо авторитетнее, если губернатор выслушает ее из ваших уст.

Как бы то ни было, телеграмма была послана, а на другой день, когда я поднимался по лестнице военного суда, первое лицо, которое я встретил, был Чиркин. Увидя меня, он издали замахал какой-то бумагой:

— Получился ответ на нашу телеграмму, — радостно приветствовал он меня. — Главный военный прокурор согласился с вашим толкованием. Он предлагает понизить для Архангельского наказание.

Процесс Кочурихина. После этого сообщения мы пошли в залу судебных заседаний и, как авгуры, с готовым приговором в кармане, начали вести судебный процесс, соблюдая все формы судопроизводства и все гарантии, предоставляемые подсудимым законом.

Процесс раскрыл жуткую картину. Земским начальникам было разъяснено, что голод — измышление либеральной печати и земских статистиков. И вот земские начальники, прекрасно понимая, что они обрекают крестьян на все ужасы голодной смерти, один перед другим начали искусственно преуменьшать размеры «недорода». В губернии эти преуменьшенные и ни с чем не сообразные цифры подвергались вторичной операции и в таком урезанном виде представлялись в Петербург, где высшие власти были в восторге от «исполнительного губернатора». На основании сводок продовольственная помощь Казанской губернии была сильно урезана.

Напрасно земские деятели и уездные земства обращались к губернатору, пытаясь убедить его в неправильности полученных им сведений. Губернатор отвечал, что он должен верить цифрам, ему официально доставленным. Губернатор забывал добавить, что цифры в точности соответствовали данным им

самим инструкциям. Видя надвигающееся бедствие, Кочурихин, человек, не принадлежащий к революционным партиям[1], написал губернатору письмо, заклиная его изменить свою политику. Разумеется, что письмо это полетело в корзину.

На вопрос председателя суда, почему он не проверил фактов, сообщенных ему Кочурихиным, Полторацкий с необыкновенно величественным видом ответил:

— На заявление каждого я не могу обращать внимание!

— Вы понимаете, — говорил Кочурихин в своем очень прочувствованном последнем слове, — сотням тысяч людей, живых людей грозит голод и смерть, а губернатор разбирает, кто ему об этом говорит: каждый или не каждый!

Приговор и ходатайство о помиловании. Все симпатии суда были на стороне Кочурихина, державшего себя с большим мужеством, но это не помешало приговорить его к смертной казни. Однако, симпатии сказались в энергичном ходатайстве о замене казни долгосрочной каторгой, что по тому времени было равносильно смягчению наказания самим судом. Александр III обычно удовлетворял такие ходатайства судов. Архангельский же был приговорен к каторге на 12 лет и тоже с ходатайством о дальнейшем понижении наказания за пределы, доступные для суда.

Выйдя из совещательной комнаты и провозгласив приговор, судьи подошли к нам.

— Почитайте наши мотивы, — говорили мне полковые судьи, вовсе не расположенные к сантиментальности и не отличающиеся особенной мягкостью. — Прямо по-отечески написаны.

Должен сознаться: я был поражен. Мотивы были написаны не только «по-отечески». Они были смелы. Установив, что преступление было совершено Кочурихиным «не по корыстным, личным или каким-нибудь низменным мотивам», но что, совершая покушение, Кочурихин «был движим исключительно своей любовью к родине и народу», суд отметил в своих мотивах, что Кочурихин сделал все от него зависящее, «чтобы помочь крестьянству Казанской губернии», которому, «по его, Кочурихина, мнению, грозил голод». И только после того, как написанная им для местной газеты статья не была пропущена цензурой, а частное обращение к губернатору, «по его, Кочурихина, мнению» (постоянный припев мотивов), было оставлено без последствий, подсудимый, «движимый глубоким

---

[1] Ныне — член ВКП(б), член О-ва политкаторжан.

заблуждением, что путем покушения он обратит внимание правительства и общества на надвигающееся, по его мнению, народное бедствие, совершил свое преступление».

Написано «по-отечески»!

Изложенный нами процесс Кочурихина и Архангельского, как мы легко можем видеть, является процессом чисто политическим. Но правительство предпочло направить его, как обычный процесс против порядка управления, а для того, чтобы добиться смертного приговора, передало дело в военный суд. Мы видим, что даже его собственный аппарат, его суд сделал в то время все возможное, чтобы предотвратить смертную казнь.[1]

Мы остановились на этом процессе, чтобы не дать ему кануть в лету. Во-вторых, мы хотели показать патриархальную еще обстановку политической жизни конца восьмидесятых годов.

Происходило это, конечно, потому, что командующие классы были глубоко убеждены в незыблемости своих классовых привилегий, казалось, сотворенных господом-богом вместе с сотворением мира. Они верили, что господь создал Адама, Еву и дворянство.

Мы вскоре увидим, как от этого патриархального благодушия не осталось и следа, как только господствующие классы начали чувствовать колебание почвы под своими ногами. Мы увидим, как они вооружатся тогда до зубов всеми устрашающими атрибутами государственной власти, как беспощадно они станут относиться к своим политическим и классовым противникам.

Во избежание всякого недоразумения мы должны оговориться, что и во время патриархальных форм борьбы нас иногда поражает жестокость правительства. Якутские расстрелы, ужасы этапов, ссылки без суда и следствия, — все это слишком хорошо известно, чтобы нужно было здесь об этом много распространяться.

---

[1] Автор несколько преувеличивает патриархальность первых политических судов, и это мало вяжется с заключительным абзацем его настоящей главы. — Ч.

ГЛАВА II

ОЖИВЛЕНИЕ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II

Черты характера Николая II, облегчившие развитие революционного движения. — Сужение базы власти. — Проекты переворота. — Оживление революционного движения. — Превращение материальной базы революции в психическое состояние масс.

Николай II. Николай II как бы самой судьбой был предназначен для облегчения прихода революции. Слабовольный и упрямый, колеблющийся и жестокий, самолюбивый и застенчивый, завистливый и бесталанный, Николай не мог сгруппировать около себя талантливого, преданного за совесть и энергичного правительства. Это звучит смешно, но Николай II завидовал своим собственным министрам. Отправляя Куропаткина на японскую войну в качестве главнокомандующего, Николай обратился к нему при прощании с знаменитой фразой:

— Вы видите, — сказал император своему собственному полководцу, — что я не завистливый, иначе я никогда не назначил бы вас.

Царь, ревнующий к славе своих собственных полководцев! Такая идея могла притти в голову только ничтожному характеру. Николай по своему характеру мог терпеть около себя только круглые ничтожества. Витте он ненавидел упорной, мстительной ненавистью, Куропаткина он не любил. Достаточно сервильного министра Муравьева он не удерживал только потому, что Муравьев все-таки был не лишен таланта. Столыпин пал жертвой террористического акта тогда, когда его почетная отставка была в сущности уже решена. О Плеве не слышали ни одного слова сожаления.

Мы нарочно перечислили людей самого разнообразного направления, чтобы показать, что Николай не выносил круп-

ных людей, как таковых, совершенно независимо от их направления. Он выносил только одни ничтожества, вроде изъеденного молью Горемыкина или по-дворянски глупого Сипягина. Даже в надвигающийся момент смертельной опасности, когда «рука роковая» уже не чертила, а дочерчивала на скрижалях истории последние слова, Николай продолжал окружать себя круглыми бездарностями. Горемыкин, Трепов, Протопопов и Голицын — вот его любимые министры в момент, когда неприятель грозил существеннейшим интересам России, когда он победоносно продвигался вперед, захватывая одну губернию за другой. Голицын сам чувствовал свою несостоятельность, он упорно отказывался от поста премьера.

— Если бы кто другой говорил обо мне то, что я сам говорил государю, отказываясь от назначения, то я должен был бы вызвать его на дуэль, — рассказывал премьер своим друзьям. И все-таки он был назначен, и именно ему выпало на долю встретить революцию лицом к лицу.

Николай II по слабости своей воли не мог дать отпора крупным людям, а по силе своего мелкого самолюбия он не хотел им подчиняться. Поэтому-то последний Романов был самым блестящим дезорганизатором власти, которого только знала история.

Своими колебаниями он расшатывал все устои власти. В политике самый худший курс лучше, чем его полное отсутствие, а именно такое отсутствие раз принятого определенного курса и составляло отличительную черту Николая II. При малейшем наступлении революции он терялся и уступал для того, чтобы сейчас же обмануть и взять назад «дарованное», лишь только положение выпрямится.

Необычайная — даже для коронованных особ — вера в себя, в божественное происхождение своей власти, режим личной прихоти поссорили Николая даже с цензовым дворянством, т. е. с классом, выдвинувшим самодержавие, как аппарат своей власти, своего классового господства и угнетения; тем классом, на который монархия опиралась и интересы которого составляли материальное содержание власти в России. Здесь мы могли наблюдать интересное явление борьбы правящего класса с тем самым аппаратом власти, который был им создан и выдвинут. Эта борьба аппарата власти с ее классовой опорой всегда облегчает другим классам приход к власти, если, конечно, в объективных условиях экономических отношений существуют для этого необходимые предпосылки.

Именно с таким случаем мы и сталкиваемся в русской ре-

волюции. И несомненно, что борьба правящего класса с правящим аппаратом из-за формы правления в значительной степени облегчила захват власти новыми классами.

Третьим фактором, «облегчившим роды» нового общества и падение монархии, было невероятное сужение базы власти, явившееся следствием борьбы Николая II с классами, на которые он сам должен был опираться. Эта борьба разогнала от трона все наиболее независимое, сильное и по-своему честное, что еще оставалось под знаменем монархического принципа. Царь требовал не только преданности монархии, династии и лично ему, — он требовал, чтобы его воля, даже его прихоть была священна для его сторонников. При таких условиях около трона остались люди без чести и убеждений, ищущие власти только для личных выгод. Естественно, что такой тростник не мог служить опорой монархии. Лакеи обладают для совместной с ними работы тысячью удобств и только одним маленьким недостатком: именно тогда, когда они бывают нужны, но нет возможности оплачивать их услуги, лакеи разбегаются. И все мы были свидетелями, как позорно разбежалась трусливая шайка, окружавшая Николая II в момент его бедствия.

«Повсюду предательство, подлость и трусость», заносит в свой дневник всеми покинутый монарх, не понимая, что «предательство, трусость и подлость» он сам культивировал и что в дни своего могущества сам поступал таким же образом. Он только пожал то, что сам посеял.

Отбрасывая от себя сегодня Витте, завтра Столыпина, послезавтра Самарина, Николай II вместе с тем отбрасывал в оппозицию те общественные слои, выразителями которых были эти фигуры. Таким образом, постепенно суживался самый постамент власти, пока не получилась характерная картина неустойчивого равновесия, конуса, перевернутого вверх основанием, когда все здание власти опиралось на небольшую опричину, группировавшуюся около жестокой, глупой и истеричной царицы.

Ко всему этому следует прибавить, что царь был искренно убежден в том, что революция 1905 года была возможна только потому, что он не дал ей твердого отпора во время войны. А потому, при наступлении новой войны, он решил быть твердым во что бы то ни стало, ни с чем не считаться и не делать никаких уступок, царь считал, что теперь он научился управлять; а это означало, что теперь царь уже не будет прислушиваться к общественному недовольству. В этом решении Николая II поддерживали — если не дворянство, то «союз

объединенного дворянства», и если не народ, то «союз русского народа». Эти фальсифицированные организации классов заменяли для близорукого монарха самые классы.

Проекты переворота. Таковы были как бы дополнительные причины, облегчавшие ход сначала буржуазной, а потом и пролетарской революции. Само собою разумеется, что, если бы в общественно-экономических отношениях не назрели условия для социальной революции, все дело могло бы ограничиться дворцовым переворотом.

И действительно, о таком перевороте мечтали не только либеральные круги, но и сферы, близко стоящие к трону. Предполагалось похитить императора и отправить его в Англию. В заговоре, очевидно, принимала участие ставка. Н. Н. Щепкин рассказывал мне, что, когда в качестве деятеля земского союза он собирался поехать в ставку, П. Н. Милюков, очевидно, бывший в курсе заговора, отсоветовал ему это делать. Но узнавши, что Щепкин собирается в ставку значительно позднее, сказал:

— Ну, тогда вы уже можете спокойно ехать.

О чем шла речь и почему Щепкин должен был отложить свой визит в ставку, Милюков тогда Щепкину не объяснил.

Около того же времени ко мне лично поздно вечером однажды пришел Д. И. Шаховской и в разговоре со мной просил меня разработать вопрос об устранении императрицы Александры Федоровны от регентства по основным законам.

— Этот вопрос в Петербурге разрабатывает Маклаков, — сказал мой собеседник, — но вы тоже займитесь им.

Кроме этого проекта государственного переворота, существовал, очевидно, еще и другой, в котором, кажется, принимала участие царская фамилия или, по крайней мере, некоторые из ее членов. Предполагалось арестовать и отправить в Англию не императора, а императрицу, которую царская фамилия ненавидела и считала причиной всех бед.

Но расчет был сделан без хозяина, а хозяином в то время был уже народ. Борьба за форму власти уже не могла удовлетворить массы и, главным образом, рабочих и крестьян, которые готовы были вступить в борьбу за ее материальное содержание.

Тем не менее, само собой понятно, что изолирование государя внутри правящих классов, борьба привилегированных сословий со своим аппаратом — бюрократией — и борьба этого аппарата против своего самодержавного главы не могли не разложить власть и тем ослабили силу сопротивления.

Базис власти был сужен до острия шпаги, и вот почему, между прочим, победа революции оказалась такой легкой. Дворянско-промышленная монархия пала, как карточный домик.

Оживление революционного движения при Николае. И когда подумаешь, что все это чудесное превращение произошло на протяжении каких-нибудь десяти лет! В 1891 году Россия была погружена в «вековую тишину», а в 1901-м царь уже жалуется на смуту, потом — на «небывалую смуту». В 1894 году тронулся лед, а в 1905 г. — уже полный ледоход.

Революционное движение мчится в семимильных сапогах! Майские манифестации рабочих, стачки, беспорядки во всех высших учебных заведениях. Из городов движение перебрасывается в деревню. Пылают весь юг и вся Волга. Начинается террор. Кукольный деспот теряет голову, мечется из стороны в сторону. Плеве он заменяет Святополк-Мирским, чтобы этого последнего заменить Треповым, а от Трепова перейти к Витте. Позорная, бесцельная и бессмысленная японская война. Полное непонимание Николаем международных отношений, — если только тут можно говорить о непонимании, — непонимание, стоящее России двух войн. Бунты во флоте, бунты в армии.

В каждой революции наступает момент, когда она из отношений техники и экономики превращается в психологическое состояние масс. Репрессии, которые еще недавно казались такими эффективными, вдруг перестают действовать. Они бессильно повисают в воздухе.

На здании бывшей Московской думы теперь красуется надпись: «Революция — это вихрь, который сметает всех, ему сопротивляющихся». Можно сказать больше: революция обращает себе на пользу все, что противополагается ей. Орудия, против нее направленные, она обращает в средства для достижения своих заданий и целей.

Это положение относится одинаково и к средствам реакционно-репрессивным и к мерам либерально-освободительным. Святополк-Мирский, Витте так же содействовали революции, как Плеве, Столыпин, Горемыкин, Трепов, великий князь Сергей и другие.

ГЛАВА III

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Передача дел о государственных преступлениях судебным органам. — «Уложение о наказаниях» и «Новое уголовное уложение». — Агитирующее значение судебных процессов. — Политическая защита в прежнее время и в революционный период. — Роль политических защитников. — Репрессии против них. — Аресты политических защитников. — Политическая защита и печать. — Демонстративный уход защиты из процесса, как протест против нарушения закона. — Борьба судебной власти с адвокатурой в случаях оставления залы заседаний. — Организация первого кружка политической защиты. — Другие кружки. — Кружки политических защитников в провинции. — Разгром черносотенцами квартиры Кальмановича. — Молодежь. — Тарарыков и его убийство. — Дворянство против бессудных расстрелов исключительно дворян. — Кружки политических защитников организуют адвокатуру. — Образование адвокатского союза. — Распад организаций политической защиты. — Роль, сыгранная ими в освободительном движении. — Классовый характер дореволюционного суда. — Исключительные суды. — Приспособление судов к политическим делам. — Щегловитов и Павлов.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПЕРЕД СУДОМ

Передача дел суцебным органам. Одним из самых ярких доказательств высказанной нами мысли служит судьба передачи дел о государственных преступлениях судебным органам, — передачи, произведенной министром внутренних дел Плеве, несомненно, в целях более успешной борьбы с революцией и вместо того немало содействовавшей распространению революционного движения.

Мы уже говорили, что в начале царствования Николая II и почти во все время царствования его отца, Александра III, за исключением краткого периода ликвидации «Народной Воли», правительство предпочитало разделываться со своими противниками в административном порядке, не прибегая к помощи судов. Меры эти практиковались с незапамятных времен, но только «диктатор сердца» в конце царствования

Александра II привел их в известную систему. Были изданы особые правила, в шутку называемые конституцией Лорис-Меликова. В частности, административная ссылка, например, не могла продолжаться по этой конституции дольше пяти лет. Конечно, ссылка на пять лет в Туруханский край или в Якутскую область, «куда черный ворон костей не заносил», и сама по себе уже составляет «очень неприятное наказание», но часто и его правительству казалось мало. И, вопреки закону, сроки ссылки удлинялись, а иногда удваивались.

Но когда Плеве был призван Николаем II на пост министра внутренних дел, этих административных скорпионов ему показалось мало. Для него дело борьбы с революцией было не новым. На этой именно борьбе он сделал свою блестящую карьеру, превратившись из скромного товарища прокурора провинциального суда во всесильного министра внутренних дел.

Будучи директором Департамента полиции при графе Толстом, призванном Александром III на пост министра внутренних дел для упрочения решительно взятого им реакционного курса, Плеве энергично занялся ликвидацией революционного движения вообще и партии «Народной Воли» в частности. Среди безмолвия восьмидесятых годов, среди еще не пробудившихся для сознательной политической жизни масс, когда революция держалась, главным образом и даже почти исключительно, на группах интеллигенции, не имеющих прочных опор в народе, это ему удалось; но репрессии, разразившиеся над страной, не излечили болезни, а загнали ее внутрь.

Как бы то ни было, в восьмидесятых годах Плеве удалось снять революцию с поверхности и разгромить партию «Народной Воли». Естественно, что, призванный Николаем II специально для борьбы с революцией, Плеве, уже не директор Департамента полиции, а министр внутренних дел, прибег к тем же приемам репрессий. Плеве не был умным человеком государственного масштаба: он был умным бюрократом. И вот, чтобы усилить репрессии, ему нужно было разрушить те ограничения, которые были связаны с мерами административной расправы. К ним уже притерпелись, и они не способны были поразить воображение. Для Плеве нужны были каторжные работы, нужно было лишение прав состояния, пожизненная ссылка, смертная казнь!

Именно с целью усиления репрессий Плеве и решил, не отказываясь от административной расправы там, где не имелось достаточных улик, в то же время дела хотя бы с ничтож-

ными доказательствами передавать на рассмотрение судов. Таким образом, Плеве рассчитывал одним выстрелом убить двух зайцев. Во-первых, неимоверно усилить репрессии, и ими запугать революционеров. Во-вторых, сделать вид, что правительство вступает на путь законности, и таким путем придать своей политике, по существу глубоко реакционной, либеральную внешность.

Задолго до этого времени, когда часть литературных органов требовала, чтобы административные меры против печати были заменены мерами судебными, Щедрин ворчал:

— Почему вы думаете, — спрашивал он у своих товарищей по перу, — что скорпионы судебные будут лучше скорпионов административных?

Плеве же совместил и скорпионы судебные и скорпионы административные, прикрыв всю эту шулерскую игру фронтоном законности. Сам вышедший из недр прокуратуры, Плеве пригласил себе на должность директора Департамента полиции Лопухина, прокурора судебной палаты, который тоже хотел сочетать либеральную законность с реакционнным произволом.

Самую злую критику на этот либерализм Департамента полиции я слышал от ... жандармского полковника Казанского жандармского управления Мочалова. Надо сказать, что Мочалов уже тогда был типом провокатора, старающегося войти в доверие обвиняемого. Во время обыска, у меня производимого, я указал Мочалову на незаконность обыска и на то, что новый директор Департамента полиции Лопухин хвастается введением законности в производство жандармских дознаний.

— Как незаконный обыск? — ответил на мое замечание Мочалов. — Разве я не поставил статьи закона, на основании которой я произвожу у вас обыск? Первое время я действительно никак не мог понять, чего от меня требует Лопухин, но теперь я уже освоился прекрасно с новым положением. Отправляясь на обыск или арест, я составляю постановление с подробным указанием статей закона, которые мне это разрешают делать. Таким образом, все устраивается к общему удовольствию: и Лопухин доволен, что соблюдены все статьи закона, и я могу работать без помехи, как привык работать до введения режима законности.

Можно ли было злее и с бо́льшим сарказмом обрисовать тот режим законности, который Плеве и Лопухин ввели в область жандармского дознания?

До передачи дел о государственных преступлениях органам судебной власти соответствующие статьи закона проставлялись жандармскими полковниками, после же передачи — прокуратурой и судами. Вот и вся разница, если не считать, что статьи, проставляемые судами, дышали каторгой, поселением и смертью!

«Уложение о наказаниях» и новое «Уголовное уложение». При передаче политических дел суду правительству пришлось сразу столкнуться с некоторыми затруднениями, вытекающими из архаичности нашего старого «Уложения о наказаниях». Оно писалось тогда, когда о политических преступлениях, как о массовом явлении, не могло быть и речи. Государственные преступления были делом совершенно исключительным по своей редкости. А потому, если в то время считалось аксиомой, что вообще «Уложение о наказаниях» является совершенно несоответствующим новым условиям жизни и новым взглядам, то в особенности это следует сказать относительно раздела, который касался политических преступлений.

Очень многие преступления были совершенно не предусмотрены уложением. Законодателю в эпоху городничих, Тяпкиных-Ляпкиных, Молчалиных и Фамусовых и в голову не приходило, что подобные преступления вообще возможны. Так, старый закон не знал политической демонстрации. И когда были преданы суду участники знаменитой демонстрации у Казанского собора, то Сенату пришлось под видом толкования закона совершить его возмутительное нарушение и в сущности создать несуществовавшую уголовную норму.

Но если устаревший кодекс, с одной стороны, ставил правительство в затруднение отсутствием необходимых норм, то, с другой стороны, старое «Уложение о наказаниях», вообще отличавшееся полным отсутствием гибкости, было в особенности неподвижно в отношении политических преступлений. Достаточно сказать, что за передачу какой-нибудь нелегальной брошюрки, при всех смягчающих обстоятельствах, суд не имел ни права, ни возможности назначить наказание меньшее, чем несколько лет арестантских рот, притом с лишением всех особенных прав и преимуществ. Даже царское правительство не всегда на это решалось. Не прошло и года после возобновления судебых дел по политическим процессам, как пришлось в самом спешном порядке вырывать из нового «Уголовного уложения», уже утвержденного государем, но которое правительство так и не удосужилось ввести в действие

до самого падения монархии, одну его часть, касающуюся государственных преступлений. Эти вырванные страницы вводятся в действие в спешном порядке.

Таким образом, рядом со скорпионами административными появились еще скорпионы судебные, к которым прибегали каждый раз, когда имелись судебные доказательства или хотя бы их тень. Когда же недостаточной казалась и нормальная судебная мера, то в распоряжении правительства всегда оставалась возможность передать дело военному суду с суждением по законам военного времени.

Такова была та «либеральная» реформа, которая была введена Плеве в целях более успешного подавления революции. Но, как мы уже говорили, у подлинной народной революции есть волшебная палочка, обращающая все направленные против нее меры в орудие собственного торжества. Это случилось с повышением репрессий, связанным с передачею дел судебным органам.

При введении судебного порядка Плеве не учел одного. Он не учел громадной пропагандирующей роли самого судебного процесса. Революция превратила политические процессы в противоправительственные демонстрации, порой даже в более сильные и яркие чем те, которые ставились на суд. В эпоху подъема революционной волны к ним, к этим процессам, с необыкновенным напряжением приковывалось общественное внимание.

Плеве, конечно, не мог этого не предвидеть, но он слишком полагался на закрытие дверей судебных заседаний. Здесь он опять показал себя бюрократом, полицейским чиновником, и только им. Он не предвидел той агитации, которая должна была создаться во время политических процессов, т.-е. именно того, что произошло.

Агитирующее значение политических процессов. Прежде всего самые двери судебных заседаний запирались не настолько плотно, чтобы общественное мнение не могло туда проникнуть. Родственники подсудимых, свидетели, судейские, адвокатура, — все это могло присутствовать легально, с разрешения председателя. Но, кроме того, было много и других способов проникнуть в зал судебных заседаний. В особенности это следует сказать о судах военных. Автору этих строк сплошь и рядом приходилось вести процесс формально при закрытых дверях, а фактически при переполненном зале, гораздо более переполненном, чем на многих процессах, двери которых были широко открыты для публики.

Иногда правительство воображало, что оно выйдет из процесса торжествующим в глазах общественного мнения, и само открывало двери. Тогда мы устремляли все наши силы, старались с особенной тщательностью обставить защиту и давали правительству генеральное сражение. Стоит назвать только процессы: гомельский, дело аграрных беспорядков в имении великого князя Сергея Александровича, дело социал-демократов и другие, чтобы напомнить о скандальных поражениях правительства там, где оно рассчитывало выйти из суда с гордо поднятой головой и не закрывало дверей судебных заседаний.

По делу аграрных беспорядков, например, защите удалось с несомненностью установить, что Сергей, этот столп реакции, был в то же время и отъявленнейшим кулаком по отношению к своим крестьянам. Имение давало больше 12% на вздутую покупную сумму. Поневоле приходил на ум стих Шекспира:

> Вот видишь, друг Горацио, нет в Дании ни одного злодея,
> Который не был бы и негодным плутом.

При переполненном зале слушались даже такие процессы, как процесс Каляева, Гершуни и др. Правда, на таких процессах публика была специфическая, но и среди нее находилось много живых людей, оппозиционно настроенных . . . даже сановников, которые, выйдя из заседания, разносили подробности процесса, речи подсудимых, их защитниов и, таким образом, вольно или невольно удовлетворяли общественную любознательность. Их рассказы подхватывались широкими общественными кругами.

Около массовых процессов рабочих и крестьян (по преимуществу, конечно, рабочих) сосредоточивался напряженный интерес фабрик и заводов. Часто при разборе дел целые толпы рабочих и ремесленников-мещан стояли у закрытых дверей заседания, находясь в непрерывном общении с родственниками подсудимых, свидетелями, защитниками и теми из самих подсудимых, которые оставались на свободе. Отдельные эпизоды особенного революционного значения, резкие заявления подсудимых, агитационные места из речей защиты, смелые показания свидетелей, — весь этот горючий материал, подобно зажженной соломе, вылетал на улицу и жадно подхватывался публикой для того, чтобы составить потом на фабрике тему живейших обсуждений.

Наконец, немаловажную роль в превращении закрытых юридически в фактически открытые для самой широкой публики процессы сыграла печать.

Посредником между печатью и судебными заседаниями были политические защитники, а потому подробно на этой теме мы намерены остановиться в следующей главе, когда будем говорить о защите. Здесь же лишь скажем, что одной из главных задач, которые перед собой ставила политическая защита, являлось возможно более широкое популяризирование политических процессов как в легальной, так (по преимуществу) и в нелегальной печати.

Таким образом, случилось то, что меньше всего мог предвидеть Плеве, передавая дела о государственных преступлениях на рассмотрение судебных учреждений. Судебные процессы сделались одним из мощных орудий пропаганды революционных идей и оппозиционного настроения в стране. Плеве хотел из судебных процессов создать орган усиленной репрессии; — революция превратила их в свое собственное орудие.

«Революция сметает все, ей противящееся»!

Нет, революция обращает все, ей противящееся, в орудие собственной победы!

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

П о л и т и ч е с к а я з а щ и т а в р а з н о е в р е м я. Как война родит героев, так политические процессы создали политическую защиту [1]. Не рискуя ошибиться, мы можем сказать смело, что до 1903 года политической защиты, как нераздельной составной части революционного и так называемого освободительного движения, у нас не было.

Конец семидесятых и начало восьмидесятых годов ознаменовались целым рядом процессов политического и общественного значения, среди которых достаточно было бы назвать процесс Веры Фигнер или дело 1 марта 1881 года. Еще до этих процессов мы знаем дело Веры Засулич или еще раньше процесс Нечаева. Хотя дело Засулич не было политическим с точки зрения юридической квалификации, но, несомненно, оно представляло громадное общественное значение и исключительный политический интерес именно тем, что, как формально не относящееся к политическим делам, оно было передано на рассмотрение суда присяжных. Таким образом, здесь общественное мнение было призвано высказаться по делу политического характера.

[1] Образ, явно . . . гиперболический. — Ч.

Защищал Веру Засулич известный петербургский адвокат Александров. При обостренном интересе всего Петербурга, присяжные заседатели вынесли обвиняемой оправдательный приговор, встреченный аплодисментами как публики, так и толпы, стоявшей плотной массой у дверей суда. Таким образом, общественная санкция террору была дана.

Речь присяжного поверенного Александрова была не только блестяща по форме, — она по своему содержанию и значению была речью чисто политическою. Но, насколько мы знаем, это была чуть ли не единственная политическая речь, раздавшаяся с кафедры защитника. Речи других политических защитников, даже таких, как Спасович, по своему содержанию были чисто юридической защитой обвиняемых, а не их дела. Спасович рассматривает обвиняемых по политическим делам, как людей, не только совершенно чуждых ему по своим идеям, но и стоящих в умственном, а иногда и в моральном отношении ниже того общества, которое пришло их судить. Он не разделяет ни идеалов государственных преступников, ни метода их действий, ни тем более их подполья. Спасович берет их деяние и примеряет к нему ту или иную статью «Уложения», как портной примеряет платье своему заказчику. Он борется за право, а не за революцию.

Политические защитники новой формации заняли иное положение. Многие из нас смотрели на политических подсудимых не сверху вниз, а как на равных нам, а иногда морально стоящих и выше нас. Почти все мы в подсудимых видели своих товарищей, делающих с нами одно и то же дело, но только более решительных и самоотверженных. Многие из нас сами принадлежали к подпольным партиям, а иные и работали там с подсудимыми. Не даром члены судебной палаты иногда в шутку называли нас вместо «защитников» — «зачинщиками».

В своих судебных выступлениях мы иногда солидаризировались с обвиняемыми так, что трудно было провести демаркационную линию, отделяющую скамью подсудимых от кресел защитников. Часто мы получали от обвиняемых определенное указание не заботиться об их личной судьбе, а содействовать их делу. И тогда мы через головы судей говорили со страной.

Так, я помню, Каляев перед рассмотрением его дела в кассационной инстанции сказал мне:

— Я буду говорить о партии и ее директивах, а вы развивайте общественное значение процесса.

Но нам приходилось участвовать и в конспиративной работе подсудимых. Мы были «бесцензурной почтой» между

обвиняемым, сидящим в тюрьме, и его родственниками, находящимися на свободе. Само собой разумеется, что сношения не всегда были легальными. Я знал один случай, когда защитники устроили обвиняемому побег из самого здания судебных установлений. В массовом процессе один из них незаметно для конвоя передал фрачную пару обвиняемому, и тот, переодевшись за спиной своих товарищей, под видом защитника вышел из комнаты и благополучно скрылся.

Дела, которые нам приходилось защищать, можно было разделить на две категории: на те, в которых центр тяжести для защиты заключался в заботе о личности обвиняемого, и такие, где эта личная судьба отступала на второй план перед пропагандой идей подсудимого и его партии. Обычно же в своих выступлениях мы старались соединить обе эти задачи. Во всяком случае, даже не соглашаясь с идеями партии, к которой принадлежал обвиняемый, мы очень бережно относились к его убеждениям, отнюдь не позволяя себе вступать с ним в полемику.

Очень большое значение мы придавали также популяризации политических процессов в широких кругах общества. Приезд видного политического адвоката в провинцию составлял событие. Около него сейчас же группировались оппозиционные и революционные круги, его окружали вниманием, часто устраивались особые чествования, банкеты. И как мы, так и местное общество пользовались этими чествованиями, банкетами для пропаганды. Мы реферировали наиболее интересующие наших слушателей процессы того времени; мы рассказывали о настроениях в других местах обширной империи; рассказывали, что происходит в партиях, в общественных организациях, произносили агитационные речи.

Особенно у меня запечатлелся в этом отношении банкет-митинг в Новозыбкове. Мы были вызваны телеграммой из Гомеля, где в то время слушался процесс о еврейском погроме.

Одним словом, мы были разъездными пропагандистами, если можно так выразиться, «комивояжерами от революции».

Аресты политических защитников. Правительство, конечно, зорко следило за нашей деятельностью. В дальнейшем мне придется привести ряд доносов на политических защитников, с которыми мне теперь удалось ознакомиться в архиве революции, но о которых мы тогда, конечно, не могли ничего знать.

Зорко наблюдая за нами, правительство, однако, стеснялось арестовывать нас (по крайней мере, столичных адвокатов)

открыто за нашу деятельность защитников. Оно неизменно старалось при сведении счетов с кем-нибудь из политических защитников делать это под каким-либо иным, более благовидным предлогом.

Арест Соколова произошел в связи с Кишиневским погромом. Прямолинейный, мужественный и стойкий, теперь уже умерший, Н. Д. Соколов поехал в Кишинев, чтобы расследовать на месте преступления и действия . . . Плеве и Департамента полиции, устроивших еврейский погром в Кишиневе. Он провел в этом городе несколько месяцев, производя свое собственное следствие, независимо от того, которое производил судебный следователь, получивший от правительства твердые директивы.

Н. Д. Соколов допросил десятки свидетелей, как христиан, так и евреев, и вся картина правительственного подполья, вся организация погрома министром внутренних дел через своих секретных агентов, при явном потворстве официальных должностных лиц, предстала во всей своей ужасающей наготе.

Материалы были, конечно, во время судебного следствия использованы адвокатами евреев, выступавшими на этот раз не в качестве защитников, а в качестве гражданских истцов. Закрытые двери не спасли Плеве от суда общественного мнения всего цивилизованного мира. Неслыханная провокация была разоблачена до конца, и крик негодования пронесся не только по Европе, но и по Америке. Министр внутренних дел, организующий массовые убийства, изнасилования и грабежи! Опять революция вырвала у правительства орудие, против нее направленное, и обратило его острием против самого правительства, которое вышло из дела с погребенной репутацией.

Плеве вскипел и сорвал свой гнев на присяжном поверенном Соколове, который не только выступал на суде, но предварительно собрал весь материал, изобличающий министерство. Соколов был арестован и должен был пойти в ссылку, но . . . но Плеве просчитался.

В припадке ярости он не сообразил, что Соколов был человек «со связями». Николай Дмитриевич был сыном известного протоиерея и придворного священника Соколова, бывшего духовником царской фамилии. Плеве пришлось уступить в виду такой протекции. Тогда он хватает другого присяжного поверенного, Ф. А. Волькенштейна, вина которого состояла, во-первых, в том, что у него не было такого влиятельного отца, а, во-вторых, — что он прочел доклад о Кишиневском погроме. Ф. А. Волькенштейн был сослан не то в Вологодскую, не то в Архангельскую губернию.

Из других случаев ареста политических защитников мы расскажем об инциденте с С. Е. Кальмановичем, наделавшем много шума. Кальманович пользовался широкой и заслуженной популярностью, как очень талантливый и умный адвокат. В 1905 г. его пригласили по политическому делу в Тамбов.

В Тамбове в это время действовало военное положение, и во главе власти находился губернатор Лауниц с неограниченными полномочиями. Тем не менее, Самуил Еремеевич счел ниже своего достоинства уклоняться от исполнения своего профессионального и общественного долга. Он едет в Тамбов и отправляется прямо в суд.

Часть процесса проходит благополучно. Объявлен перерыв. Вдруг во время перерыва к Кальмановичу подходят жандармы и заявляют, что он арестован. Кальманович сначала отказался следовать за ними, говоря, что он находится при исполнении своих служебных обязанностей и без разрешения суда не считает возможным их сложить. Само собой разумеется, что суд не заставил жандармов долго ждать и немедленно освободил Кальмановича от защиты. Тогда только Кальманович согласился следовать за жандармами.

Таким образом, популярный адвокат, приехавший по политическому делу, был арестован в самом здании суда, во время слушания дела и, несомненно, в связи с защитой. Однако, несмотря на такую очевидность, Лауниц на запрос о причинах ареста ответил, что получил донесение, будто из Саратова в Тамбов выезжает важный агитатор Кальманович с революционной целью для возбуждения беспорядков. Это был верх беззастенчивого цинизма!

Обычно дело велось более тонко и умело. Так, например, когда я в 1906 году был арестован, несомненно, что в направлении моего дела политические защиты, мной проведенные, сыграли свою роль, и со мной правительство сводило счеты, что называется, по совокупности; но официально об этом ничего не говорилось. То же самое следует сказать и относительно других адвокатов, арестуемых в связи с их деятельностью, как защитников по делам о государственных преступлениях.

Политическая защита и печать. Много делала адвокатура и в смысле популяризации процессов как в легальной, так и нелегальной печати. Лично мне, например, приходилось составлять отчеты о некоторых процессах, и эти отчеты затем передавались в тот или иной орган подпольной печати. Если же была какая-либо возможность напечатать

процесс в легальном органе, то, конечно, мы почти всегда этой возможностью пользовались. Для этого мы даже выработали искусственный прием. Мы намеренно переносили дело в Сенат, где, как общее правило, двери не закрывались, а потому печать имела полную возможность дать отчет о процессе, даже если дело в первой инстанции слушалось при закрытых дверях.

Разумеется, оглашать в печати можно было только то, что имело место при слушании дела в кассационной инстанции. Но искусный адвокат мог всегда так составить свои объяснения, чтобы включить в них всю общественную сторону дела. И таким контрабандным путем адвокатура давала широкое оглашение даже тех дел, которые слушались в первой инстанции при закрытых дверях.

В тех же случаях, когда судебное заседание превращалось в ширмы для произвола, мы находили еще более кричащие способы довести об этом до сведения общества: мы демонстративно покидали зал заседания и таким образом не давали своим присутствием санкции насилию над правом. Впервые такой прием был применен в заседании Харьковской судебной палаты по делу аграрных беспорядков в Валках.

Уход политической защиты из процесса сигнализировал обществу, что пределы превзойдены, что нарушены элементарные гарантии правосудия, что суд превращен в комедию, а приговор предрешен и продиктован свыше.

Судебная власть очень быстро оценила всю опасность подобного приема защиты и повела против него упорную борьбу дисциплинарными мерами. Доходило даже до попыток исключения из сословия присяжных поверенных за демонстративный уход. Но это были покушения с негодными средствами. Мы уходили с согласия подсудимых, а истина, что защита никому не может быть навязана помимо его воли, стоит вне всякого сомнения.

Уход из залы судебного заседания имел особо важное значение в тех случаях, когда дело слушалось при закрытых дверях и присутствие защиты было единственным средством для общественного контроля; но иногда этот метод применялся и в процессах, разбиравшихся при открытых дверях. Так, мы покинули заседание по Гомельскому погрому.

В общем, оставаясь совершенно беспристрастными, мы должны сказать, что политическая защита выполнила свой долг, что она сыграла роль не только санитарного обоза революции, но и ее действующих кадров.

Организация первого кружка. В виду того, что политическая защита в свое время сыграла значительную роль среди самых разнообразных слоев населения и в организации не только общественного мнения, но и общественных сил, мы считаем не лишним остановиться на ее формах и методах действий.

Первый кружок политических защитников сформировался в Москве из лиц, связанных между собой не только идейно, но и узами товарищества, школьной скамьей и личной дружбой. Здесь были: В. А. Маклаков, Н. В. Тесленко, П. Н. Малянтович, Н. К. Муравьев и некоторые другие лица в очень ограниченном количестве. Затем кружок разросся и получил уже организационное оформление.

Организация кружка, его цели и задачи были гораздо шире обслуживания политической защиты на суде; последняя была лишь одной из функций организации. Но так велика была популярность именно этой функции, что широкие слои общества почти ничего не знают о той большой работе, которая была проделана кружком помимо политических защит.

Кружок был учреждением беспартийным. Он был объединен одной идеей, — идеей борьбы с самодержавием. А потому в него входили представители всех оппозиционных и революционных партий, а также, конечно, и беспартийные. В организации работали вместе и мирно уживались и будущие освобожденцы, а потом правые кадеты, как Маклаков, Н. В. Тесленко, далее автор этой книги, будущий левый кадет, и социалист-революционер Ширский, и беспартийный социалист Муравьев, и агент Центрального комитета партии большевиков при Московском комитете Шанцер (Марат), и большевик Д. И. Курский, будущий комиссар юстиции. Все мы мирно уживались под кровлей одной организации на одном и том же деле. Наибольшим влиянием среди кружка тогда пользовался Н. В. Тесленко, считавшийся человеком левых убеждений, хотя социалистом он никогда не был. Дальнейшая эволюция идей Тесленко прошла уже за пределами кружка и после его фактического распада.

Из других членов кружка, кроме лиц, мною здесь перечисленных, назовем Стааля, Биска, Коренева. Лично я примкнул к организации тотчас же после моего переезда из Казани в Москву, т.-е. осенью 1903 года.

В отношении политических защит нам пришлось обслуживать всю Россию, и потому не было буквально ни одной губернии, где бы одному или даже нескольким из нас не приходилось защищать. Лично мне пришлось защищать в Ярославле,

Костроме, Нижнем, Саратове, Симбирске, в Вологде, Тамбове, Пензе, Туле, Рязани, Грозном, Иркутске, Гомеле, Одессе, Харькове, Полтаве, Орле, Ельце, Смоленске, Симферополе, Новочеркасске, Таганроге, Перми, Екатеринбурге, Гродно, Уфе и во многих других городах. Прибавьте, что во многих из этих городов мне приходилось защищать по нескольку раз, что многие дела откладывались и требовали вторичного приезда, и — картина работы большинства из нас станет совершенно ясной.

В особенности тяжелая работа выпадала на долю каждого из защитников, продолжавшего работать с прежней энергией во время ликвидации революции. Дел прибавилось, а многие работники отошли от повседневной работы, ставшей в значительной степени будничной. У иных остыл прежний энтузиазм, некоторые были удовлетворены полученной лжеконституцией или же вообще выступали только в особо громких процессах, отклоняя от себя будничную работу.

Таким образом, на оставшихся для повседневного дела защиты политических обвиняемых, независимо от общественного значения их процесса, навалилась работа почти непосильная. Я подсчитал количество дней в году, проведенных мною в Москве. Оказалось, что за целую зиму я оставался у себя дома в Москве не более трех недель. Я даже острил, что хочу начать вести оседлый образ жизни и потому поступить в кондуктора железной дороги.

Другие кружки. Наша организация была вовсе не единственная в московской адвокатуре, которая посвятила себя общественной деятельности, а равно и защите по делам о государственных преступлениях. Она была наиболее популярна и состояла из наиболее авторитетных имен.

На ряду с этим кружком скоро образовался другой, в который вступили многие уважаемые и почтенные имена. Тут были: Ледницкий А. Р., Сахаров И. Н., Лисицын Я. И., Жданов Н. М., Шамонин и другие. Но эта группа почему-то не завоевала себе популярности, и единственный процесс, проведенный ею из приковавших к себе общественное внимание, был процесс аграрных беспорядков в имении князя Гагарина.

К сожалению, между двумя группами политических защитников образовались какие-то застарелые враждебные отношения, для меня не только совершенно чуждые, но и прямо непонятные. Обе группы избрали меня своим членом, и я, не видя никаких оснований к их взаимной вражде, вступил в обе. Но быстро я увидел, что при соперничестве одновре-

менное пребывание в обеих группах часто ставит в неловкое положение, и ушел из кружка Сахарова-Ледницкого.

Как я уже говорил, наша организация была популярнее, чем кружок Ледницкого-Сахарова. Поэтому, нет ничего удивительного, что провинциальные организации стали присоединяться именно к нам. В провинции у нас всюду появились друзья, а иногда и целые группы, которые, как и мы, посвятили себя делу политической защиты.

Кружки в провинции. — Разгром квартиры Кальмановича. Они обслуживали заурядные процессы собственными силами. Если же дело привлекало к себе внимание всей России по своему характеру или же по масштабу лиц, в нем замешанных, приглашали одного или нескольких защитников из нашего кружка. Они обращались или индивидуально к определенному адвокату, или же к организации, которая уже сама и выбирала подходящего защитника.

В провинции быстро выделились даровитые люди, которые все теснее и теснее сливались с нами. Одно из первых по таланту мест среди них бесспорно принадлежит Александру Михайловичу Александрову, работавшему тогда в Екатеринославе, известному защитнику лейтенанта Шмидта. Талантливыми защитниками являлись также: Вальц, Куликов, Переверзев и Карпнский в Харькове, Кальманович в Саратове, Куперник и Ратнер в Киеве, Пергамент, Гросфельд, Цвилинг, Шапиро и Ратнер в Одессе, Карякин в Воронеже, Бать в Казани и другие, имена которых мне просто не приходят на память, когда я пишу эти строки.

Лишне говорить, что в Петербурге образовалась группа, не уступавшая по своим силам московской. Здесь был А. С. Зарудный, моральная чистота которого импонировала всем его знавшим; были Соколов, о котором мы уже говорили, Волькенштейн, Барт, братья Беренштамы, Эристов, Переверзев, Андронников, Крестинский [1] и другие. Впоследствии в Петербург из Саратова переехал С. Е. Кальманович.

Квартира Кальмановича, выдающегося юриста, была разгромлена с благословения и по директивам высшего правительства бандой наемных и темных черносотенцев. Вся квартира была обращена в груду развалин. Сам Самуил Еремеевич с семьей едва спаслись, укрывшись в чужой квартире. После этого разгрома ему стало тяжело оставаться в Саратове, где прошли его лучшие годы, где он столько работал и где своим

---

[1] Замнаркома иностранных дел с прошлого года. — *М. М.*

умом и знаниями он составил себе всероссийское имя. С. Е. Кальманович уехал сначала за границу, а после двухлетнего пребывания там поселился в Петербурге и в Саратов уже не возвращался.

М. М. Винавер, известный цивилист, не принимал участия в политических процессах, но он сблизился с нами на почве общей освободительной борьбы, вошел в наши организации и внес сюда весь свой недюжинный ум, исключительную работоспособность, колоссальные познания и большой, настоящий талант. Впрочем, политическими защитами занимались не только адвокаты, входившие в организации или с ними связанные, но и лица, по тем или иным причинам предпочитавшие работать отдельно. К ним мы должны причислить людей такого таланта, как Карабчевский, Грузенберг, Гольдштейн и другие.

Молодежь. — Тарарыков и его убийство. Все это были уже более или менее опытные адвокаты. Но в движении с большой горячностью приняла участие и молодежь. Меньшинство входило в наш кружок и было той сменой, которую мы сами себе готовили; большинство образовывало собственные кружки и работало самостоятельно. Впрочем, нас самих тоже считали молодой адвокатурой, несмотря на то, что многим из нас было уже около сорока лет. Под этим именно заголовком был издан сборник наших речей. «Молодыми», очевидно, мы считались не по годам, а по направлению.

Молодыми же по возрасту были только-что вступившие в адвокатуру П. П. Лидов, Кассовский, оба брата Якуловы, из которых Я. Б. Якулов сыграл огромную роль при отстаивании жизни обвиняемых в военных судах по знаменитой 279 ст. Затем шли Кобяков, Духовской, Зеленский, Коммодов, Оцеп, Вознесенский, Овчинников, Подгорный, Шварц. Многие из них входили в общественные организации помощников присяжных поверенных.

Таким образом, с нашей легкой руки разрасталась целая сеть организаций. Волей-неволей между нами завязывались деловые и личные отношения, и объединение адвокатуры, сочувствующей революции, выдвигалось самой жизнью снизу вверх. Так что, когда был дан лозунг организовывать союзы по профессиям, то в адвокатуре кадры были уже готовы.

Руководящие кадры нашей молодой адвокатуры были левее наших лидеров; некоторые из них принадлежали к социалистическим партиям, другие же тяготели к ним. Среди ответственных деятелей социалистических партий мы не можем не оста-

новиться на личности помощника присяжного поверенного Тарарыкова, принадлежавшего к фракции большевиков.

Тарарыков заслуживает внимания как по трагической судьбе, его постигшей, так и по своим личным свойствам. Среди нашей молодежи, конечно, было много революционной и вообще левой фразы, но что касается до Тарарыкова, то я никогда не замечал, чтобы у него слово расходилось с делом. Он понимал, что социализм — дело рабочего класса, а не салонов. И потому, раз ставши на путь социализма, Тарарыков в противоположность многим салонным социалистам решает не на словах, а на деле сблизиться с рабочим классом. С этой целью он перебирается в один из рабочих центров, где ведет свою адвокатскую практику, защищая интересы рабочих.

Мне лично не приходилось встречаться с Тарарыковым в политических защитах и вообще я его мало знал. Но мне приходилось наблюдать его на общественных собраниях. Тарарыков был человек очень сдержанный, уравновешенный и обладал большим тактом. На собраниях он не любил выступать, без нужды увеличивая собою список записавшихся ораторов. Но его друзья настолько ценили его, что сплошь и рядом выдвигали Тарарыкова без его ведома. Я помню один такой случай на очень многолюдном и остром собрании помощников присяжных поверенных, происходившем под моим председательством.

Во время вооруженного восстания в декабре 1905 года Тарарыков проживал в Коломне. Когда восстание было подавлено, Тарарыков пошел в гости к своим друзьям. По линии в это время хозяйничали Риман и Мин под верховным руководством Дубасова. Они получили сведения о связи Тарарыкова с рабочими. Тарарыков в числе многих был арестован, а затем вместе с некоторыми другими по выбору охранного отделения был без суда и следствия расстрелян.

Нам не хотелось, чтобы смерть нашего товарища по адвокатуре и по политическим защитам прошла неотмеченной в книге, и потому мы посвятили ему эти строки.

Любопытно отметить, что Тарарыков был русский дворянин и был приписан к одному из провинциальных дворянских обществ. После его расстрела собралось губернское собрание губернии, где он был приписан, и в результате любопытных прений постановило обратиться к «первому дворянину», т.-е. к царю, с ходатайством о том, чтобы дворян без суда и следствия не расстреливали.

Значит, интеллигенцию, рабочих и крестьян можно было расстреливать и без суда!

Кружки политических защитников организуют адвокатуру. В глухие времена реакции московская адвокатура играла довольно печальную роль. Одно время во главе ее стоял совет, большинство которого были реакционеры и антисемиты. Московское сословие в последнем отношении шло впереди правительства. Во главе его находился председатель Корсаков, поверенный Казанской железной дороги, а товарищем председателя был Филатов, впоследствии полевевший со всей страной, но в то время ставивший борьбу с евреями во главу своей общественно-политической программы.

До появления молодой адвокатуры присяжный поверенный Виленц сорганизовал либеральную адвокатуру, которая в значительной степени обновила совет. Но только кружок политической защиты с Тесленко во главе придал московскому сословию определенную политическую физиономию борьбы за свободу против самодержавия. Наши организации имели громадное влияние на все сословие. Я не помню ни одной резолюции, которую мы не провели бы через общее собрание присяжных поверенных, в политическом отношении несомненно находившегося под нашим сильным влиянием. Конечно, сословие не могло переродиться в несколько лет, и черносотенцы имелись в нем в совершенно достаточном количестве, но, сметенные с поверхности вздымающейся волной, они не осмеливались поднять голоса, кроме одного Шмакова, не перестававшего громить евреев. Но теперь это уже была комическая фигура, на выступление которой мы смотрели, как на дивертисмент.

Руководя, таким образом, сословием, мы довели его до конституционных резолюций, до присоединения к всеобщей забастовке и до всех тех политических выступлений, которые тогда производились. Впоследствии под нашим руководством адвокатура вступила в Союз союзов.

Распад организаций политической защиты. Постепенно нам удалось провести многих наших членов в советы присяжных поверенных, и таким образом кружки политических защитников добились не только общего идейного руководства сословием, но стали осуществлять контроль над ежедневной работой сословных органов.

Впоследствии организации, нами созданные, разделили участь всех беспартийных организаций, в свое время использованных революцией и оказавших ей ценные услуги, но позднее в диалектическом ходе истории ею же разрушенных.

По мере роста и укрепления партийной политической жизни, громадное большинство адвокатов, и в частности политических

защитников, если они интересовались революционным и освободительным движением, разбрелись по партиям. Пора общих пожеланий и неясных устремлений, пора первого романтизма в политике прошла. Каждая партия силой своей суровой дисциплины накладывала на своих членов известные обязательства, не всегда совместимые с их пребыванием в беспартийных организациях.

Наступил момент, когда беспартийные организации, в том числе и кружок политических защитников, должны были уступить место более совершенным формам борьбы — партиям. Умер и наш кружок, а почти все мы разбрелись по партиям, начиная от правых кадетов и кончая большевиками.

При защите политических процессов стала играть роль партийная принадлежность защитников, и естественно, что обвиняемые, принадлежащие к определенной политической партии, предпочитали иметь в качестве защитника своего партийного товарища. Если в незначительных делах такая диференциация защиты не всегда соблюдалась, то в делах, имеющих крупное общественное значение, члены социалистических партий по преимуществу защищались или беспартийными, или социалистами.

Конечно, нам и позже приходилось вести совместные защиты, но, как единое целое, как организация, мы перестали существовать.

Во всяком случае, кружки политических защитников за время своего непродолжительного существования сыграли заметную роль не только в истории русского правосудия, не только в выработке методов политической защиты, где нам приходилось итти по целине, самим прокладывая свои пути, но и в самом освободительном движении.

Много лет прошло с того времени, много воды утекло, много иллюзий разбито, много ран нанесено безжалостным ходом событий. Вчерашние друзья и соратники стали врагами, там, где люди сплетались в объятиях, теперь не протягивают друг другу руки... Но воспоминание о нашей совместной работе живет, я уверен, в груди у каждого из нас, кто только не отрекся от самого себя и от своего прошлого.

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ СУД

Классовый характер дореволюционного суда. До сих пор есть еще много наивных людей, которые противополагают современный суд, как классовый, внеклассо-

вому суду, якобы существовавшему у нас до революции. С другой стороны, некоторые публицисты склонны чересчур упрощать характер классовости суда. По их мнению, его признаком является различное отношение правосудия, в зависимости от субъекта преступления. Конечно, этот признак играет некоторую роль, но в общем роль эта очень незначительна.

Гораздо важнее классовое отношение правосуция не по субъекту, а по объекту преступления, т.-е. по тем интересам, которые уголовный закон защищает. Правящие классы всегда охраняют интересы своего господства и своего класса с особой суровостью.

В дореволюционное время у нас была статья, карающая возбуждение одной части населения против другой. Статья эта была приложима одинаково и к травле национальной и к возбуждению против дворянского сословия. Но помнит ли кто-нибудь случай привлечения «Нового Времени», «Русского Знамени» или какого-либо другого органа, специализировавшегося на самой грубой, самой беззастенчивой травле евреев?! Таких случаев не было.

А между тем, мне самому пришлось защищать литератора Дживилегова за очень умеренную критику дворянского сословия. Статья Дживилегова, критикующая поведение дворянства, но отнюдь не призывающая к борьбе с ним насильственными мерами, была разослана бюро печати нескольким провинциальным редакциям, и, между прочим, была напечатана в рязанской и саратовской газетах. И вот, несмотря на полное отсутствие состава преступления, А. К. Дживилегов был приговорен Московской палатой к месяцу крепости за рязанскую газету. За ту же самую статью, но напечатанную в Саратовской губернии, где, как известно, дворянство было особенно ярко выражено и борьба его с крестьянством происходила в формах, исключительно обостренных, А. К. Дживилегов был приговорен к трем месяцам крепости.

Лишнее говорить, что, если бы кто-либо из евреев вздумал принести жалобу прокурору на аналогичную статью, критикующую не дворянство, а еврейство, то прокуратура со смехом прогнала бы такого жалобщика.

Итак, первый признак классового характера правосудия — степень защиты классовых интересов уголовным законом.

Другой признак, это — классовый характер тех органов, которые в качестве судов уполномочены применять карательные нормы. Правящий класс может или непосредственно через своих членов отправлять судебную функцию, или же делать это

через особых специалистов, находящихся у него на службе. Может прибегать и к смешанной системе.

До революции большинство дел, имеющих какое бы то ни было, хотя отдаленное, отношение к политике, рассматривалось или окружными судами без участия присяжных заседателей, или судебными палатами с участием сословных представителей, или, наконец, военными судами.

Как общее правило, политические дела были подсудны палатам. Исключение составляли аграрные беспорядки, подведомственные окружным судам с участием сословных представителей.

В палатах, как мы сейчас сказали, ведавших наиболее серьезные дела, в том числе все дела о революционных партиях, о пропаганде и проч., присутствие состояло из четырех членов палаты и представителей сословий: предводителя дворянства, городского головы прежней цензовой купеческой думы и волостного старшины. Но нужно ли говорить, что волостной старшина представлял собой волю не крестьян, а дворянства? Ведь его утверждение всецело зависело от земского начальника, в свою очередь вполне зависимого от предводителя дворянства.

Уже из этого перечня состава так называемого «особого присутствия», или, как мы его называли, «особенного присутствия», видно, что, если все четыре члена палаты будут между собой согласны, то голос трех представителей сословий растворится в коронном большинстве. Председательствующий в заседании по большей части чутко прислушивался к голосу предводителя дворянства. Помимо того, надо сказать, что при «свободе» образования, конечно, не рабочие и не крестьяне кончали университеты и сидели на судейских креслах.

Таким образом, мы видим, что дореволюционный суд, как, впрочем, и всякий суд классового общества, был строго классовым судом — по тем интересам, которые он защищал, по тем нормам уголовного права, которые он был призван осуществлять, и по тому аппарату, который был уполномочен отправлять правосудие.

Исключительные суды. В тех случаях, когда правительство хотело обеспечить максимум строгости и не удовлетворялось наказанием, устанавливаемым нормальными законами, в его распоряжении была возможность на основании положения об усиленной охране, действовавшего на всем пространстве империи, любое дело изъять из общей подсудности и передать на рассмотрение военного суда. В этом отношении

вся Россия была на исключительном положении, и разница, как мы видели, состояла лишь в том органе, который, в зависимости от характера этого исключительного положения, был компетентен изъять дело из общей подсудности.

При изложении дела Кочурихина нам уже приходилось говорить о технике передачи дел в военный суд, а также и той роли, которую играла знаменитая 279 ст. «Свода воинских постановлений», а потому не станем здесь повторяться.

Напомним лишь, что главная цель передачи дела из суда гражданского в суд военный заключалась, помимо увеличения репрессии вообще, в применении смертной казни не только за политические преступления, но и за целый ряд преступлений общеуголовного характера. Но даже знаменитая 279 статья не отменяла общего постановления уголовного закона, по которому суд имеет право, констатировав наличность указанных в законе поводов для смягчения наказания, собственной властью понизить его на две степени, т. е. от смертной казни перейти к срочным каторжным работам. Для того, чтобы лишить военные суды права освобождать намеченные правительством жертвы от смертной казни, правительство не постеснялось путем циркуляра отменить основу уголовного законодательства.

Этим циркуляром у военных судов было отнято право понижения наказания на две степени. При признании судом наличности смягчающих обстоятельств суд мог лишь ходатайствовать перед командующим войсками о смягчении наказания.

П р и с п о с о б л е н и е с у д о в к п о л и т и ч е с к и м д е л а м. Первоначально суды оказались неподготовленными для новой роли. И это относилось не только к судам гражданским, но и к судам военным; к последним — еще в большей степени.

Дело в том, что суды так долго стояли вдали от политических дел, что убеждения судей, конечно, в известных пределах, мало интересовали правительство и не влияли особенно на прохождение ими служебной карьеры. Требовались некоторые связи, техническая подготовка и, пожалуй, известная «твердость» в отношении уголовных преступников. Сервилизм, если и существовал, то мог проявляться только по отношению к тем немногим делам, которые интересовали министерство. В особенности это следует сказать по отношению к провинции, бывшей вообще в стороне от судебной гвардии, быстро делавшей свою карьеру в канцелярии министерства и в столичных судах.

Что же касается до военных судов, то они вообще стояли совершенно вдали от какой бы то ни было политики. Прямое

их дело было — судить воинские преступления и во всяком случае лиц военного звания, а в то время «крамола» еще не проникала в войска или же проникала, как редкое исключение.

Таким образом, военным судам в нормальном порядке не приходилось сталкиваться с политическими преступлениями. Замкнутая военная жизнь, ограниченная тесным кругом, тоже не способствовала ориентировке в политической обстановке современности.

При таких условиях совершенно естественно, что, когда вдруг на военные суды навалилась нагрузка, к которой они были совершенно не подготовлены и которая по своему обилию и сложности превышала их прямые обязанности, военные судьи стали смотреть на эту работу, как на утомительную и скучную повинность. Им раньше приходилось судить военное сословие и военные преступления, и в этих делах они легко разбирались, тем легче, что, во избежание чересчур снисходительных приговоров по строевым делам, еще Александр II издал закон, обязывающий прежде поступления в военно-юридическую академию несколько лет прослужить в строю. И к военным преступлениям они были строги.

Но дела гражданские, переданные им на основании положения об усиленной охране, застали их врасплох. И когда, вместо по-мужицки грубого солдата, которого военный судья привык видеть на скамье подсудимых, появлялся какой-то студент, литератор или хрупкая курсистка, обвинявшиеся в печатании каких-то прокламаций или в принадлежности к партиям, судья просто-напросто терялся в этой совершенно чуждой для него атмосфере. В партиях и прокламациях военные судьи ничего не понимали, ими совершенно не интересовались, а перед женщиной как-никак из «общества», которую они должны были послать на каторгу, а то и на эшафот, за какой-то лоскуток бумаги, они стеснялись.

Правительство поняло, что в лице судов, сложившихся не на политических процессах, оно имеет аппарат недостаточно гибкий, а главное — недостаточно послушный.

После роспуска первой Государственной думы Н. Н. Львов рассказывал мне о тех переговорах, которые велись Столыпиным с общественными деятелями по поводу их вхождения в министерство. Столыпин объявил общественным деятелям с обычным своим лицемерием, что он сам хорошо понимает ненормальность административной расправы, но не может ее отменить за полной неподготовленностью судебного аппарата к роли

политических судей. И нужно отдать справедливость общественным деятелям: они не очень энергично настаивали на исполнении этого пункта программы, так что Столыпину не понадобилось много красноречия, чтобы убедить их от него отказаться.

Таким образом, после роспуска первой думы перед правительством в числе других задач по борьбе с революцией была поставлена задача искусственного подбора судебного аппарата, приспособленного для введения террористической системы в уголовную политику и не очень разборчивого в отношении судебных доказательств.

Щегловитов и Павлов. Эта благородная задача была возложена на Щегловитова. Он сыграл такую роль в деле развращения судебного ведомства и превращения его в отделение охранки, что не уделить этому министру нескольких строк в книге, посвященной, между прочим, судебной ликвидации революции 1905 года, мы считали бы большой несправедливостью.

Трудно себе представить то разложение и ту беспринципность, которые царили на верхах нашей бюрократии накануне падения империи, но Щегловитову в этом отношении удалось побить все рекорды.

В либеральные эпохи он был либералом, в годы реакции — злейшим реакционером. Он был назначен министром перед самым созывом первой Государственной думы в качестве относительно либерального человека, чтобы смягчить тот шок, который необходимо должен был образоваться между двумя противоположными полюсами нашей государственности того времени: между молодым народным представительством, жаждущим дать бой бюрократии, и этой самой дряхлеющей бюрократией, с ее привычкой к бесконтрольному самовластию под покровом формулы «действительно ответственного перед нами правительства».

И министр, жадно цепляясь за свой портфель, либеральничал. Он произносил либеральные речи, доказывая думе Аникина, Родичева и Аладьина, что он может работать с такой Государственной думой. Он продолжал это доказывать даже тогда, когда все его товарищи по министерству демонстративно покинули заседание.

Но лишь только первая дума была распущена и свинцовые тучи реакции стали наползать на страну, как Щегловитов резко меняет фронт. Он записывается в союз русского народа, впоследствии даже председательствует на его съезде. Союз

русского народа — погромный филиал объединенного дворянства. Там заседали господа, здесь шумели их лакеи. Государь явно сочувствовал союзу русского народа, считая его опорой монархии и самодержавия.

К своей задаче приспособления судебного ведомства к требованиям политики Щегловитов приступил с невероятной грубостью. Со времени введения «судебных уставов» никто и никогда так не третировал судебного ведомства, как это делал Щегловитов. Его беззастенчивое отношение к низшим можно сопоставить только с его пресмыкательством перед сильными мира сего. Неугодных судей Щегловитов или удалял без всяких церемоний путем исходатайствования высочайших приказов, или, в лучшем случае, переводил из уголовного отделения в гражданское с тем, чтобы навсегда замариновать их в этой должности без всякой надежды на повышение.

Таким образом, все лучшее, все относительно честное и независимое, что еще оставалось в судебном мире, сосредоточивалось в гражданских отделениях судов и палат, затертое новым типом карьеристов, благодаря политике быстро двигающихся по служебной лестнице.

С прокуратурой Щегловитов поступал еще бесцеремоннее. Прокуроры, чем-либо ему не угодившие, уже без всякой церемонии причислялись к министерству, о чем некоторые из них узнавали только из газеты во время утреннего кофе. Я лично знаю случай, когда владимирский прокурор, давший неблагоприятное заключение по делу русского союза, по жалобе последнего был таким образом неожиданно уволен, даже без выслушания его объяснений.

На освободившиеся после подобных увольнений и переводов должности судей и прокуроров назначались клевреты Щегловитова. Что это был за сброд! Достаточно было комулибо из судей выделиться бессмысленной строгостью своих приговоров, как он получал повышение. Так, в Москву был переведен из Екатеринбурга член суда, неимоверный дурак, только за то, что он в то же время был и преступный негодяй, не останавливающийся даже перед подлогами, чтобы подобрать состав присяжных заседателей, когда это бывало нужно. Однажды, возражая в своем резюме на мое утверждение, что подсудимый, как страдавший сифилисом, должен подвергнуться психиатрической экспертизе, этот судья сказал:

— В Париже все больны сифилисом, значит, там никого нельзя судить?

И такие Квазимодо назначались на высокие места и делали

карьеру только потому, что не было такой гадости и подлости, не было такого подлога и вообще преступления, на которые они не пошли бы для угождения министру.

Грубость Щегловитова равнялась его лицемерию. Развращая судебное ведомство, он в то же время бил себя в грудь, защищая в думе независимость суда от министерства, если слева указывалось на ни с чем не сообразные по жестокости приговоры по политическим делам. Вот уж действительно:

Когда о честности высокой говорит,
Каким-то демоном внушаем,
Глаза горят, огонь в крови,
Сам плачет, и мы все рыдаем!

Т.-е. рыдали Репетиловы; Чацкие негодовали, а вся честная Россия относилась с глубоким отвращением к этому грубому человеку, который даже лицемерию своему не мог придать некоторой утонченности, как это ухитрялся делать, например, Столыпин.

То, что Щегловитов сделал в области юстиции гражданской, то знаменитый главный военный прокурор Павлов сделал в области юстиции военных судов. Этот был так же жесток, как Щегловитов, но, по крайней мере, не был лицемером и действовал с военной прямолинейностью. Он занялся подбором военных судей и прибегал к тем же методам, как и Щегловитов: судьи увольнялись, оставлялись за штатом, и на их место назначались новые, с иными взглядами и традициями. Так, из Московского суда ушли Левашев, Минин и др. Они были заменены иным типом судей, в роде Фишера, для которых подписать смертный приговор было не труднее, чем выпить стакан чаю.

Но в область суда военного врывался еще иной лишний фактор, которого не знала юстиция гражданская. Дело в том, что ни один смертный приговор не мог быть приведен в исполнение без конфирмации командующего войсками военного округа. От него же зависело по закону пропустить кассационную жалобу обвиняемого в главный военный суд или не дать ей ходу. Конечно, приговоренный к смертной казни мог подать прошение о «даровании жизни» непосредственно государю; но Николай II, очень неохотно миловавший всех, за исключением погромщиков, предпочитал, чтобы отказы в помиловании исходили не от него; а потому было издано негласное распоряжение, чтобы прошения о помиловании не пропускались к царю, а передавались бы на рассмотрение командующих войсками.

Мне кто-то, если не ошибаюсь, Маклаков, рассказывал, что, когда председатель Государственной думы Родзянко обратился к государю с просьбой, чтобы прошения о помиловании направлялись непосредственно к нему, Николай ответил:

— Что же, вы хотите, чтобы одиум отказа падал на меня?

О том, чтобы на него падала благодарность за помилование, речи, очевидно, не могло быть.

И вот не только судьи, но и командующие военными округами, которым поручалось ответственнейшее дело, назначались не в зависимости от своей технической подготовки, а в зависимости от той легкости, с которой они соглашались утверждать смертные приговоры. Гершельман, страшно давивший на суд с целью вырвать от него как можно более смертных приговоров и утверждавший их без колебаний, прочно сидел на своем месте, тогда как Косич, командующий Казанским военным округом, систематически смягчавший смертные приговоры, был только за это смещен.

Таким образом, подбор судебного аппарата, как военного, так и гражданского, происходил в самом процессе их работы, главным образом, в период между первой и второй революцией. Ко времени второй русской революции аппарат судебных репрессий был уже великолепно налажен, и он мог бы еще долго функционировать со всею беспощадностью, если бы... не взлетел на воздух с тем самым государственным строем, который защищать он был призван!

ГЛАВА IV

САРАТОВСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ

Революция выходит на улицу. — Процесс о саратовской демонстрации. — Состав демонстрантов. — Причины незначительного участия в демонстрации рабочих. — «Известная русская поговорка». — Требования демонстрантов. — Столкновение демонстрантов с толпой и полицией. — Сопротивление власти. — Драка. — Сопротивление властям. — Характер показаний подсудимых. — Принципы их поведения на суде. — Прения. — Вопрос о составе преступления. — Значение показаний филеров. — Палата уклонилась от разрешения поставленного вопроса. — Приговор и отношение к нему подсудимых. — Заключение. — Организация демонстрации революционными партиями. — Проявленное мужество. — Интеллигентский состав демонстрации.

Революция выходит на улицу. В прошлой главе мы говорили о том приспособлении, которому подверглись наши судебные учреждения. Приспособление это к надобностям и потребностям правительства шло постепенно, и в нашем дальнейшем изложении мы будем систематически на это указывать. Как бы то ни было, первые процессы протекали при судах еще прежнего состава.

Был 1902 год. В обществе и подполье уже чувствовалось заметное оживление. Революции тесно становилось в подполье, и она рвалась на улицу. Уличные манифестации учащались. В мае 1891 года была организована первая маевка рабочих. Впервые русский пролетариат участвовал в интернациональном празднестве. Но правительство не возбудило по этому поводу судебного процесса.

В 1902 году уличные манифестации уже входили в обиход русской политической жизни. Они составляли одно нераздельное целое со всем процессом вздымавшегося революционного вала. Из всех демонстраций правительство вырвало три: нижегородскую, саратовскую и ростовскую. Все три демонстрации оно поставило на суд. То были первые значительные политические процессы, увидевшие свет после долгого перерыва.

В 1902 году я жил еще в Казани, в виду начавшегося оживления собирался переехать в центр тогдашнего общественного движения — в Москву. В это время ко мне обращается известный присяжный поверенный С. Е. Кальманович из Саратова с предложением защищать дело о саратовской манифестации, имевшей место в мае 1902 года. Я с радостью откликнулся на приглашение.

Почти одновременно слушались два дела о демонстрациях: одно — в Нижнем-Новгороде, другое — в Саратове. И так как кружки политических защитников были еще в стадии организации, то защита обоих процессов велась без всякого согласования. Нижегородский процесс защищал московский кружок, тесно спаянный между собой как годами университетской жизни, так и дружественными отношениями. Тут был чрезвычайно талантливый, но и чрезвычайно правый, всегда отмежевывавшийся от скамьи подсудимых, В. А. Маклаков; был тут спокойный, уравновешенный Тесленко; был всегда нервный и нервно относящийся ко всякому процессу Муравьев; был и П. Н. Малянтович с его большим, несколько дидактическим, ораторским талантом.

В Саратове собралась компания, далеко не так спевшаяся между собой. Из лиц, впоследствии вплотную вошедших в политическую защиту, могу назвать Кальмановича С. Е., человека сильной логики, большой выразительности речи и здорового, скрашиваемого благодушием юмора; А. М. Александрова, красочного оратора, с особым, чисто художественным талантом и мягким лиризмом; Ф. А. Волькенштейна, с красивой, хотя несколько книжно построенной речью; Никонова и других.

Съехавшись с разных сторон, мы быстро перезнакомились, условились относительно распределения между собою общих тем, выдвигаемых процессом, распределили подсудимых и занялись переговорами с ними, изучением дела и проч.

Состав демонстрантов. Прежде всего, меня, конечно, заинтересовал состав демонстрантов. Этот вопрос интересовал меня не только как защитника, но и как политического деятеля. И я должен был с грустью констатировать, что сравнительно с концом восьмидесятых годов состав демонстрантов изменился очень мало. В 1886 году учащаяся молодежь Петербурга устроила так называемую панихиду по Добролюбове, которую организовал федеративный совет землячеств. Руководящую роль в этом совете играли А. И. Ульянов, брат В. И. Ленина, Лукашевич и Шевырев, вскоре все трое принявшие участие в покушении на жизнь Александра III. В ка-

честве члена того же федеративного совета принимал участие как в организации, так и в самой манифестации и автор этой книги.

И вот, сравнивая состав Добролюбовской демонстрации 1886 года с саратовской 1902 года, я особой разницы не заметил. Здесь и там громадное большинство демонстрантов состояло из учащейся молодежи. Это тем более меня поразило, что, если в 1886 году революция, главным образом, выносилась на плечах интеллигенции, то в 1902 году в нее уже втягивались народные массы.

Здесь было много, очень много учащейся молодежи, были выходцы из привилегированных классов, которых вывели на улицу не их классовые интересы, а веление совести и побуждения справедливости. Была здесь в числе подсудимых дворянка Фофанова, дворянин Штейнберг, дочь статского советника Архангельская. Были ученицы фельдшерской школы Бударина, Гринюшина. Приняли участие в демонстрации и некоторые лица, уже окончившие учебные заведения, как, например, окончивший университет В. Фоминых или ветеринарный врач Бочкарев; но последних было немного.

Таким образом, в составе демонстрации не произошло значительных изменений сравнительно с предшествующим периодом русской революции.

Тогда я не знал, представляет ли это явление специфическую особенность Саратова, или массы народные вообще еще недостаточно организованы и распропагандированы. Не прошло и года, как ростовская демонстрация дала мне исчерпывающий ответ на этот вопрос. Очевидно, рабочие массы в России представляли собою крайне пеструю картину, которую нельзя было окрасить в один цвет. И, если ростовский-на-Дону пролетариат приблизительно в это время представлял собою сознательный элемент, то саратовский был еще сырым материалом.

Социалистические партии старались втянуть саратовских рабочих в предположенную демонстрацию. Это видно как из дела, так и из воспоминаний Сушкина, напечатанных отдельной брошюрой. Поэтому-то демонстрация и была назначена на 1 мая или на ближайший к первому мая праздничный день.

Для того, чтобы заинтересовать рабочие массы и сделать для них более доступными цели и лозунги демонстрации, на организационных собраниях, происходивших уже за две недели до самой манифестации, обсуждалось положение рабочего класса за границей. По рассказу Сушкина, на фабриках и за-

водах также велась пропаганда участия в манифестации. Кроме того, накануне дня манифестации по городу были разбросаны печатные прокламации партии социалистов-революционеров, в которых рабочие призывались «выходить толпой на улицу с красным знаменем и с громким криком: «долой полицию, долой самодержавие, долой капиталистов!».

И все-таки, на демонстрации были только отдельные лица из рабочего класса, а в массе пролетариат блистал своим отсутствием. А ведь Саратов считался всегда самым передовым и революционным городом Поволжья, цитаделью тогдашних социалистов-революционеров!

Я объяснял себе это тем, что в Саратове тогда пролетариат не чувствовал себя господином положения. Он составлял незначительную горсть населения, а потому не мог осознать своего качества в своем количестве. Другими словами, пролетариат в Саратове, вследствие малочисленности, не мог ощущать своей силы и своего революционного положения.

Главные революционные кадры Саратова и Саратовской губернии составляли мелкая буржуазия города и крестьянская масса деревни. В особенности эта последняя была настроена революционно, чем и объясняется влиятельная роль в то время партии социалистов-революционеров в губернии. Но мелкая буржуазия деревни по самой своей природе рассеяна, трудно поддается организации, и последняя захватывается зубчатым колесом революции.

А пролетариат, в дни революции цементирующий мелкую буржуазию, был в очень незначительном количестве для того, чтобы исполнить это свое провиденциальное назначение.

Революционный характер саратовской демонстрации. Но если с большим трудом можно было бы наметить разницу социального состава двух демонстраций, о которых мы сейчас говорили, разделенных одна от другой пятнадцатилетним сроком, зато легко бросается в глаза определенность революционного настроения саратовской демонстрации. Наша Добролюбовская демонстрация 1886 года устраивалась не партиями, не революционерами, а учащейся молодежью. Напротив, при саратовской демонстрации 1902 года действовал в качестве организатора уже не какой-либо студенческий кружок в роде «федеративного совета землячеств», а объединенный комитет партии социал-демократов и социалистов-революционеров.

Кроме того, целый ряд лиц, привлеченных по делу о саратовской манифестации, несмотря на свою относительную моло-

дость, уже привлекался раньше по политическим делам и был на замечании полиции. Так, стоявший во главе обвинительного акта Ефимов уже дважды привлекался к политическим дознаниям. Привлекались также Фофанов, Чубаровская, Ошанина, Архангельская. Сушкин был арестован накануне демонстрации.

Характером саратовской демонстрации объясняются и те лозунги, под знаменем которых она шла по улицам города. На этих знаменах красовались не только определенно революционные, но и определенно партийные лозунги. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» — гласило одно знамя. «В борьбе обретешь ты право свое» — гласило другое. И оба знамени неслись рядом, как символ тогдашнего саратовского объединения комитетов социал-демократов и социалистов-революционеров, которое было инициатором и устроителем демонстрации.

Рядом с двумя этими знаменами фигурировало еще несколько красных и одно черное с именем Балмашева, на нем начертанном. Балмашев был социалист-революционер, с красивой удалью убивший министра внутренних дел Сипягина.

Известная поговорка. Были надписи и с общими для обеих партий лозунгами. Одно требовало восьмичасового рабочего дня, другое протестовало против постоянных армий, третье говорило о работе для безработных. Были также знамена, выражавшие пожелания не только революционных партий, но и широких слоев общества. Из этих последних первый и самый популярный лозунг был: «Долой самодержавие!».

Он еще не произносился из осторожности вслух на съездах, собраниях и заседаниях; но он уже носился в воздухе и подразумевался сам собой, незримо присутствуя везде, где соберутся несколько интеллигентов.

По поводу знамени с надписью «Долой самодержавие» на процессе произошла интересная сценка, облетевшая потом всю Россию в качестве анекдота. А между тем этот анекдот произошел в действительности на моих глазах.

С. А. Кальманович допрашивает свидетеля демонстрации, до глубины души возмущенного в своих лучших патриотических чувствах. Свидетель показывает, что он сам читал на флаге революционную надпись.

— Какая же это надпись? — допытывается защитник.

Свидетель молчит. Ему, видимо, неприятно повторять кощунственные слова. Но Кальманович настаивает на своем вопросе, — приходится отвечать.

— Ну, известная русская поговорка.

— Поговорок много, какая же именно? — не унимается защитник.

Председатель просит свидетеля не стесняться: на суде можно и должно все говорить.

— Известная поговорка: долой самодержавие!

— Ну, положим, такой русской поговорки нет, — к изумлению свидетеля отвечает Кальманович.

Если принять во внимание, что процесс слушался в 1902 году, то нельзя не удивляться, что уже тогда лозунг «долой самодержавие» был до того у всех на устах, что успел превратиться в «известную русскую поговорку». Но, во всяком случае, новая «поговорка» еще не завоевала себе права на легальное существование рядом с такими, как «тише едешь, дальше будешь», «не в свои сани не садись» и пр. Это была еще поговорка подпольная.

Кроме знамен, организаторы демонстрации старались разъяснить толпе ее значение как при помощи речей, так и посредством прокламаций. Какие же лозунги содержат прокламации? Озаглавлены прокламации: «Социализм и народное правление» и содержат требования «социалистического устройства общества», «свержения самодержавия и устройства демократического образа правления», «свободы собраний и союзов», «свободы печати» и прочих догматов всякой формальной демократии. Подписаны прокламации были, как мы говорили, объединенным комитетом социал-демократов и социалистов-революционеров.

Уже из этого пересказа прокламаций видна умеренность тогдашних настроений даже наиболее революционных партий. Если не считать социалистического устроения общества, очевидно отнесенного в программу максимум, то в прокламациях демонстрантов мы не только не находим требования демократической республики, но даже об учредительном собрании они умалчивают. А между тем, не пройдет двух-трех лет, и учредительного собрания будут требовать уже не революционные партии, а оппозиционные земцы.

Очевидно, что в 1902 году революция считала себя еще слабой, и может быть, даже слабее, чем она была в действительности. Но силы революции таились в народных недрах, не выступая на поверхность.

А через какие-нибудь три года эти силы бурным потоком вырвутся на поверхность политической жизни, чтобы под влиянием тягчайших репрессий опять уйти в подполье . . . Пройдет еще года четыре, и такой тонкий наблюдатель народной

психологии, как Владимир Галактионович Короленко, при нашем свидании в Полтаве скажет мне:

— Вы помните, как мы с вами еще в 1887 году спорили о близости революции, и я вам тогда доказывал, что революция — дело далекого будущего. Ну, а теперь, судя по настроению народа, я вам говорю, что монархия не просуществует и пятнадцати лет.

Разговор этот происходил в 1909 году.

Столкновение демонстрантов с черносотенцами и полицией. Саратовская, совершенно мирная по замыслу, демонстрация осложнилась двумя моментами: столкновением толпы демонстрантов с другой толпой черносотенцев и столкновением тех же демонстрантов с полицией, квалифицированное, как сопротивление власти.

Организация черносотенных банд в качестве орудия борьбы с революцией красной лентой проходит сквозь всю дальнейшую историю сопротивления одряхлевшего строя революции. Погромщики — это была правительственная общественность.

Демонстрация началась при весьма незначительном числе участников. Вот как рисует начало демонстрации обвинительный акт: «К двенадцати часам дня на „толкучке" начали собираться в значительном количестве барышни и молодые люди . . . толпа двинулась по главной улице, и все время шествия лица, принимавшие в ней участие, разбрасывали прокламации, пели песни революционного содержания, кричали ура, плясали (?), хлопали в ладоши (?) и размахивали шляпами».

Мы уже говорили, что широкие рабочие массы к демонстрации не примкнули, тем не менее толпа по мере продвижения вперед росла. К ней присоединялись сочувствующие. Часть последних смешивалась с толпой демонстрантов, часть же шла по тротуару из обывательской осторожности, не сливаясь с толпой. Обвинение их называло «любопытными», чтобы таким образом уменьшить общественную значимость манифестации. Этот термин «любопытные», впервые употребленный обвинением на саратовском процессе, затем красной лентой проходит почти через все дела о демонстрациях. Прокуратуру и жандармов в их похвальном усердии умалить успех демонстрации не смущало даже, что время от времени «любопытные», взяв в руки дубины, начинали ими колотить полицию. «Любопытство» — более чем странное.

Драка. По мере того как демонстранты продвигались, их масса росла. Но, вместе с тем, образовалась, а затем росла и другая толпа, толпа громил. И вот, по словам свидетелей, эта

вторая толпа, состоявшая из мелких торговцев и мастеровых, преградила путь манифестантам. Началась свалка, в которой были пущены в ход доски, камни, палки. В драке несколько манифестантов получили легкие ранения.

Свидетели, чины полиции, показали на суде, что «народ», оскорбленный в своем чувстве к царю, собрался по собственной инициативе и напал на оскорбителей его святыни. Полиция же не только не подстраивала этого побоища, но, когда оно началось, бросилась защищать революционеров от «справедливого гнева народа».

Что же касается до революционеров, то вместо изъявления благодарности за спасение жизни они набросились на полицию и без всякого повода стали оказывать ей «вооруженное сопротивление».

Такая версия, как мы уже говорили, проходит красной нитью по всей истории погромов, начиная с Кишиневского и кончая погромной волной, прокатившейся по всей России немедленно же по провозглашении «действительной неприкосновенности личности» и политических свобод...

В заключение, революционеры были загнаны во двор одного из домов и там — все арестованы...

Характер показаний подсудимых. В саратовском процессе, открывшем собой целую серию политических дел, не мог не стать пред подсудимыми и их защитниками вопрос о показаниях, которые должны давать обвиняемые по государственным преступлениям на суде, в особенности в процессах, приковывавших к себе общественное внимание. А саратовский процесс, как одно из первых судебных дел, не мог не возбудить самого широкого интереса.

При таких условиях скамья подсудимых превращалась в трибуну для пропаганды революционной деятельности и идей обвиняемых. Как мы видели, закрытые двери не могли этому помешать.

Помимо того, хотя революционная этика требует, чтобы революционер держал себя с достоинством перед судом, но с другой стороны, обвиняемые при известных условиях не могли не стремиться избавиться от наказания или по возможности смягчить его.

В общем, после долгой практики политического защитника, мы должны сказать, что в этом вопросе нельзя установить каких-либо общих положений. Поведение на суде — не наука, это — искусство. Каждый раз от обвиняемого и его защитника, от их ловкости и такта зависит соблюдение весьма тонкой

грани, отделяющей вполне допустимое и даже необходимое стремление революционера сохранить свою жизнь и свободу от стремления, ценой унижения своего и партийного достоинства, купить благоволение суда.

Само собой разумеется, что, чем громче процесс, чем крупнее личность обвиняемого, чем больше эта личность сосредоточивала на себе общественное внимание, тем грани дозволенного становились уже. При защите Каляева, Рожкова, Баумана или Гершуни защита не могла себе позволить того, что она не только могла, но и обязана была сделать, имея за своей спиной третьестепенного деятеля, обвиняемого в преступлении, не представляющем серьезного значения.

Саратовский процесс был одним из первых, на него было обращено сугубое внимание, а потому следовало с особой осторожностью отнестись к тем показаниям, которые подсудимые собирались давать на суде. Что касается до предварительного следствия, то наиболее видные обвиняемые просто-напросто отказались давать какие бы то ни было показания. Не всегда. конечно, но очень часто такая манера держать себя на предварительном следствии являлась самой лучшей. Но это откладывало решение вопроса, а отнюдь не решало его.

Обвиняемый Ефимов, к которому было предъявлено обвинение не только в участии в демонстрации, но и в вооруженном сопротивлении властям, и которому, таким образом, грозила каторга, наотрез отказался давать какие бы то ни было показания судебному следователю. Некоторые подсудимые поступили точно так же. Другие, признав свое участие в демонстрации, т.-е. признав самый факт, отказались дать объяснения до суда. Третьи объясняли свое присутствие на демонстрации простой случайностью.

На суде подсудимые очень мало отошли от тех показаний, которые они давали на предварительном следствии, и если, тем не менее, палата в своем приговоре написала, что на суде подсудимые Ефимов и Фофанов «впервые признали себя виновными», то здесь, очевидно, кроется недоразумение. Обвиняемые просто-напросто не хотели разговаривать на жандармском дознании (Здесь мимоходом заметим, что некоторые дознания по высочайшему каждый раз повелению заменяли собой предварительное следствие и потому последним уже не проверялись).

Фофанов не только признал свое вполне сознательное участие в демонстрации, но заявил, кроме того, что он разделяет воззрения социал-демократов, о чем его никто не спрашивал. Такие же демонстративные заявления на суце сделали Ошанина

и Воеводин, показавшие, что приняли участие совершенно сознательно, с определенной целью протестовать против существующего строя.

Таким образом, за немногими исключениями обвиняемые по саратовскому делу продолжали на самом процессе ту же демонстрацию политических убеждений, ради которой была предпринята манифестация. С улиц города Саратова манифестация была перенесена в зал судебных заседаний.

Судебное следствие, если не считать новой «известной русской поговорки», ничего интересного не дало, да при признании подсудимыми факта участия в демонстрации и не могло дать. Единственно, на что следует обратить внимание, это тот бой, который защита дала обвинению по поводу показаний филеров.

Прения. — Значение показаний филеров. — Приговор. Для защиты в первом политическом процессе чрезвычайно важно было установить, что показания филеров представляют собой лишь материал для проверки и не могут рассматриваться в качестве судебного доказательства.

И мы утверждали, что показания сыщиков, филеров и других лиц, выслеживающих государственных преступников, являются показаниями лиц, заинтересованных в исходе процесса. На основании донесений сыщиков, говорили мы, можно учредить негласный надзор, но обвинить на основании показания филеров — значит рисковать превратить правосудие в игрушку людей чрезвычайно невысокого морального уровня. Иными словами, наблюдения сыщиков — материал для заподазривания, а не для обвинения.

Всякий понимает, какое громадное значение имел бы такой прецедент не только для данного процесса, но и для всей дальнейшей судебной практики по политическим делам. Думаю, не ошибусь, если скажу, что половину дел пришлось бы прекратить производством.

Судебная палата, еще не подобранная для политических процессов, не отвергла нашего взгляда, но и не признала его правильным. Она предпочла в этом имеющем громадное значение вопросе, подобно Пилату, умыть руки. Судебная палата признала недоказанным самый факт, что свидетель Куприянов, по поводу показания которого возник вопрос, являлся сыщиком.

Таким образом, хотя косвенно, через доказательство от противного, но палата принципиально согласилась с нашими доводами. Через несколько лет самая постановка такого вопроса станет совершенно немыслимой. Агенты охранных отделений, филеры, провокаторы и шпионы станут наиболее досто-

верными свидетелями в глазах нового издания политических судей, — издания, незначительно дополненного, но значительно исправленного. И ни одному судебному учреждению империи не придет в голову крамольная идея при мотивировке приговора достоверность свидетельского показания ставить в зависимость от его службы в качестве шпиона.

Прения в первом политическом процессе отличались большой страстностью; по крайней мере, это должно сказать о речах защиты. Напротив того, прокурор Саратовской судебной палаты, выступавший в процессе в качестве обвинителя, был формально сух. Очень реакционный, но корректный человек, А. А. Макаров произнес сухую, строго деловую речь, без того грома обличительного красноречия, к которому так любят прибегать прокуроры, делающие на политических процессах свою карьеру. Впоследствии, когда Столыпин, саратовский губернатор, был назначен министром внутренних дел, он пригласил Макарова в качестве товарища министра, заведующего полицией. Затем бывший саратовский прокурор получил назначение на пост министра юстиции. Он ушел в отставку в связи с помилованием известного проходимца Манусевича-Мануйлова по просьбе царицы и Распутина.

Макаров был расстрелян вместе с несколькими сановниками, в том числе со Щегловитовым.

Защита распределила между собой темы, возбуждаемые процессом, как это мы всегда делали впоследствии. На меня, как почти всегда, был возложен юридический анализ состава преступления. А так как старое уложение о наказаниях «времен очаковских и покорения Крыма» не предусматривало уличной манифестации, то мне очень легко было доказать полное отсутствие в деяниях подсудимых признаков преступления.

Очевидно, что в момент, когда писался наш старый уголовный кодекс, ни одному здравомыслящему человеку даже в голову не приходило, что «настанет некогда день» и совершенно открыто подданные государя выйдут на улицу заявить протест против его самодержавия. Пробел этот, как мы уже говорили, был впоследствии восполнен Сенатом, что, однако, было совершенно незаконно.

Но, устанавливая по аналогии преступление, Сенат подвел его под статью с чрезвычайно суровой санкцией, грозящей каторгой и, в качестве особой милости, ссылкой на поселение с лишением всех прав состояния. Срочное тюремное заключение могло быть назначено лишь для несовершеннолетних.

Моя речь была тогда напечатана в заграничном журнале

«Освобождение», а о процессе появилось много корреспонденций в эмигрантской печати того времени. Таким образом, все вопросы, поднятые защитой, получили самое широкое распространение.

Красочно говорил А. М. Александров, умно и авторитетно — С. Е. Кальманович, что же касается до Ф. А. Волькенштейна, то он произнес речь не защитника, а товарища подсудимых, от которых его отделяла только решетка и к которым, по собственному заявлению, он принадлежал по возрасту.

Во время совещания палаты в кулуарах суда царила нервная обстановка, которая всегда обволакивает все более или менее серьезные процессы. Но опять-таки следует отметить отсутствие публики. «Народ безмолвствовал». Саратов жил своей обычной будничной жизнью, и только в квартирах радикальной интеллигенции чувствовалась повышенная, нервная жизнь. Там живо интересовались происходящим в стенах суда. Но само здание суда было совершенно пустое, если не считать допущенных родственников, а на улицах города и даже у подъезда здания суда никого не было.

После довольно продолжительного совещания палата, наконец, вынесла свой приговор. В сопротивлении властям был признан виновным один Ефимов, остальные обвиняемые по этому пункту оправданы. За исключением немногих, они были признаны виновными в участии в демонстрации и, помимо несовершеннолетних, приговорены к ссылке на поселение с лишением всех прав состояния. К тому же наказанию был приговорен и Ефимов.

Подсудимые выслушали решение своей участи совершенно спокойно. Они ничего другого и не ждали. Но среди родственников послышались истерики, и последовала та тяжелая сцена, которая обычно сопровождает суровые судебные приговоры.

Беспристрастие заставляет нас признать, что в исходе процесса виновата была не палата, а Сенат, давший неправильное истолкование закона; виновато было и устаревшее «уложение о наказаниях», сковывавшее суд и не предоставившее ему простора в выборе наказания. Конечно, палата могла не подчиниться Сенату и игнорировать его руководящее решение, но на подобное мужество нельзя было рассчитывать; да оно бы и не принесло практической пользы, потому что приговор был бы отменен все тем же Сенатом.

Так закончился один из первых процессов о государственных преступлениях, поставленный нашим правительством после долгого перерыва.

З а к л ю ч е н и е. Подведем же с возможной объективностью и беспристрастием историка итоги. Прежде всего, нам придется отметить партийность ячейки манифестации. Демонстрация была организована объединением строго партийных комитетов. Она шла под лозунгами определенных партий — это во-первых.

Демонстранты, независимо от их числа, обнаружили много мужества и готовности вступить в активную, чисто уличную борьбу с правительственными агентами. Они не уступили полиции и погромщикам, а оказали вооруженное сопротивление. Это — во-вторых.

Третий фактор, наличие которого нам приходится констатировать, это — выступление, в противовес красным манифестантам, черносотенных погромщиков. Мирной манифестации было противопоставлено грубое, чисто физическое насилие. Конечно, и раньше в Москве «охотнорядцы», поощряемые полицией, нападали на студентов. Но то были скандалисты, обрадованные возможностью безнаказанно произвести дебош. Теперь же на сцену выступают настоящие банды погромщиков, организованные правительством, чувствующим потребность в своей борьбе с революцией опереться не только на нагайки казаков и штыки войск, но и на поддержку «общественного элемента». На протяжении нашей работы нам не раз придется еще обращаться к этой теме. Правительство скоро возведет погромы в систему управления и придаст им стройную и вполне законченную организацию.

Теперь вся преступная организация разоблачена в целом ряде воспоминаний «кающихся администраторов». И мы можем проследить ее до тайников Департамента полиции, где в подвалах таинственных зданий печатались прокламации с призывом к погромам лицами, занимающими ответственные положения в охранных отделениях и самом Департаменте.

И, наконец, четвертое и самое важное заключение, которое мы должны, оставаясь беспристрастными, отметить: манифестация не втянула в себя и не вывела на улицу широких народных масс, в частности — широких масс рабочих. Мы уже пытались дать объяснение этому фактору и потому здесь ограничимся его констатированием. Саратовская демонстрация и саратовский процесс были по преимуществу окрашены интеллигентским характером, и только партийным составом ее ядра можно объяснить то вооруженное сопротивление, которое ею было оказано.

ГЛАВА V

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ.

Начало демонстрации. — Речь Браиловского. — Столкновение с полицией. — Убийство пристава. — Социальный состав демонстрантов. — Сравнение с саратовской демонстрацией. — Судебный процесс. — Нервная обстановка процесса. — Забастовка протеста таганрогских и ростовских рабочих. — Председатель и защита. — Объяснение с Мордвиновым. — Случайный характер арестов. — Охота на Браиловского. — Прения сторон. — Приговор. — Три смертных казни. — Ходатайство суда о замене смертной казни. — Судьба Браиловского. — Рабочая демонстрация по поводу процесса. — Письмо обвиняемых к защитникам. — Вера их в грядущую революцию. — Моя переписка с Браиловским. — Заключение.

РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Начало демонстрации. После процесса саратовской демонстрации я решил переехать в Москву. Связанные с переездом хлопоты заняли остаток зимы. Лето я провел заграницей. Едва осенью 1903 года я приехал в Москву, не успел, что называется, распаковать чемоданы, как получаю телеграмму от Логачевой с предложением принять участие в защите членов манифестации, имевшей место в Ростове-на-Дону. Процесс должен был, однако, слушаться не в Ростове, как это следовало бы по закону, а в Таганроге. Очевидно, правительство боялось слушать дело в том городе, где происходила самая манифестация.

Делу придавалось особо важное значение, а потому оно было на основании положения об усиленной охране соглашением министров внутренних дел и юстиции передано военному суду и изъято из общей подсудности.

Приехав в Таганрог, я несколько дней посвятил изучению дела и беседам с обвиняемыми, их родственниками и вообще лицами, могущими мне быть полезными при ознакомлении с делом.

Но с первого взгляда бросалось в глаза, что устроители и организаторы демонстрации проявили много умения. Во-первых, они очень удачно избрали время и место манифестации. Сборным пунктом была назначена окраина города под наименованием «Камышенаха», где в день и час манифестации должны были происходить кулачные бои, привлекавшие всегда многочисленную публику. Таким образом, приготовления к демонстрации могли остаться незамеченными для полиции, и во всяком случае ей было бы очень трудно отделить овец от козлищ. Расчет оказался правильным.

И действительно, маневр удался как нельзя лучше.

Полиция, конечно, была предупреждена, но, несмотря на предупреждение, не заметила до четырех часов дня ничего подозрительного. Около четырех часов жандармы обратили внимание на подошедшую толпу человек в пятьдесят, которая, однако, скоро растворилась в общей массе гуляющих. Но вскоре после этого из общей толпы выделилась довольно значительная на этот раз группа лиц, которая и направилась правильным шествием.

При самом начале демонстрации были выкинуты флаги с надписями на одном: «Да здравствует восьмичасовой рабочий день!», а на другом: «Да здравствует политическая свобода!». Третьего флага полиция не могла разобрать, так как на этот раз жандармы далеко не были хозяевами положения и не могли открыто и свободно двигаться среди народа. Однако, по предположению полиции, третье знамя говорило об «известной русской поговорке», без которой тогда не обходились ни один банкет и ни одна демонстрация. Манифестанты не только не бегали от толпы, но, напротив, выбрали для начала своего шествия площадь, заполненную огромными толпами народа. Лучшее свидетельство, что манифестанты рассчитывали на сочувствие широких народных масс.

Тем не менее полиция утверждает, что народ, увидев манифестацию, в трогательном единении с полицией начал требовать прекращения шествия. Свидетели-жандармы показывали на предварительном следствии, что, как только манифестанты выделились из общих рядов и полиция запротестовала против этого, из толпы раздались возгласы:

— Зачем производить беспорядок? Мы собрались сюда не для бунта, а посмотреть на «кулачки». Отдать флаги полиции!

Но, очевидно, эти возгласы были только в мечтах жандармов. «Мечты, мечты! Где ваша сладость?». Если бы народ действительно был настроен враждебно к беспорядкам, то совер-

шенно необъяснимо, каким образом десятитысячная толпа не могла справиться с горстью демонстрантов.

В ответ на требование полиции прекратить беспорядки из толпы послышались возгласы: «долой полицию!». В тот же момент толпа демонстрантов подняла на руки какого-то совсем еще молодого человека. Этот человек, сыгравший потом превалирующую роль как на самой демонстрации, так и на процессе, вызванном ею, человек, обладающий недюжинными способностями, оказался сыном купца первой гильдии Александром Браиловским.

Поднятый на руки, Браиловский с высоты импровизированной трибуны обратился к народу с речью. В ней оратор призывал собравшихся оставить «кулачки» и присоединиться всей массой к демонстрантам. Само собой разумеется, что при этом Браиловский объяснил толпе цель и задачи демонстрации, а также ее политическое значение.

Прежде всего Браиловский открыто заявил, что он социал-демократ и в данный момент говорит по поручению социал-демократического комитета. Далее он стал говорить о тяжелом положении рабочего класса, о тех притеснениях, которые испытывают рабочие как внутри мастерской, так и вне ее, о грошовой заработной плате, о бесконечном, чуть ли не пятнадцатичасовом рабочем дне.

Тяжелое положение рабочих Браиловский объяснил прежде всего эксплоатацией капиталистов, которая существует везде, где есть капитал. Но размеры и способы эксплоатации оратор связывал со специфическими условиями русского государственного строя, с его самодержавием. Отсутствие политической свободы лишает рабочих возможности организованной силе капитала противопоставить такую же организованную силу профессиональных союзов.

Браиловский, несмотря на свою молодость, уже тогда был первоклассным оратором. А ему не было еще двадцати лет. Одаренный нервным, живым умом, сильным темпераментом, яркой образной речью, Браиловский самой природой был предназначен к роли народного трибуна. Речь Браиловского, очевидно, и на этот раз произвела огромное впечатление на толпу и наэлектризовала ее.

В огромном количестве толпа присоединилась к манифестантам и в сильно приподнятом настроении двинулась к главной улице Ростова — Садовой, а затем пошла по ней. Так как в толпу вливались все новые и новые группы, то Браиловскому приходилось не раз обращаться к ней с речами,

в которых он повторял основные положения своего первого выступления.

Свидетели, полицейские и жандармские чины, как на судебном следствии, так и на жандармском дознании показали, что в своих обращениях к толпе Браиловский просил не выдавать его, если бы полиция вздумала арестовать. Те же свидетели прибавляли, что, когда толпа, настроенная агрессивно, набросилась и хотела избить пристава, то Браиловский удержал ее, обратившись со следующими словами:

— Наша демонстрация мирная, а потому, пока вас полиция не трогает, держите себя спокойно.

Смысл слов Браиловского совершенно ясен. Ему нужно было успокоить толпу, не позволить ей поддаться на провокацию и не допустить столкновения с вооруженной силой, исход которого можно было предсказать заранее. Мы увидим впоследствии, какое употребление из этой фразы сделали как обвинение, так и суд.

По мере движения толпа все возрастала. Шла она стройными рядами. Флагоносцы менялись, но все время неизменно они охранялись особыми лицами с палками и дрючками в руках. По всему видно, что на этот раз манифестирует не учащаяся молодежь и что с манифестантами будет не так-то легко справиться. На всякий случай очень многие были вооружены палками, каменьями, дубинами, а то и поленьями. По показаниям некоторых свидетелей обвинения, были даже лица, вооруженные железными ломами, которыми они выбивали камни из мостовой.

Очевидно, толпа намерена была постоять за себя и на насилие ответить насилием. Во все время шествия толпа пела революционные песни, кричала «ура» и вообще проявляла свое бурно-революционное настроение. Раздавались отдельные революционные возгласы «долой царьков», «долой самодержавие», «да здравствует политическая свобода».

Столкновение с полицией. Полиция, чувствуя свое полное бессилие и боясь за свою безопасность, скрылась и вызвала на помощь казаков. Прошло довольно много времени, прежде чем власть вернулась. При появлении казаков были даны сигналы расходиться. Толпа свернула флаги и готова была подчиниться распоряжению своих вождей. Но полиция, обозленная своим временным бессилием, жаждала мести. Чувствуя за собой подкрепление в лице казаков, дотоле неизвестно где скрывавшаяся, она опять появилась и перешла в наступление. Начались аресты.

Манифестанты в ответ на это схватились с полицией в рукопашный бой. Полиция вела себя далеко не так лойяльно, как показывали на суде ее агенты. Производя аресты, разъяренная полиция тут же на глазах у всех избивала арестованных. Отбиваясь, толпа пустила в ход свое самодельное оружие. Началось форменное сражение. Между прочим, следует отметить новое орудие борьбы, пущенное в ход демонстрантами: под ноги городовым и казакам они бросали спиральные проволочные круги особого устройства. Нападавшие запутывались и падали.

С той и другой стороны были раненые. На стороне казаков и полиции было ранено несколько человек командного состава, в том числе один пристав и один околоточный надзиратель. Увидев раненого товарища, другой полицейский пристав, Антонов, бросается за флагоносцем. Как мы говорили, флагоносцы находились под охраной вооруженных лиц. Один из этих телохранителей, вооруженный палкой толщиной в ножку обыкновенного стола, бросился на защиту флагоносца. На помощь приставу подбежал городовой. В происшедшей свалке приставу Антонову была нанесена рана в висок, от которой он вскоре умер. Лицо, нанесшее приставу смертельную рану, осталось следствием необнаруженным.

Такова несложная фабула демонстрации.

Уже из этого крайне беглого изложения выясняется громадная разница между саратовской демонстрацией 1902 года и ростовской 1903-го. Казалось, между ними прошел не год, а двадцать лет, до того они различались составом демонстрирующей толпы, ее настроением и вообще всем своим видом.

С о ц и а л ь н ы й с о с т а в д е м о н с т р а н т о в. Саратовская демонстрация, по сравнению с ростовской, это — первый пароход, спущенный на морские волны, который, переваливаясь с бока на бок, рискуя каждую минуту погибнуть черепашьим ходом бороздил воду, — по сравнению с современными гигантами, в несколько дней пересекающими океан от Европы до Америки.

Прежде всего, разница между демонстрациями, отделенными друг от друга меньше чем одним годом времени, сказалась на социальном составе обеих демонстраций. Мы видели, что саратовская демонстрация состояла по преимуществу из интеллигенции, а среди последней — из учащейся молодежи. Напротив, в демонстрации ростовской интеллигенция отступала на задний план.

Жандармы тогда ловили «корни и нити», т.-е. подстрека-

телей, а таковыми они считали интеллигенцию. Поэтому все, что можно было захватить интеллигентного, обыкновенно захватывалось и сажалось на скамью подсудимых. И тем не менее, представителей привилегированных классов на скамье подсудимых мы почти не видим. Сын купца, вышедший только-что из седьмого класса гимназии, Александр Браиловский; дворянка Мария Нагель; да, пожалуй, член зажиточной семьи, Анна Логачова — вот, если мы не ошибаемся, и вся интеллигенция на скамье подсудимых.

Почти все остальные лица, привлеченные к делу, — или крестьяне, или рабочие, а в большинстве и те и другие вместе, т.-е. крестьяне, работающие на фабриках и заводах города Ростова-на-Дону.

Вот они: мещанка Локерман, мещанин Поляков, крестьянин Логинов, мещанин Полтава, крестьянин Глазунов, мещанин Борухов, мещанин Столкарц, крестьянка Кристьянцева, крестьянин Чумаченко, мещанка Христенко, мещанин Ильницкий, крестьяне Куксин, Дрожжовкин и Бондырев, мещанин Векленко, крестьянин Васильченко, мещанин Миндлин, крестьянин Кривошеев, казак Колосков и крестьянин Бутурлимов.

Если мы будем иметь в виду, что громадная часть, причисляемая к мещанству, в сущности были рабочими, то мы увидим, что почти все обвиняемые, привлеченные как за участие в манифестации, так и за сопротивление властям и убийство пристава Антонова, были или рабочими, или крестьянами.

Сообразно составу демонстрации изменился и общий ее вид и характер. Это уже не была небольшая кучка интеллигентского актива, идущая по середине улицы, в сопровождении плетущейся по обоим тротуарам неопределенного вида публики. Теперь это была уже сплошная масса народа, залившая собой всю улицу и лавиной прокладывавшая себе путь через все препятствия. Легенду о любопытствующих пришлось оставить или же признать, что любопытство простиралось страшно далеко, вплоть до желания узнать, какое действие производит камень и дубина при столкновении с головой полицейского агента.

Конечно, юг был всегда более революционно настроенным, чем север и восток, но все-таки одним этим нельзя было объяснить разницу между демонстрациями саратовской и ростовской. Нельзя объяснить эту разницу и тем незначительным промежутком времени, который разделял обе описываемые

демонстрации. Хотя, конечно, при тогдашнем быстром темпе революции и год представлял собою большой срок.

На наш взгляд, разница в социальном составе обеих демонстраций и в общей их картине обусловливается тем обстоятельством, что Саратов того времени не был фабричным городом, между тем как Ростов-на-Дону, помимо фабрик и заводов, имел еще порт и, таким образом, уже тогда представлял собою довольно большой фабричный центр с значительным пролетариатом. А потому в ростовской демонстрации доминировали не социалисты-революционеры и не мелкая буржуазия, а пролетариат и социал-демократы. Вероятно поэтому же мы ничего не слышали относительно объединенного комитета. Руководство манифестацией всецело и безраздельно принадлежало партии социал-демократов. Мелкая буржуазия вливается в пролетариат и всецело им организуется. Демонстрация в этом отношении является показательной.

Судебный процесс. Обстановка его. Все подсудимые были преданы, на основании 18 ст. «положения об охране государственного порядка и общественного спокойствия», военному суду с суждением по законам военного времени. Так как при рассеянии демонстрации произошло убийство пристава Антонова и нанесение ран другим должностным лицам и так как обвинение было предъявлено ко всем подсудимым в том, что они действовали по взаимному соглашению, то всем им грозила смертная казнь и все подсудимые были связаны между собой круговой порукой. А самая передача дела военному суду при данной обстановке показывала, что правительство жаждет эшафота.

В воздухе пахло кровью, и это обстоятельство само по себе не могло не создать повышенной, нервной атмосферы вокруг процесса. Но и с такой оговоркой я все-таки был прямо поражен той разницей обстановки, в которой год тому назад протекал процесс в Саратове по аналогичному делу, с той обстановкой, с которой мы встретились здесь на Дону.

Казалось, что мы находимся в иной стране и в иной эпохе. Как мы видели, опасаясь рабочих, правительство перенесло суд из бойкого, портового, промышленного и торгового Ростова в тихий по-провинциальному Таганрог. Но и здесь оно не чувствовало себя спокойным. Оно вынуждено было принять исключительные меры предосторожности. По улицам постоянно курсировали военные патрули. Здания суда и тюрьмы охраняются усиленными нарядами полиции и войск. Обвиняемых доставляют в суд из тюрьмы и обратно не иначе,

как под конвоем, состоящим из пеших и конных военных отрядов.

Одним словом, на постороннего наблюдателя обычно мирный и сонный провинциальный Таганрог в дни суда производил впечатление города, в котором революция или только-что подавлена, или сейчас готова вспыхнуть.

Н е р в н а я о б с т а н о в к а п р о ц е с с а. Если так нервничало правительство, то и противоположная сторона обнаруживала не меньшую чуткость к процессу. В Саратове делом интересовались отдельные кружки интеллигенции, разбросанные по городу. Нас приглашали в дома, расспрашивали о процессе, выражали сочувствие обвиняемым. В Таганроге мы были оторваны от местных интеллигентских кругов. Зато мы ясно ощущали, что в движение втянуты массы.

Мы видели, как реагировала на процесс улица, та самая улица, которая его породила. Целые толпы народа ожидали подсудимых как около суда, так и около тюрьмы. Немедленно по выходе толпа их окружала и провожала. Разогнанная в одном месте, толпа собиралась в другом.

Толпа состояла из рабочих и крестьян — интеллигенция блистала своим отсутствием. Но всего этого было мало. В день открытия заседания остановились фабрики Таганрога, где дело слушалось, и Ростова-наДону, где оно возникло. Была устроена и дружно проведена забастовка протеста.

Одним словом, рабочий класс откликнулся на борьбу уже не своими верхушками, не отдельными своими представителями, а всей своей многотысячной массой. Толпы забастовавших рабочих запрудили улицы и площади города, еще больше повышая ту нервную атмосферу, которая обволакивала процесс. В здание суда можно было проходить, только протиснувшись сначала через толпы рабочих, а потом через шпалеры полиции и войск.

Нельзя передать словами, какое громадное наслаждение испытывали мы, защитники, в частности я, от такого близкого соприкосновения с подлинной народной революцией [1]. Ведь это было впервые за всю мою уже тогда достаточно долгую жизнь!

П р е д с е д а т е л ь и з а щ и т а. Придавая процессу чрезвычайное значение, Плеве считал, что необходим особенно суровый приговор. Эшафот должен быть сооружен во что бы то

---

[1] Характерный вопль кабинетного либерала, впервые ошеломленного революцией! Нужно же было так соскучиться по «подлинной народной» революции! — *Ч.*

ни стало. Но в описываемую эпоху правительство, как мы уже говорили, не всегда могло положиться на суд и, как это ни звучит странно, в особенности — на суд военный. Плеве это знал и потому прибегнул к особому маневру.

Собирался выходить в отставку военный судья, не помню, Мордвинов или Мордвинников. Он хлопотал об усиленной, как теперь сказали бы, персональной, пенсии. Плеве вызвал к себе Мордвинова, обещал ему усиленную пенсию, если он проведет, согласно видам правительства, тактично и строго последний процесс, который ему поручался: таганрогский процесс о ростовской демонстрации. Мордвинов поехал в Таганрог с определенной целью честно заработать свою пенсию.

Но, на несчастье генерала, для защиты таганрогского процесса съехались со всех концов опытные и мужественные защитники, которые делали задачу Мордвинова чрезвычайно трудной и сложной. В числе защитников, между прочим, был Рапп. Сам социал-демократ, он впоследствии должен был бежать из России; поселился в Париже, составил себе имя хорошего адвоката по русским делам. Был из Киева Ратнер. Он тяготел к социалистам-революционерам и вынужден был эмигрировать за границу, где и умер, не дождавшись революции. Из Харькова приехал Гонтарев, человек большого мужества и независимости. Приехали Андронников, Карякин из Воронежа и автор этой книги из Москвы. Были и другие, может быть, менее известные, но не менее мужественные люди. При таком составе защиты положение Мордвинова было не из легких. Требовались и ловкость и находчивость.

Но генерал храбро бросился в бой... за свою пенсию. С самого открытия судебного заседания он стал усиленно стеснять защиту. Во-первых, он не позволял задавать буквально ни одного вопроса, уличающего шпионов, жандармов и полицию в лжесвидетельстве. Конечно, нельзя было и заикаться о вопросе, поднятом нами в саратовском процессе, т.-е. — что показания шпионов, как таковых, не могут служить доказательством на суде. Показания этих лиц для Мордвинова составляли евангелие.

И весь процесс под председательством человека, зарабатывающего на нем «детям на молочишко», был одним сплошным правовым кровоподтеком. Мы уже не говорим здесь о конструкции самого обвинения, не говорим о совершенной невозможности рассматривать всех участников демонстрации, всю эту смесь «имен и лиц, племен, наречий, состояний», как объединенных взаимным соглашением на каждое действие, которое

в течение демонстрации кто бы то ни было, где бы то ни было и когда бы то ни было учинил.

То была безграмотность предания суду. Но Мордвинову, очевидно, надо было безграмотный обвинительный акт подкрепить во что бы то ни стало судебным следствием. Для этого он делал все возможное и пытался сделать невозможное. Если кто-либо из откровенных лжесвидетелей путался и противоречил сам себе или другим свидетельским показаниям, председатель моментально выправлял сам его показание, сглаживая заключающиеся в них противоречия, как бы кричащи они ни были. Защите на каждом шагу зажимался рот.

Мое объяснение с Мордвиновым. Собравшись вечером, мы решили, что так дальше продолжаться не может: или мы уйдем, или председатель должен вести себя более лойяльно. На меня была возложена тяжелая обязанность объяснения с председателем.

На другой день рано утром, еще до открытия судебного заседания, я отправился к Мордвинову. Генерал встретил меня более чем любезно, прямо с распростертыми объятиями; но во время беседы я очень скоро понял, что полученные нами сведения о пенсии совершенно правильны и что передо мной сидит человек, продавший свою совесть и старавшийся провести сделку возможно бесшумнее.

На мое заявление, что защита должна будет при создавшемся положении обсудить вопрос, имеет ли она моральное право своим присутствием придавать форму законности происходящему на ее глазах беззаконию, Мордвинов с несвойственной ему живостью ответил:

— Нет, нет, только не это! Только не демонстрация!

Испуг, обнаруженный Мордвиновым при моей угрозе ухода защиты из заседания, показал мне, что он получил инструкции вынести висельный приговор, но действовать при этом с большим тактом, чтобы не скомпрометировать лойяльности суда. Поэтому он вскоре согласился на все требования, которые я ему предъявил от имени защиты. Я поднялся, чтобы уйти. Но тут, к моему изумлению, председатель задержал меня.

— Видите ли, я человек миролюбивый. Мне теперь ничего не нужно, так как я выхожу на пенсию. И мне было бы ужасно неприятно в этом последнем процессе, в котором я председательствую, принимать против кого-либо из защитников крутые меры. В эти несколько дней я успел уже ко всем вам присмотреться. Ратнера я не боюсь: он будет . . . и генерал рукой показал, как, по его мнению, будет лавировать Ратнер. Но

знаете ли, Рапп, Карякин и Гонтарев могут брякнуть что-либо такое, что вынудит меня принять против них самые крутые меры. Переговорите, пожалуйста, с ними, чтобы этого не случилось...

Я, конечно, ответил с чувством сдерживаемого в границах приличия негодования, что считаю совершенно несовместимым со своим достоинством быть посредником в такого рода переговорах, а что, если он имеет что-либо сказать моим товарищам, то сам может это сделать.

Мы расстались в холодке, но цель была достигнута, и в дальнейшем следствие протекало в более нормальных условиях.

Лишь только нам дали возможность выяснить дело, мы быстро опрокинули все здание обвинительного акта. Он рушился так же легко, как рушатся карточные домики от малейшего дуновения свежего ветерка. Никакого деления толпы на публику и демонстрантов нельзя было установить. Полиция не могла считаться достоверной свидетельницей демонстрации по той простой причине, что лицом к лицу с громадной и враждебно настроенной массой рабочих, крестьян и отчасти мелкой городской буржуазии полиция струсила и разбежалась.

Этим обстоятельством и объясняется меланхолическое утверждение обвинительного акта, что «хотя начальником охранной стражи было сообщено полицеймейстеру города Ростова-на-Дону и помощнику начальника жандармского управления Ростовского округа о готовящейся второго марта демонстрации, но особых мер на случай возникновения в этот день беспорядков принято не было».

Утверждение обвинительного акта, разумеется, не верно. Меры приняты были. Но ни доносившая охранная стража, ни жандармское управление, ни полицеймейстер не могли и предполагать, что «беспорядки примут такие грандиозные размеры» и что принятые меры окажутся недостаточными. А когда это выяснилось, было уже поздно. Тогда полиция и жандармы позорно стушевались. Они появились вновь только по прибытии казаков и стали вымещать за свое позорное бегство.

С л у ч а й н о с т ь а р е с т о в. Несмотря на все желание вождей демонстрации избежать кровопролития, этого сделать не удалось, и на месте побоища остались в большинстве не активные организаторы демонстрации, а случайно задержанные лица. А потому аресты носили совершенно случайный характер. Так, в числе прочих был арестован чуть ли не за произнесение возбуждающих речей... глухонемой!

Несмотря на все это, было очевидно, что Мордвинов решил вынести хотя бы несколько смертных приговоров. Кому? На этот вопрос сам Мордвинов вряд ли смог бы ответить. Во всяком случае, мы рассчитывали на то, что приговор зависел не от одного председателя. Нам были известны случаи, когда представители от полков (теперешние заседатели) категорически отказывались подписать требуемый от них председателем приговор.

Я знал один курьезный случай. По политическому процессу председатель предложил временным членам суда вынести обвинительный приговор. Те не соглашались. Председатель попался упорный. Он заявил, что он отвечает за приговор и потому будет держать временных судей в совещательной комнате до тех пор, пока они не согласятся с ним. К изумлению председателя, его коллеги стали снимать сюртуки, потом сапоги.

— Что вы делаете? — изумился он.

— Ничего особенного. Вы сказали, что будете держать нас в совещательной комнате, пока с вами не согласимся, а так как мы этого не хотим сделать, то и решили лечь спать.

Председатель должен был уступить.

Следовательно, нам приходилось рассчитывать на временных членов от полков, и надо было стараться на них повлиять.

Охота на Браиловского. С течением процесса по манере председателя допрашивать подсудимых и свидетелей и обвиняемых для нас стало ясно, что за его пенсию должна была скатиться голова Браиловского. Браиловский — еврей, он интеллигент, а эти два качества были наиболее ненавистны Департаменту полиции и Плеве.

На рабочих в то время правительство еще продолжало смотреть не как на самостоятельную и по своему классовому положению самую опасную революционную силу, а как на жертвы еврейских и интеллигентских интриг.

«Братцы-рабочие» предполагались по гроб благодарными фабрикантам за нищенскую заработную плату при пятнадцатичасовом рабочем дне и «батюшке-царю» — за охрану всеми вооруженными силами государства интересов фабрикантов и заводчиков. Не только в те годы, но уже позже, когда в настроении рабочих нельзя было, казалось, сомневаться, Витте в качестве тогдашнего премьера послал революционному пролетариату телеграмму с нелепым обращением: «братцы-рабочие!», на что последние не без остроумия ответили, что, насколько им известно, они, русский пролетариат, ни в какой степени родства с Витте не состояли и не состоят.

Итак, Мордвинов решил приговорить к смертной казни главного оратора во время манифестации — Александра Браиловского. Но участие в манифестации и даже ее организация не карались по закону смертной казнью. Виселица могла грозить только лицам, участие которых в убийстве пристава Антонова или в нанесении ран другим полицейским чинам будет доказано с несомненностью.

Все свидетели обвинения, даже полиция, даже шпионы и жандармы, в один голос говорили, что Браиловский никакого участия в свалке не принимал и никому ран не наносил. Те же свидетели должны были признать, что Браиловский не призывал к избиению полиции. Все это было понятно, впрочем, и помимо всяких свидетелей. Браиловский был ответственным работником социал-демократической партии, следовательно, не мог призывать рабочих к столкновению с войсками, исход которого для него был совершенно ясен.

Как же можно было сконструировать обвинение? Вот тут-то и сыграла нужную роль фраза, с которой, как помнит читатель, Браиловский обратился к толпе:

— Пока полиция вас не трогает, ведите себя смирно!

Всякий здравомыслящий человек признает, что это обращение не дает никакого основания обвинять Браиловского в подстрекательстве к убийствам или нанесению ран. Но прокурор и председатель рассуждали иначе. Если Браиловский призывал толпу держать себя мирно, пока полиция ее не трогает, то этим самым он призывал к насилиям в том случае, если бы полиция захотела кого-либо арестовать или вообще на кого-либо напала бы.

Следовательно, Браиловский был соучастником и подстрекателем лиц, убивших Антонова и нанесших раны другим полицейским чинам!

Это «следовательно» было... пенсией для Мордвинова и эшафотом для Браиловского.

Прения сторон. Мы остановились на этом эпизоде, чтобы показать, до какой степени падения может дойти суд, развращаемый правительством и такими его деятелями, как Плеве. Однако, справедливость требует сказать, что в эпоху, в которую разбирался таганрогский процесс, такие судьи, как Мордвинов, не были еще «бытовым явлением». Они им сделались при Щегловитове и Павлове.

Прокурор связал всех подсудимых признаком соучастия в убийстве и почти для всех требовал смертной казни. В первую голову — для Браиловского, которого он обвинял в подстрека-

тельстве к насилиям. Речь прокурора, бледная и тусклая, никакого впечатления не произвела. Напротив, защитники говорили с большим подъемом.

Лично мне, кроме общей юридической темы, была поручена защита Браиловского, находящегося в самом опасном положении. Защита моя сводилась к юридическому анализу состава преступления, к доказательству того, что в деяниях Браиловского этого состава нет, и затем к патетической части, в которой я хотел повлиять на временных судей.

В юридической части я отрицал наличность подстрекательства со стороны Браиловского. Я изобличал суд в нарушении закона.

— Вы подняли против нас кровавый закон, — воскликнул я, — мы вырвем этот закон из ваших рук и из него сделаем свой собственный оплот. Вы предали обвиняемых по самым суровым законам — пусть! Вы их предали военному суду — хорошо! Вы собираетесь их судить по законам военного времени — и на это мы согласны! По законам военного времени, по суровым законам, но все же — по законам! Ибо, если эти люди подумают, что они поставлены вне закона, вне закона окажусь я; вне закона окажетесь вы; вне закона окажемся мы все, люди правящих и привилегированных классов! (Точная цитата.)

Я переписываю теперь эту выдержку из своей речи по сохранившемуся случайно в моем архиве таганрогскому процессу. Цитированные слова были произнесены в 1903 году. Тогда они могли показаться запугиванием или риторическим украшением. Октябрь 1917 года осуществил их в полной мере, гораздо более полной, чем думал я, произнося эти слова, оказавшиеся пророческими.

Далее я решительно утверждал перед судом, что «Браиловский, как сознательный социал-демократ, никогда не позволил бы себе бросить безоружную толпу рабочих на штыки войск, чтобы не брать на себя ответственности за пролитие той самой крови, во имя которой он готов теперь выслушать ваш суровый приговор».

Последние слова подсудимых были настоящими скачками с препятствиями. Лишь только подсудимые начинали говорить о своих взглядах и убеждениях, как председатель немедленно их останавливал и притом в достаточно грубой форме. Напрасны были требования защиты, чтобы обвиняемым дали по крайней мере возможность высказать те идеи, ради которых они собираются жертвовать всей своей будущностью, а, может

быть, и самой жизнью. Председатель, очевидно, вознаграждал себя за долгое и вынужденное воздержание.

Суд удалился для совещания. Трудно себе представить, как велико было нервное напряжение не только залы суда, переполненной, несмотря на закрытые двери, но и улицы. Тогда не было громкоговорителей, но все сказанное в суде резонировало в тысячах сердец. Нельзя было определить, каким образом, по какому беспроволочному телеграфу все происходящее при закрытых дверях моментально разносилось по всему городу, а иногда и далеко за его пределы. Двое рабочих, как теперь сказали бы, «от станка» произнесли прекрасные, чисто революционные речи. То были Колосков и Куксин.

Приговор. Ждали приговора. Проходит час, другой, третий. Томительно тянется время... семь, восемь, девять часов... В нашем современном процессе продолжительное совещание судей является совершенно нормальным, потому что суд должен не только постановить приговор, но и подробно его мотивировать; но в прежнее время суд выносил не приговор, а лишь резолюцию, написание которой не могло отнять более четверти часа времени. Затянулось, очевидно, самое совещание. Следовательно, в составе суда произошли разногласия, и председатель был в меньшинстве, потому что, если-б было иначе, он не стал бы держать судей так долго. В душу мою запала надежда, что жизнь Браиловского будет спасена.

А мне этого страстно хотелось — не только по человечеству. Мы видели, что Браиловский подавал громадные надежды. В момент процесса ему было только 18 лет. Если бы он не вышел из седьмого класса гимназии, он еще с ранцем за плечами вместо демонстрации пошел бы в гимназию. И тем не менее, он сумел завладеть многотысячной толпой, сумел стать ее признанным вождем.

Наконец, звонок. Приговор готов. Судьба уже решена.

У Некрасова в его «Кому на Руси жить хорошо» есть стих:

Не верьте, православные:
Привычке есть предел.
Нет сердца, преносящего
Без некоего трепета
Предсмертного хрипения,
Надгробного рыдания,
Сиротскую печаль.

Нет сердца, переносящего без некоего трепета и судейского звонка, возвещающего, что участь человека решена, и сейчас будет объявлено ему: жизнь или смерть ожидает его.

Сорок с лишним лет моего адвокатского служения делу правосудия и милосердия — пора бы, кажется, привыкнуть, а между тем сорок с лишним лет сердце болезненно сжимается каждый раз, когда раздается роковой звонок. Кто знает, может этими моментами оно и надорвалось... А тут — грозит эшафот... молодая жизнь... жуть...

Выходит суд. Председатель красный, ни на кого не смотрит. Судьи не отрывают глаз от стола, будто на нем начертана их судьба. Дурной знак...

Компромисс. Суд приговаривает к смертной казни через повешение трех лиц: Браиловского, рабочего Куксина и казака Колоскова, державших себя на суде с большим достоинством и мужеством. Одновременно суд постановил ходатайствовать о замене всем трем смертной казни пожизненным заключением.

А в то время ходатайство суда обычно уважалось. Впоследствии Николай II до того порвал со всеми традициями даже своего отца, императора Александра III, что стал отклонять ходатайства собственных судов, рассматривавших дело и потому вполне компетентных; но это было уже впоследствии. В то же время, о котором мы сейчас говорим, еще тверда была традиция, и ходатайства судов считались теми же приговорами, лишь оформляемыми через монарха и командующих войсками округа по принадлежности.

Поэтому, радость наша была велика. Казни не будет. Мы понимали, что не сладка будет жизнь всех трех помилованных, в особенности Браиловского, но мы надеялись на силы молодости, надеялись на надвигающуюся революцию.

После произнесения приговора временные члены с большим раздражением против председателя рассказывали мне, что у них в совещательной комнате бой был жестокий, что Мордвинов думал изнасиловать их совесть, но они ни за что не соглашались вынести смертный приговор. И тогда был выработан компромиссный приговор. Таким образом, Мордвинов мог рассчитывать на пенсию, а подсудимые — на жизнь!

Наши надежды впоследствии оправдались: все трое приговоренных к повешению были «помилованы» властью донского атамана. Браиловский был отправлен на каторгу, откуда он благополучно бежал. Некоторое время он проживал нелегально. В 1905 году он опять бросается в революцию. На одном из митингов раскрывает свой псевдоним. Затем он сгорел в огне революции. Все это я, впрочем, знаю только по слухам — правда, более или менее достоверным.

В остальном приговор был, что называется, средний, —

конечно, принимая во внимание, что дело слушалось в военном суде, да еще по законам военного времени. Взятый же абсолютно, приговор был несомненно суров. Он пестрел каторгами и ссылками. Отчасти это вызывалось упомянутой уже устарелостью нашего «Уложения о наказаниях», а отчасти заботой о пенсии.

Рабочая демонстрация по поводу процесса. Процесс был кончен, но еще долго не могло улечься приподнятое общественное настроение, им вызванное. Волновался Таганрог, но, главным образом, волновался Ростов-на-Дону. Интересовалась процессом, конечно, и интеллигенция, но по преимуществу им были захвачены народные и рабочие массы.

Здесь я впервые столкнулся с революционно настроенными массами совершенно сознательных рабочих и впервые мог оценить их стойкость, революционность и всю силу их солидарности.

Жандармы, очевидно, были хорошо осведомлены о настроении фабрик и заводов Ростова. По крайней мере нам было сообщено желание, чтобы защитники возвращались не через Ростов, а через Харьков. Одновременно с этим депутаты от ростовских фабрик обратились к нам с просьбой прямо противоположного характера — возвращаться именно через Ростов, так как рабочие желают устроить нам демонстрацию сочувствия.

Понятно, само собой, что мы не могли и не считали себя в праве отказываться от принятия демонстрации сочувствия, во-первых, потому, что она, очевидно, относилась не к нам, а к подсудимым, нами лишь представляемым; а во-вторых, потому, что подобная демонстрация сама по себе являлась прекрасным и могучим агитационным средством. Было решено, что на Харьков поедут только те из защитников, кому дорога на Ростов была явно не по пути. Остальные должны ехать через Ростов, там слезть с поезда, принять демонстрацию и выехать дальше на другой день.

Для меня, как москвича, было безразлично, каким путем ни ехать, а потому я отправился на Ростов. Мы ожидали встретить манифестацию на вокзале, но, к изумлению, ростовский вокзал был пустынен и мертв, гораздо более пустынен, чем обыкновенно. В крайнем недоумении мы взяли извозчиков и поехали в город. Только обогнув вокзал, мы заметили, что вокзал оцеплен. Тогда мы поняли и мертвый вид дебаркадера, и отсутствие рабочих на вокзале.

Мы решили, что полиции удалось сорвать демонстрацию и направились в город.

Но с рабочими было не так-то легко справиться. Едва мы успели несколько отъехать от вокзала, как были остановлены огромными толпами рабочих, которые и рассказали нам, что их частью оттеснили от вокзала, а частью разогнали.

Однако, несмотря на эту неудачу, мы ясно видели приподнятое, революционное настроение рабочих. Юг горел. Пламя пока было приглушено, но ждало только возможности вырваться на широкий простор.

Эта возможность представилась очень скоро, гораздо скорее, чем даже можно было тогда предполагать.

Из обмена впечатлениями о процессе мы могли убедиться, что перед нами — рабочие массы, протестующие не против тех или иных частичных явлений, а против самой сущности капитализма и государственной системы, его поддерживающей. Одним словом, перед нами были рабочие, распропагандированные и руководимые тогдашней социал-демократической партией.

Настроение рабочих Ростова-на-Дону, а, может быть, и всего юга, лучше всего видно из того адреса, который нам прислали обвиняемые. Каким-то чудом он уцелел в моем архиве, и мы воспроизведем его здесь целиком:

«Дорогие друзья!

«История и жизнь с непреодолимой законностью создают все новые и новые формы человеческого существования. В настоящее время на наших глазах складывается и готова вылиться вполне созревшая, прекрасная, как сама справедливость, новая форма русской жизни.

«Эта новая форма — великое раскрепощение труда от тяжкого ига капитала.

«Тяжкие времена мы переживаем, но не безнадежные. На наших глазах тысячи рабов труда, охваченные общей жаждой освобождения, по всему югу России расправили свои утомленные плечи и сознательно и бессознательно потребовали лучшей доли, лучших условий жизни. Нам всем памятна грандиозная стачка рабочих ноября прошлого года в городе Ростове-на-Дону, это первое в России грозное и мирное выступление двадцатитысячного освободительного отряда русской рабочей армии.

«Стойко и грозно простоял в течение трех долгих недель этот отважный отряд, не дотрагиваясь до машин и станков,

под диким воем и тысячами ружейных дул полудиких казачьих орд и покорных солдат.

«И грубая, бессмысленная сила смяла мирных борцов, затоптала их, загнала в стены фабрик и заводов, погасив десятки новых рабочих жизней, вырвав из их среды сотни новых невинных жертв.

«Но жажды освобождения, жажды лучшей доли, а главное — твердого сознания правоты своего дела не могла вытравить эта грубая сила. Есть непогасимые искры — это яркие искры разгорающейся борьбы за счастье, и в марте этого года вспыхнула в Ростове-на-Дону грандиозная рабочая демонстрация. Рабочие смело и открыто, но мирно, заявили о своих желаниях и правах на улицах большого фабрично-заводского города со стодвадцатитысячным населением.

«И в ответ — новый тяжкий натиск грубой силы, новые жертвы и военный суд... беспощадный суд усмирителей над усмиренными, суд военной касты над апостолами мирного труда, суд за закрытыми дверями...

«Друзья! Мы предугадываем, понимаем, что вы пережили на военном суде. Глухие стены, каменные сердца. Тем более вы дороги нам, пережившие вместе с нами одни и те же чувства, те же волнения. Вы сделали все, что могли сделать в настоящую пору. Больше вас никто ни на йоту не мог бы сделать для невинных жертв.

«Дайте же пожать вам руки, славные рыцари права, бескорыстные и отважные участники великого современного формирования лучшего будущего для многомиллионной рабочей массы России!

«Таганрог».

Далее следуют подписи 16 участников процесса.

Мы привели дословно текст этой прокламации, чтобы показать, во-первых, что настроение обвиняемых нисколько не упало под влиянием сурового приговора; и, во-вторых, чтобы дать слово самим участникам манифестации в деле ее характеристики. Лишнее прибавлять, что среди подписавшихся фигурируют подписи Браиловского, Колоскова и Куксина, над которыми еще висела смертная казнь, так как официального помилования еще получено не было.

Так чувствуют себя герои, слившие себя нераздельно с жизнью масс. Физически они вырваны из ее среды, но идейно продолжают жить с массой общей жизнью.

Более четверти века протекло с момента получения мной

этих строк, и однако я не могу без чувства глубокого волнения перечитывать их даже теперь, даже в корректурных оттисках.

Переписка с Браиловским. Что касается Браиловского, он был юношей редкого горения. Уже обреченный на вечную каторгу, казалось бы, вычеркнутый из списка живущих, он продолжает интересоваться волей и всеми ее треволнениями. Вот — выдержки из письма, которое я от него получил через несколько месяцев после процесса. Приведу его в извлечениях.

«Слушайте, если кто-либо из тюрьмы, — пишет мне Браиловский, — да еще с перспективой постоянной тюрьмы, скажет вам, что чувствует себя хорошо, не верьте ему. Это вольная или невольная рисовка, это минутное возбуждение».

Браиловский трезво смотрит в глаза жизни. Но это не мешает ему волноваться всеми идеями, которые захватывали тогда людей, оставшихся по ту сторону тюрьмы.

Это было время, когда разочаровавшиеся в марксизме и отступившие от него когда-то крупные вожди «легального марксизма» — Струве, Бердяев, Булгаков и др., — выступили со своим полемическим сборником, наделавшим много шума, сборником «Вехи». Книга внесла большую смуту в умы и вызвала оживленную полемику. Я счел долгом бороться с книгой и противопоставил ее «идеализму» целый ряд докладов, в которых отстаивал идеи экономического материализма и марксизма.

Браиловский прочел изложение моих докладов в газете и пишет мне по этому поводу:

«Напишите мне хоть в общих чертах, что вы говорили. Меня очень интересует, как относятся к этому течению вообще и что вы говорили и думаете, в частности. Наука рвется вперед. Метафизика, как только откроет рот, кричит: назад (предварительно все-таки раскланявшись перед наукой), назад к Канту, и стало быть к Христу, и охотно они бы были готовы вернуться к миросозерцанию Моисея и (дальше назад некуда) к Адаму».

Так пишет мальчик 18 лет. Как жаль, как чертовски жаль, что он не дожил до наших дней! Как пригодились бы теперь и его перо, и его речь, и его талант. Это была бы «смена» достойная.[1]

На письме имеется приписка двух рабочих, приговоренных

---

[1] В противоположность моим сведениям, «Словарь революционных деятелей» говорит, что А. Я. Браиловский состоит в партии и находится в Америке. — *М. М.*

вместе с Браиловским к смертной казни и вместе с ним идущих теперь на каторгу: «Шлем вам сердечный привет».

Заключение. Подведем итоги. Таганрогский процесс и ростовская демонстрация могли даже такого исключительного скептика, как я, убедить, что революционное настроение вышло из тесных рамок интеллигенции и широкой волной разлилось по улице.

Было совершенно очевидно, что рабочий класс вступает в революцию уже не в лице своих верхушек, а именно всей своей массой. При этом выявились и основные, характерные черты революционных кадров рабочих, делающие их столь ценным боевым материалом революции: большая товарищеская солидарность, действие сомкнутым строем, отсутствие стремления к выявлению своей индивидуальности в ущерб общей стройности движения, настойчивость и решительность.

Пролетариат начинал осознавать себя. Мне приходилось читать в воспоминаниях о Ленине, что, когда в девяностых годах прошлой эры ему сказали, что у нас нет рабочего класса, он ответил: «надо, чтобы он поверил, что он существует».

В начале девятисотых годов русский пролетариат уже поверил в свое существование, что с достаточной ясностью показал таганрогский процесс.

В 1905 году он начал убеждать в этом и другие классы, а в 1917 году убедил их в этом окончательно.

Еще один вывод, напрашивающийся при изучении дела о ростовской манифестации. Там, где революция двигалась рабочей массой, там руководство неизменно попадало в руки революционной социал-демократической партии.

И, наконец, рабочих довольно долго приходилось пропагандировать, пока они не подняли революционного знамени и не взяли его из рук интеллигенции; но зато, когда это случилось, не было той силы, которая могла бы вырвать его у пролетариата.

Конечно, стрельба войск по безоружной толпе рабочих не раз заставляла ее разбегаться, но только для того, чтобы через день, неделю, месяц, год, наконец, появляться опять в еще более грозном виде.

ГЛАВА VI

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ.

Организация защиты Ф. Н. Плевако и его участие в защите. — Причины забастовки и ее ход. — Обвиняемые и защита. — Отсутствие революционного сознания у рабочих. — Хлудовская забастовка. — Речь Курского. — Причины беспорядков и их развитие. — Арест депутатов. — Требование их освобождения. — Стрельба в рабочих. — 128 жертв. — Причины большого их количества. — Лживые рапорты властей. — Убийство губернатора Богдановича. — Губернатор Соколовский и подготовка процесса. — Доносы и аресты. — Щедринский губернатор. — Расправы с адвокатами и рабочими.— Суд над рабочими за то, что они остались в живых. — Высылка адвокатов.— Донос на председателя палаты. — Отложение дела. — Убийство адвокатом председателя суда Песляка. — Дело отложено. — Новое назначение дела. — Состав защиты. — Судебное следствие. — Провокация и давление на свидетелей и экспертов. — Прения сторон и приговор. — Почти полное оправдание всех подсудимых. — Новый донос на защитников. — Водевиль после драмы.— Заключение. — Успехи революционной пропаганды после расстрела рабочих и процесса о них. — Рост классового самосознания рабочих в результате расстрела и судебного процесса.

ЗАБАСТОВКИ НА БАРАНОВСКОЙ И ХЛУДОВСКОЙ МАНУФАКТУРАХ

В предыдущих главах мы старались обрисовать яркое и мощное революционное настроение ростовского пролетариата. Но те, кто захотел бы обобщить эту картину и по таганрогскому процессу судить вообще о русском рабочем классе начала девятисотых годов, впали бы в жестокую ошибку.

Ростовский пролетариат, это — авангард. За ним длинной лентой тянулся через всю необъятную Русь далеко не однородный фронт рабочего класса. Чтобы дать хотя некоторое представление о тех различных стадиях, на которых находился пролетариат того времени в зависимости от условий производства, места, близости к крестьянскому хозяйству и пр., мы считаем нужным пересказать несколько рабочих процессов.

Прежде всего, беспорядки на Барановской мануфактуре. Дело об этих беспорядках рассматривалось Московской судебной палатой в ту же зиму, что и таганрогский процесс. Таганрогский слушался осенью, барановский — ближе к весне. Таким образом, напрасно мы временем стали бы объяснять разницу революционного состояния пролетариата в этих двух процессах.

Ф. Н. Плевако. На защиту беспорядков рабочих Барановской фабрики мы бросили все наши лучшие силы, за исключением П. Н. Малянтовича. Зато на этот раз мы были подкреплены тогда уже стареющимся львом адвокатуры — Ф. Н. Плевако. Плевако был человеком далеко не революционных взглядов. Впоследствии, как известно, он вошел в партию октябристов. В его защите звучали не революционные, а «общечеловеческие» ноты. Он обращался не к рабочим массам. Он говорил с классами привилегированными, с общественным мнением страны, убеждая из чувства человеколюбия протянуть руку помощи рабочим.

Это была, конечно, старая система защиты, сложившаяся еще тогда, когда пролетариат и революция не представляли собой реальной силы и когда приходилось рассчитывать на великодушие эксплоататоров.

При таких условиях не мог не возникнуть вопрос о включении Плевако, несмотря на весь его гигантский талант, в состав защиты. Несомненно, среди нас Плевако был выходцем из потустороннего мира, «заложником буржуазии». Некоторый мост между двумя системами защиты представлял собою В. А. Маклаков, не только настроенный очень лойяльно по отношению к правящим классам, но по своему душевному складу к ним именно примыкавший. Его с революцией связывала лишь борьба за культурные формы власти и законность.

Так или иначе, Ф. Н. Плевако принял участие в нашей общей защите, а это уже само собой показывало, что процесс не был революционен по своему существу. Федору Никифоровичу и раньше приходилось защищать как рабочие, так и крестьянские процессы. Одна из самых его талантливых речей была посвящена защите рабочих беспорядков на Морозовской фабрике. В ней этот замечательный оратор воскликнул: «Может быть, я, сытый, давно сытый человек, не сумею вам передать ощущения голодных людей», и далее, вопреки собственному опасению, великолепно эти ощущения передал и смягчил всю атмосферу процесса. Но о классовой

борьбе рабочего здесь не было и речи. Это было слово сытого человека к сытым людям о людях голодных. Речь об «униженных и оскорбленных», а не о революционном классе.

Я не могу представить себе такую речь, напр., в таганрогском процессе. В деле же о Барановской мануфактуре она была бы почти на месте.

Кроме Плевако, в защите участвовали Маклаков, Муравьев, Тесленко, Сталь и я. Но, если на этот раз защита не представляла собой единого целого, то и скамья подсудимых далеко не была монолитна.

Причины забастовки и ее ход. Забастовка началась по совершенно частному поводу и была вызвана чисто экономическими причинами. Рабочие не согласились на изменение условий найма. Было объявлено, что те, кто не станет на работу, будут уволены. Тогда начались сходки с целью обсуждения создавшегося положения. Забастовщики были далеки от каких-либо политических требований. Не поднимали они никаких общих вопросов о положении рабочего класса. Они говорили только о своих частных требованиях.

На ходе забастовки не видно влияния агитации посторонних элементов. Отсутствие руководства забастовкой со стороны социал-демократов или вообще социалистов сказалось и в той легкости, с которой забастовщики от мирного отстаивания своих требований перешли к насильственным действиям. Видя, что администрация не уступает, рабочие не обнаружили должной выдержки или у них нехватило средств длить забастовку. Они боялись, что будут действительно уволены и заменены новым набором. Сходки становились все более бурными. Толпа взломала фабричные ворота, запертые администрацией, ворвалась на двор и стала громить фабричное имущество.

Администрации только этого и было нужно. Теперь явился прекрасный повод для обращения к власти с просьбой о помощи. Была прислана вооруженная сила, забастовка была прекращена механически, «подстрекатели» арестованы и преданы суду.

Когда я приехал для свидания с подсудимыми, находившимися под стражей, я был прямо поражен их малым развитием. Они совершенно не интересовались общей борьбой рабочего класса с капитализмом и капиталистическим государством. Их фабричный двор с его частными интересами — вот весь кругозор вождей забастовки. Он не простирался дальше заводских

ворот. Таковы были вожди. Что же можно было сказать об остальных, о массе?

Обвиняемые и защита. Для подобного рода подсудимых судебный процесс был первым уроком политграмоты, школой их политического воспитания. Здесь мы, защитники, или по крайней мере те из нас, которые были социалистами (в то время большинство политической адвокатуры было заражено социализмом), пользовались свиданиями между прочим и для разъяснения связи между личной судьбой рабочих и общими условиями политической и экономической жизни. В частности, я объяснял обвиняемым все их ошибки и старался доказать, исходя из конкретных обстоятельств данного дела, что их права не могут быть завоеваны чьими бы то ни было индивидуальными усилиями или даже усилиями всего завода. Это — дело политической и экономической борьбы всего рабочего класса.

Далее я разъяснял обвиняемым, что они перед собой будут иметь не нейтральных судей между капиталистами и рабочими, а суд, поставивший задачей поддерживать капиталистическое государство. Такой суд может в отдельном случае признать рабочего правым, а капиталиста виноватым, но против самой сущности эксплоатации труда капиталом, со всеми вытекающими отсюда последствиями, он никогда не вынесет своего приговора.

Для обвиняемых все это было буквально откровением. Никогда ничего подобного они раньше ни от кого не слышали. Это я ясно видел как по вопросам, которые они мне предлагали, так и по выражению их лиц. Целый мир новых идей раскрывался неожиданно перед ними. И все-таки впечатление, произведенное на подсудимых нашей беседой, было ничто по сравнению с тем впечатлением, которое они вынесли из самого процесса и, главным образом, из речей защитников.

В. А. Маклаков с блеском разбил юридическую постановку обвинения. Мы с Н. К. Муравьевым говорили о положении рабочих, об их каторжной, непосильной работе, о нищенской оплате труда. Говорили, что желание рабочих вырваться из этой каторжной обстановки, если не разбить свои цепи, то по крайней мере ослабить их, — вполне естественно. Было бы, наоборот, неестественно, если бы у людей этого стремления не было. Далее нам пришлось обратиться к рассмотрению забастовки, как одного из орудий борьбы, и притом такого орудия, которое во всех цивилизованных странах Западной Европы считается вполне допустимым и совершенно законным.

После нас говорил Н. В. Тесленко. Он никогда не грешил

марксизмом, считал его «детской болезнью», но и он, конечно, рассматривал забастовку, как легальное орудие борьбы рабочего класса за улучшение своего положения. А что касается до разрушений, произведенных толпой, то «где толпа, там всегда безобразие».

Наконец, последним говорил Ф. Н. Плевако. Его речь была очень красива, но на меня она не произвела особого впечатления. Казалось, что орел не расправляет своих крыльев. Потому ли, что он утомлен жизнью, или потому, что, связанный нашей постановкой дела, не имел возможности взлететь на те гуманитарные, общечеловеческие вершины, на которых привык парить. Интересно отметить, что и обвиняемым его речь не особенно понравилась.

Что касается до обвиняемых, то они с большим восторгом слушали прения сторон. Митингов тогда еще не было, и они впервые присутствовали при публичном обсуждении волнующих их вопросов. Они впервые увидели людей, смело и открыто отстаивающих их права и интересы.

В последних словах обвиняемые не могли сказать ничего, имеющего хотя бы какой-нибудь общий интерес, а мы, естественно, не хотели из них делать граммофона для проведения наших мыслей. При таких условиях весь процесс не мог не выглядеть тусклым и бледным. Подсудимые в последнем слове говорили исключительно о своем деле и индивидуальном положении, не возвышаясь до уровня общих вопросов и даже не пытаясь придать забастовке характера классовой борьбы.

Одним словом, после тех ярких впечатлений и тех надежд, которыми окрылил меня таганрогский процесс, дело о забастовке на Барановской мануфактуре было горьким разочарованием. Казалось, меня из академии революции посадили опять в начальную школу.

На высказанное мною по этому поводу недоумение некоторые товарищи объясняли мне, что текстильщики были всегда отсталым арьергардом рабочего класса. Металлисты и железнодорожники были много впереди.

Возможно, что это объяснение было правильно. Но, во всяком случае, это был далеко не единственный случай, когда мне приходилось изумляться пестроте картины, представляемой рабочим классом накануне революции.

Так, осенью 1903 года мне пришлось защищать дело о рабочих беспорядках на бумагопрядильной фабрике Хлудовых. Беспорядки имели место в Рязанской губернии, т.-е. опять-таки в центрально-промышленном районе. Суду было предано

11 рабочих. И все они на меня произвели такое же тусклое впечатление. То был материал для пропаганды, но не готовые кадры революционеров, сознательно идущих в бой за интересы своего класса. Так, очевидно, взглянула на дело и судебная палата, которая дала им восемь месяцев тюрьмы.

Однако, состав скамьи подсудимых не помешал защищавшему с нами хлудовский процесс, тогда еще молодому совсем, Д. И. Курскому произнести настоящую революционную речь. С неподдельным гневом он не защищал, он сам обвинял фабрику в непомерной эксплоатации рабочих.

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ БОЙНЯ

Причины беспорядков и их развитие. Между этими двумя полюсами, — рабочими Барановской и Хлудовской мануфактур, с одной стороны, и ростовским пролетариатом, с другой, поскольку мы могли их наблюдать в описанных процессах, — по их революционной сознательности могут быть поставлены рабочие, фигурировавшие в знаменитом процессе Златоустовской бойни.

Процесс этот настолько колоритен и вызвал такое сильное и справедливое негодование в русской общественности того времени, что мы на нем остановимся с некоторой подробностью.

В 1903 году между рабочими и администрацией Златоустовских заводов разразился конфликт. Рабочие самым категорическим образом отказались принять новые расчетные книжки, находя, что их положение с принятием книжек ухудшится. Начались сходки. Администрация дала знать о «беспорядках» губернатору.

В то блаженное время, о котором мы теперь говорим, несогласие рабочих на предлагаемые заводоуправлением условия считалось само по себе беспорядками и вызывало вмешательство правительства. Губернатор немедленно выехал на заводы и прибыл туда 12 марта.

Однако, не дождавшись приезда губернатора, жандармские власти арестовали двух рабочих за то, что они в качестве делегатов от товарищей являлись для переговоров с заводской администрацией. Чувство товарищеской солидарности вообще, а по отношению к своим делегатам в особенности, очень развито в рабочей массе, совершенно независимо от степени ее революционности. Поэтому, узнав об аресте своих уполномоченных, толпа рабочих стала разыскивать исправника и жандармов, чтобы объясниться с ними и настоять на освобождении из-под стражи своих делегатов.

В толпе были и женщины и, как это всегда водится, к ней во множестве примкнули ребятишки.

Вместо того, чтобы или удовлетворить желание рабочих и освободить арестованных, или решительно отказать в этом, администрация старалась выиграть время, для чего прибегла к целой сети обмана и хитрости. Так, рабочих уверяли, что арестованные уже отправлены в Уфу, а потому здесь в Златоусте ничего сделать нельзя для их освобождения.

После того как ложь была быстро разоблачена, местные власти, прокурор, исправник, жандармерия потеряли всякий кредит у возбужденной толпы.

И тем не менее, рабочие, несмотря на крайне взволнованное состояние, вели себя в высшей степени миролюбиво, не прибегая ни к каким насилиям.

В таком положении застал дело губернатор. По рассказам, которые мне со всех сторон пришлось слышать, Богданович был не из самых худших помпадуров многострадальной провинции. Он не упивался административным восторгом и от природы не был злым человеком, но был труслив и всегда находился под влиянием своих подчиненных.

Пользуясь этим, исправник и жандармы легко убедили его, что рабочие настроены агрессивно, что они лично уже выдержали двухдневную осаду и теперь каким-то чудом им удалось вырваться, чтобы явиться к губернатору. Богданович не проверил доклада, принял все за чистую монету; его страх перед толпой возрос. Исправник так картинно изображал разъяренных рабочих, хватающих его за полы, насильничающих над караулом, ломающих штыки солдат, что губернатор уже видел себя разорванным беснующейся толпой.

Ничего не подозревая, рабочие, узнав о приезде губернатора, очень этому обрадовались. Теперь, наконец, дело выяснится, и их товарищи-делегаты будут немедленно освобождены. В таком настроении они, наученные горьким опытом ареста делегатов, всей массой двинулись к дому, где остановился представитель высшей в губернии власти. Толпа стала терпеливо ждать выхода губернатора. Перед испуганным воображением последнего это ожидание превратилось в осаду. По крайней мере, так впоследствии, донося о событии министру внутренних дел, Богданович изложил ход событий.

При этом губернатор не задумался даже над таким красноречивым фактом, что толпа, по его донесению три дня осаждавшая сначала исправника, а потом его самого, не произвела ни одного бесчинства и никакого насилия.

Тем не менее, губернатору наличной воинской силы и полиции кажется мало для охраны его драгоценной личности. Нужны подкрепления, которые и вызываются.

А жандармы действуют тем временем в другом направлении: они производят аресты, по большей части совершенно не мотивированные. Так, один чиновник был арестован за то, что в частной беседе на чью-то фразу о возможности стрельбы, возмущенный, ответил: «Стрелять мы будем сами».

На другой день по приезде губернатора жандармский ротмистр и прокурор суда, зачем-то приехавший с губернатором, объявили рабочим, что едут в тюрьму допрашивать арестованных. Рабочие, уже раз обманутые ротмистром, заявили, что пойдут вместе с властями, чтобы убедиться, что на этот раз их не надуют.

С т р е л ь б а в р а б о ч и х. Тогда губернатор вышел на балкон и предложил немедленно разойтись, при чем предупредил, что в последний раз разговаривает мирно. Рабочие настаивали на желании сопровождать прокурора до тюрьмы. В ожидании они продолжали толпиться у дома, где остановился губернатор и где находился прокурор. Богданович вернулся в свои покои в очень нервном состоянии. Ни минуты не медля, он передал прерогативы свои военной власти.

Гражданская власть не имела права распоряжаться действиями войск даже при усмирении внутренних беспорядков. Если же, по ее мнению, обстоятельства вынуждали к действию оружием, то она передавала свои полномочия представителям военной власти, которые руководили восстановлением порядка и усмирением волнений. Следовательно, передача полномочий высшему представителю военной власти и означала собой приглашение действовать оружием.

Ничего не подозревающая и вообще ничего не понимающая в происходящем толпа рабочих продолжала ждать нового появления губернатора.

Через несколько минут батальонный командир приказывает дать сигнальный рожок, предупреждающий о стрельбе. Мне пришлось очень много и путем допроса свидетелей, и путем частных бесед выяснять вопрос: были ли даны сигналы и, если были даны, то слышала ли их толпа? И у меня в результате всех ответов сложилось убеждение, что сигналы были даны, но они так быстро следовали один за другим, что часть толпы не успела осознать их значения и смысла. Другие же, хотя понимали характер сигналов, но не придавали им значения, так как не могли допустить, чтобы власти решились расстреливать

в упор спокойно стоящих рабочих. Были и такие, которые просто-напросто не слышали звука рожков.

Внезапно, как удар грома среди ясного неба, раздается залп, другой, третий...

В то же мгновение в толпе валятся люди, слышатся стоны, льется теплая человеческая кровь... падают старики, женщины, дети...

В панике люди разбегаются... А залпы продолжают раздаваться, и пули валят все новые и новые жертвы...

Приведем сухие цифры рапорта губернатора Богдановича, говорящие красочнее всяких описаний о трофеях столь славной победы. Мы должны при этом отдать справедливость победителю златоустовских рабочих: в своих реляциях он проявил необычайную для триумфатора скромность. Очевидно, опасаясь слишком больших почестей, он первое время преуменьшал размеры одержанной победы и считал раненными только тех, кто уже находился в состоянии агонии.

Но аппетит приходит во время еды, и в дальнейших своих сообщениях губернатору пришлось отбросить ложную скромность. Таким образом, размеры победы обрисовались во всей ее ужасающей картине.

Вот цифры:

Убитых	28 чел
Умерло от ран.	17 »
Тяжело раненых	41 »
Легко раненых	19 »
Получивших незначительные ранения. .	23 »
А всего	128 чел.

Не трудно догадаться, что тяжело раненые, это — лица, получившие смертельные ранения, но к моменту донесения не успевшие скончаться от ран. Труднее понять деления на «легко раненых» и получивших «незначительные ранения». Во всяком случае, лиц легко раненых было значительно больше, чем показано, что видно уже из соотношения цифр убитых и тяжело раненых к легко раненым: 86 : 42. Незначительное количество легко раненых, фигурирующих в официальной статистике, объясняется тем, что получившие легкие ранения стараются скрыть его от власти, чтобы в добавление ко всему еще не попасть под суд.

Объяснения большого количества жертв. Повидимому, местные власти, при всей безответственности тогдашней администрации, понимали, что и в добродетелях надо

соблюдать умеренность. По крайней мере, они усиленно желают представить свои действия, как вынужденные. Что же касается до огромного количества жертв, то в официальных рапортах объясняется это обстоятельство ... усовершенствованным характером новых ружей.

Какой «жалкий лепет оправданья»!

Как-будто ружья стреляют сами, и нельзя было, принимая во внимание губительное действие нового оружия, приказать стрелять не общими залпами.

Мы знаем, что в еврейских погромах, когда администрация находила, что еврейское население уже достаточно наказано за революционную строптивость, а громилы, напротив, только входили во вкус и их надо было рассеять при помощи оружия, сначала отдавался приказ стрелять в воздух. Если же это не помогало, то приказывалось стрелять по-двое, по-трое. И обычно после второй пачки выстрелов громилы, видя, что власть на этот раз не шутит, разбегались.

Но там ведь были громилы, и потому их берегли, а здесь были честные рабочие, и с ними незачем было церемониться.

На самом же деле невероятное число жертв объяснялось тем, что стреляли уже тогда, когда толпа бросилась врассыпную, стреляли вдогонку. То была какая-то чудовищная вакханалия административного восторга. Состав же вызванных войск был исключителен по своей малой сознательности и в большинстве состоял из отсталых, как называли тогда, «инородцев».

Действия администрации были вполне одобрены министром внутренних дел, и если главный виновник бойни не получил немедленного повышения по службе, то губернатором он продолжал спокойно оставаться, несмотря на вопль негодования, пронесшийся по всей стране.

А между тем на суде нам удалось с редкой для таких дел очевидностью установить всю ложь официальных рапортов местной власти. Защита непререкаемо доказала, что официальная версия фальсифицировала события с целью свалить вину с больной головы на здоровую и выставить рабочих агрессивно настроенными, а губернатора вынужденным прибегнуть к действию огнестрельным оружием. Маневр тем более омерзительный, что раздавался над трупами людей в момент, когда над ними уже

Судьбы свершился приговор!

И когда я теперь, более четверти века спустя, вспоминаю то

чувство живейшего негодования, которое я испытывал тогда, мне невольно приходит на ум другой рабочий процесс, который я защищал в 1929 году, уже при советской власти. Я говорю о деле, получившем самую широкую известность под именем «самосуда на станции Гривно».

В продолжение более двух часов толпа осаждала нескольких работников милиции, в распоряжении которых не было ни войск, ни какой-либо иной физической силы. Толпа требовала от них выдачи милиционера, чтобы совершить над ним ужасный самосуд. Она вела себя действительно крайне агрессивно. В милиционеров бросались камни, высаживали оконные рамы, рубили двери. Милиционерам каждую минуту угрожала смерть.

И мужественные люди ни одной минуты не пытались прибегнуть к действию оружием.

Такова разница в отношении царской и советской власти к волнующейся толпе рабочих. Я смело со спокойной совестью мог на это указать тем тысячам рабочих, которые пришли слушать процесс своих товарищей.

Какой контраст! В Златоусте мирная толпа просит об освобождении своих товарищей, и в результате — сотни убитых и изувеченных; на Гривно толпа требует выдачи должностного лица для расправы с ним, и — ни одного выстрела, ни одного пострадавшего!

Убийство губернатора Богдановича. Древняя поговорка гласила: «Когда говорит оружие, молчит право». В царское время, время полного произвола администрации, когда низшие классы общества и революционеры напрасно стали бы искать справедливости, можно было, как общее правило, установить поговорку прямо обратную: «Когда молчит право, говорит оружие», бомба или браунинг — безразлично.

У Некрасова есть чудный стих, обращенный к важному сановнику:

Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках.

Но со времени напечатания этих строк, кроме громов небесных и земных, появились еще громы подпольные.

Партия социалистов-революционеров решила «казнить», по тогдашнему выражению, губернатора Богдановича за его преступление. Во время прогулки в городском саду Богданович был буквально расстрелян боевой организацией.

Покушение было произведено необыкновенно ловко и молодцевато. Убийцы (их, кажется, было двое) подошли вплот-

ную к Богдановичу, выпустили в него один за другим ряд выстрелов и бесследно скрылись.

Для поддержания престижа власти Плеве на место Богдановича назначил губернатором некоего Соколовского, значительно более жестокого и глупого, чем был убитый. Министр хотел показать, что индивидуальным террором нельзя ничего достичь. Но, вместе с тем, он показал, что, пока массы не возьмут дело революции в свои руки, положение будет безнадежно.

С о к о л о в с к и й и п о д г о т о в к а и м п р о ц е с с а. Новый губернатор Соколовский, человек глупый, грубый и деспотический, ознаменовал приезд в «свою» губернию целым рядом политических репрессий. Он начал с «предупреждения и пресечения» событий, которые и не предполагались. Девятнадцать человек были высланы и арестованы. В нашу задачу, однако, не входит изложение всех репрессий, обрушившихся на интеллигенцию и рабочих города Уфы с приездом нового губернатора. В дальнейшем мы ограничимся только теми, которые были предприняты в связи с предстоящим процессом златоустовских рабочих.

Губернатор, жандармское управление, охранное отделение, низшая администрация, замешанная в бойне, — все это сильно нервничало перед процессом. В Петербург летели чрезвычайно интересные донесения, о которых я тогда ничего не знал и которые теперь прочитал с большим интересом в архиве революции:

«Горному начальнику и управляющему Златоустовского округа, — берет Соколовский сразу высокую ноту, — грозит участь губернатора Богдановича». И далее — неизбежный припев: «Предлагаю немедленно принять меры».

Плеве был не из тех людей, которых трудно было подвинуть на принятие мер против революционеров действительных или предполагаемых. Таковые были приняты. Это по отношению к революционерам. Но, очевидно, надо было обезопасить губернию и от златоустовских рабочих. В Петербург летит донос:

«Златоустовские рабочие в день, назначенный для слушания дела, предполагают в виде демонстрации не выйти на работу. Предлагаю невышедших на работы уволить».

Ну, чем не знаменитый щедринский помпадур, который на первом же приеме оглушил всех своим административным репертуаром, не очень обширным, зато энергичным:

— Не пппотерпплю!.. Ррраззоррю!..

К счастью для Соколовского, Щедрин уже лежал в могиле и не мог привлечь его за плагиат.

Но если тип помпадура со времени знаменитого русского сатирика нисколько не изменился, то усложнилась русская жизнь, и репертуар административного восторга уже не мог удовлетворить новым потребностям развивающейся жизни. А потому, ценя «без лести преданного» уфимского губернатора, Петербург был в то же время озабочен срочным исполнением заказов, и срытие до основания златоустовских заводов или, что то же самое, увольнение всех рабочих не входило в расчеты министерства.

Министерство внутренних дел ответило своему не по разуму усердствующему губернатору, что в «силу срочности военных заказов, представляется более целесообразным арестовать всех главарей». Еще бы, средство испытанное! Но — приходит час, когда и это испытанное средство перестает действовать.

Процесс. — Защита. — Аресты адвокатов. Приближался день суда . . . над убийцами, — подумает молодой читатель, еще не живший в царское время сознательной жизнью и потому не имеющий о нем вполне ясного представления. Нет, над теми . . . кого не успели убить! . .

Таков был обычный прием царского правосудия. Обычно после расстрела рабочих судили уцелевших за то, что . . . они остались в живых.

Одно из редких исключений составляет 9-е января, когда царь в порыве несказанного великодушия возвестил торжественно делегации от фабрик и всему миру, что он «прощает» рабочих.

Чтобы оправдать перед общественным мнением трусливую и неумелую администрацию, надо было обвинить рабочих во всех смертных грехах. И вот, несколько десятков рабочих, вся вина которых состояла в том, что шальные пули пролетели, не задев их, очутились на скамье подсудимых.

Правительство не посмело слушать процесс в Златоусте и перенесло его в Уфу. Дело назначено было на октябрь месяц 1903 года.

Администрация больше всего боялась, чтобы искусная защита не опрокинула сверху донизу фальшиво построенного обвинительного акта. Начинается правильный поход против защиты. Представляется даже странным, каким образом небольшая группа людей в штатских фраках, не имеющая иного оружия, кроме слова, лишенная какой бы то ни было власти, кроме власти мысли, сильная только сознанием правоты своего

дела, могла внушать такой страх администрации, вооруженной с ног до головы всеми атрибутами власти.

Но как ни странен этот страх людей силы перед людьми мысли и слова, найденная нами в делах Департамента полиции «записка по Уфимскому охранному отделению» не оставляет в нас ни малейшего сомнения на этот счет.

«8 октября, — так гласит „записка“, — должно слушаться дело о златоустовских рабочих. Стали распространяться слухи, что защищать подсудимых явятся много присяжных поверенных из столиц. Что же касается местных неблагонадежных адвокатов, то наиболее видную роль среди них играли присяжные поверенные Синицын и Плаксин. Они по ходатайству губернатора были арестованы и высланы из губернии. На следующий день после их ареста к господину губернатору явился присяжный поверенный Спасский и в очень определенном тоне заговорил с ним, заявляя, что в аресте присяжных поверенных Синицына и Плаксина он усматривает насилие над защитой и обвиняемыми по златоустовскому делу и что таким образом администрация лишает возможности честных людей помочь обвиняемым рабочим».

«На следующий же день, — прибавляет донос, — по городу Уфе была распространена прокламация с этими словами Спасского».

Мы, защитники, перестали бы сами себя уважать, если бы обошли на суде молчанием эти возмутительные меры администрации. Мы не могли пройти мимо ареста и высылки адвокатов за исполнение их профессионального долга. Едва было открыто судебное заседание, как защита заявила требование его отложения, мотивируя его тем, что высылка наших товарищей, во-первых, лишила нас необходимого спокойствия, а, во-вторых, оставила некоторых обвиняемых без защитников.

Одновременно с этим мы заявили ходатайство, чтобы губернатору Соколовскому палатой было воспрещено присутствие в зале заседания в виду того давления, которое он может оказывать на подчиненных и вполне от него зависящих свидетелей. Казанская судебная палата под председательством старшего председателя судебной палаты Рынкевича наше ходатайство об отложении дела удовлетворила.

Можно себе представить гнев и раздражение губернатора и его клевретов. Донос летит в столицу уже не на защитников, которых можно, в случае надобности, и арестовать и выслать, «куда Макар телят не гоняет», а на самого... старшего председателя судебной палаты!

Чтобы сделать понятным донос, следует сказать, что с нашим приездом совпало убийство председателя Уфимского окружного суда Песляка. Убийцей был помощник присяжного поверенного Покровский, сосланный в Уфу под гласный надзор полиции. Как всякий помощник присяжного поверенного, Покровский для занятия практикой должен был взять свидетельство на ведение гражданских дел. Председатель суда Песляк, в общем приличный судебный деятель, очевидно, боялся на свою ответственность принять выдачу свидетельства лицу, состоящему под гласным надзором полиции, в особенности под боком у такого губернатора, каким был Соколовский. Он под разными предлогами затягивал выдачу, а так как был человеком взбалмошным и резким, то обострил дело.

С своей стороны Покровский, семейный человек, лишенный заработка, дошел до крайнего расстройства нервной системы. Выведенный из себя проволочками Песляка, он решил покончить с собой, но предварительно убить и того, кого считал главным виновником своих несчастий. Придя в кабинет Песляка для решительного объяснения, он убил председателя суда и сам покончил самоубийством.

Совершенно очевидно, что это убийство не было политическим и ни к Казанской судебной палате, ни к ее председателю не имело никакого отношения. А между тем донос, отправленный жандармами, обвинял Рынкевича в том, что он после убийства Песляка струсил за свою жизнь, а потому и пошел навстречу защите. Далее донос сообщает, что под давлением защиты Рынкевич просил в резкой форме губернатора не появляться на процессе.

Процесс был отложен, и мы разъехались в разные стороны.

Вторично дело было назначено на 23 января 1904 года. Защищали Феодосьев и Барт из Петербурга, Иогансон из Смоленска, Карякин из Воронежа, а также местные адвокаты Спасский, Гутоп, Шенкман и Свинтицкий. Москва была представлена мною. Таким образом, опасения жандармов, которыми они делились с Департаментом полиции, оправдались. На защиту златоустовских рабочих съехались адвокаты со всех концов России.

Обвинял товарищ прокурора судебной палаты Покровский. Председательствовал, как мы уже говорили, старший председатель Казанской судебной палаты Рынкевич. Это был человек заносчивый и в достаточной степени реакционный. Но на Зла-

тоустовском процессе, надо отдать ему справедливость, он держал себя прилично и независимо. Соколовского он в конце-концов, вероятно по предложению из Петербурга, допустил в заседание и на наш протест ответил уклончиво, что в зале находятся только лица, им допущенные.

Судебное следствие. На судебном следствии свидетели из полиции и жандармов делали все, чтобы поддержать искусственное и явно лживое построение обвинения. Главные усилия администрации были сосредоточены на том, чтобы представить толпу настроенной революционно и угрожающей не только их жизни, но и жизни губернатора.

Вот на этот пункт и направила защита свою атаку. Допросом свидетелей нам удалось установить, что как исправник, так и жандармский ротмистр до самого приезда губернатора свободно приходили и уходили. Толпа их беспрепятственно пропускала и никаких насилий над ними не чинила. Так же спокойно вела себя толпа и по приезде губернатора.

Обвинение же, опираясь на полицию, доказывало, что, если в присутствии губернатора рабочие вели себя смирно, то только потому, что перед боем они хотели вывести из толпы женщин и детей.

При дружном смехе судей и товарищей я в своей речи изображал трогательную картину, как рабочие, в ожидании боя, три дня занимались тем, что выводили под ручку из толпы дам своего сердца. «И вообще, — сказал я, — вся картина толпы, которая в течение трех дней собирается напасть на должностных лиц и в то же время никого не трогает, напоминает мне карикатурную оперу Вампуку, где хор в течение целого действия все время поет:

Поскорей! Поскорей! Поспешим!
Поспешим! Поскорей! Поскорей!
Поспешим поскорей! Поскорей поспешим!

... а сам ни с места.

Провокация и давление. Были и комические эпизоды и в показаниях свидетелей. Так, один благонадежный свидетель, желая охарактеризовать революционный образ мыслей обвиняемого, рассказал свой с ним разговор. Речь шла о порядках, царивших на заводе. Перед собеседниками на столе лежал календарь с портретом Николая посередине, министра финансов Вышнеградского и министра земледелия Ермолова по сторонам. По словам свидетеля, обвиняемый, указывая на портреты, сказал: «Вот по бокам два жулика!» — и затем,

стукнув по портрету государя, добавил: — «А в середине дурак, который не видит, что у него под носом делается».

Но были моменты и прямо трагические.

Так, один из обвиняемых рассказал, что его вызвал жандармский ротмистр Будаловский и предложил разбрасывать прокламации по поручению жандармского управления. А когда обвиняемый отвергнул лестное предложение, ротмистр, в присутствии жандармского унтер-офицера, грозил впутать его в златоустовский процесс.

Допрошенный нами унтер-офицер не подтвердил во всем объеме сделанной на него ссылки, но и не отрицал ее, при чем дал настолько уклончивые показания, что никто не усомнился в правдивости объяснений подсудимого.

Еще более сильное впечатление произвел допрос доктора Кунакова, вызванного в качестве эксперта для установления причин поранений исправника и ротмистра.

Эксперт-врач самым категорическим образом удостоверил, что ранения, ничтожные по своему значению, легко могли произойти от простого ушиба о какое-либо постороннее тело. Если же на предварительном следствии он показал, что раны эти могли произойти от выстрелов, то только под крайним давлением судебного следователя.

Скандал получался грандиозный. К провокации жандарма присоединялись подлоги следователя.

П р е н и я   с т о р о н   и   п р и г о в о р. Наступил час прений сторон. Прокурор начал свою речь с благодарности по адресу бывшего губернатора Богдановича. Своими твердыми мерами, т.-е. расстрелом мирных, ни в чем не повинных рабочих, губернатор поддержал на всю округу престиж власти!

Защита в резкой и совершенно откровенной форме критиковала все здание, сооруженное на песке обвинительной властью. Мы доказывали, что рабочие вели себя вполне лойяльно и только добивались освобождения товарищей, арестованных в качестве делегатов. Следовательно, расстрел рабочих не был вызван поведением толпы и являлся простым убийством мирных рабочих.

Палата совещалась довольно долго и вынесла по существу оправдательный приговор. А именно: максимум наказания получил рабочий Платонов, приговоренный к трем месяцам тюрьмы. Трое обвиняемых были приговорены к двум месяцам и одна женщина — к месяцу ареста. Остальные подсудимые в количестве нескольких десятков были оправданы, как говорилось, «вчистую».

Лишнее упоминать, что такой приговор был пощечиной для губернатора и администрации. Убить и изувечить 128 человек по делу, по которому вина «вожака» толпы квалифицировалась компетентным судом чуть ли не как простое нарушение тишины и спокойствия и повлекла за собой в качестве наказания три месяца заключения!

Оправдав рабочих, палата тем самым обвинила губернатора, исправника, прокурора, жандармов, — словом, всех, кто «к сему делу руку приложил».

По вынесении приговора ко мне подошел председатель Рынкевич и очень благодарил меня за речь. Тогда я не понял значения и причин этой демонстрации. Теперь же, знакомясь по делу Департамента полиции со всеми кулисами процесса, я понял, почему моя резкая критика действий администрации не могла не доставить Рынкевичу известного морального удовлетворения. Объясняется это теми доносами, которые летели на него в Петербург по поводу процесса. Местные власти, очевидно, подобными доносами хотели страховаться от последствий возможного неблагоприятного для себя приговора палаты. Доносили на всякий случай.

Конечно, доносы сыпались не на одного председателя, но и в особенности на нас, защитников.

«Особой рьяностью, — читаем мы, например, в доносе, посланном на другой день после процесса жандармами, — как во время судебного следствия, так и в своих защитительных речах, выделялись: Мандельштам, Феодосьев, Карякин и Барт». Донос, между прочим, ставит нам в вину, что «защитники Барт, Феодосьев, Карякин и Мандельштам несколько раз поднимали вопрос о неправильных арестах рабочих».

Но как в доброе театральное старое время, столь мною любимое, ни одна драма не ставилась без водевиля для утешения публики, так и охранное отделение не могло не закончить своих доносов сообщением совершенно анекдотического характера:

«Во время перерыва присяжный поверенный Феодосьев, подойдя к окну и глядя на разыгрывающийся буран, сказал: «Смотрите, сама природа возмущается применением к этому делу 269 статьи!»

Вот уж где вспомнишь стих Некрасова:

Какое ж адское коварство
Замыслил ты осуществить?
Разрушить думал государство
Или инспектора побить?

Но этим не закончились деяния присяжного поверенного

Феодосьева, направленные к ниспровержению государственного строя России. Жандармское сообщение продолжает:

«В перерыве заседания присяжный поверенный Феодосьев уехал завтракать вместе с предводителем дворянства».

Ну, как при таких условиях мог устоять монархический строй? Вот если бы предводитель дворянства завтракал с жандармским ротмистром или, в крайнем случае, с товарищем прокурора, тогда никакая революция не была бы страшна.

З а к л ю ч е н и е. — У с п е х и р е в о л ю ц и о н н о й п р о п а г а н д ы. Златоустовский, ленский и петербургские расстрелы не должны никогда изгладиться из памяти рабочих. Это триединое явление представляет собой троицу рабочего движения. Оно знаменует собой целый этап в развитии русского рабочего движения, а следовательно и русской революции вообще.

Мы видели, что товарищ прокурора Покровский выразил моральное удовлетворение и благодарность памяти губернатора Богдановича за пролитие той крови рабочих, которой была обильно орошена земля вокруг его временной резиденции в Златоусте.

И кровь эта дала обильные всходы. Мне пришлось потом читать в заграничной печати, кажется, в «Искре», что пропаганда социалистических идей на Урале получила широкий доступ в рабочие массы именно после того, как Богдановичу удалось с таким блеском отстоять престиж и авторитет власти. Отдельные выступления рабочих, которые до тех пор носили изолированный и частичный характер, теперь стали под знамя социал-демократической партии. Партия построила боевой фронт, дала ему лозунги и объединяющие начала.

На примере расстрелов мы можем убедиться во всей глубине диалектики Маркса. Если развитие техники и экономики требует развития новых хозяйственных и политических форм общественной жизни, правительство путем насилия не в состоянии ничего достигнуть. В лучшем случае оно до первого удобного случая может загнать болезнь внутрь государственного организма, чтобы произвести нужные реформы. Но горе тому правительству, которое примет это временное наружное спокойствие за признак слабости революции. Оно будет сметено новым девятым валом. Время и конкретные условия вздымания этого девятого вала предсказать невозможно. Но зато с непреодолимостью восхода солнца можно быть уверенным: наступит некогда день и его час пробьет.

«Подчиниться или уйти» — таков единственный выбор, пре-

доставляемый историей. Третьего выхода нет и быть не может. Русская монархия не хотела, не могла, не умела подчиниться: она должна была уйти.

Итак, уральские рабочие до златоустовской бойни, по моим наблюдениям, представляли собою хороший боевой материал для революции. Они в массе обладали значительной долей чувства товарищеской солидарности, были людьми мужественного характера, закаленной воли и правильного классового инстинкта. Но им недоставало объединяющей идеи, организационного опыта, классовой теории и общего руководства.

За все время беспорядков, возникших по частичному поводу, не было выдвинуто общего политического лозунга или экономического требования. Не было и речи ни о восьмичасовом рабочем дне, ни о политической свободе, ни о каком-либо другом принципе рабочего движения того времени. Говорили об освобождении арестованных депутатов, но ни один голос не раздался за неприкосновенность личности или свободу профессионального движения вообще.

Но в то же время можно с уверенностью утверждать, что масса златоустовских рабочих была уже подготовлена к восприятию классового самосознания и революционных идей. И из своего столкновения с местной властью, с губернатором, из своей борьбы за товарищей, из безнаказанности массовых убийств, произведенных во имя капиталистического государства, — рабочие уже вынесли обобщающие начала. Судебный процесс дал вынесенным принципам обработку и шлифовку.

Можно безошибочно утверждать, что рабочие Златоустовского горного округа вошли в златоустовское дело и вышли из него совершенно разными людьми. Бойня и процесс их перевоспитали. Чего не могли сделать революционные партии, то легко сделали пули губернатора Богдановича. А чего не успел сделать Богданович, то на распаханной им почве доделала пропаганда социал-демократов.

Во время революции 1905 года большинство златоустовских рабочих, как и вообще большинство рабочих Урала, примкнули к большевикам.

Революционный подъем 1905 года, этот буревестник девятого вала русской революции, дал уральским рабочим, как и рабочим юга, как и рабочим центрального промышленного района, боевой закал и идейную организацию.

По обыкновению, ведя рабочий процесс, я не ограничивался ролью профессионального защитника. Я вошел в тесное общение с рабочими и по возможности за тот краткий срок, который

был в нашем распоряжении, старался с ними сблизиться и расширить их миросозерцание.

Некоторое время после процесса мы переписывались. И вот, однажды, по прошествии чуть ли не полугода, я получаю посылку. Развертываю: оказывается — посылка от златоустовских рабочих. В память о них и о процессе рабочие прислали мне полный набор столового сервиза собственного изготовления из местного камня. Тут были ножи и вилки и прочее, и все с соответствующими надписями и датами процесса.

Это внимание простых, мужественных людей меня очень тронуло, и до революции я хранил, как зеницу ока, дорогую для меня память.

К моему большому огорчению, сервиз пропал у меня во время гражданской войны.

ГЛАВА VII

КИШИНЕВСКИЙ ПОГРОМ

Причины кишиневского погрома. — Плеве путем погромов рассчитывал запугать еврейство и демагогически завербовать массы. — Плеве ошибся. — Общественное негодование. — Потрясение основ правопорядка. — Озлобление еврейства. — Коронованный погромщик Николай II и его отношение к погромам. — Рассказ бывшего товарища министра Урусова. — Предварительное следствие, официальное и неофициальное. — Наши разногласия по поводу выступления в качестве защитников погромщиков.

Причины кишиневского погрома. Я уже говорил, что, вернувшись с процесса о саратовской манифестации, я решил переехать в Москву, которая тогда была центром органического общественного движения, где «гремели витии», в то время как в Казани царила «вековая тишина», еще почти не нарушаемая. Заехал в Москву, снял квартиру и отправился на лето за границу.

Во время моего пребывания за границей в Кишиневе слушалось громкое дело о еврейском погроме. Я не принимал в нем участия в качестве стороны, но мне пришлось принимать живейшее участие в том общественном движении, которое возгорелось вокруг процесса, и я считаю тем более необходимым поделиться своими воспоминаниями, что кишиневский погром имел решающее значение для формирования как правительственных, так и революционных сил. Кишиневский погром был той первой ласточкой, которая, вопреки известной поговорке, сделала весну.

Ко времени кишиневского погрома «смута», если еще не превратилась в могучее революционное движение, то во всяком случае становилась той «неслыханной смутой», на которую меланхолически в своем манифесте жаловался царь, обещая дать реформы, когда наступит успокоение. Министр внутренних дел Плеве, этот идеальный полицейский, который даже

господа-бога представлял себе не иначе, как в форме шефа всемирного корпуса жандармов в синем мундире со шпорами, тем не менее решил, что на этот раз одними полицейскими мерами ограничиться нельзя.

По его мнению, надо было привлечь общественность к делу подавления революции, а с полицейской точки зрения единение общества и правительства легче всего добиться на почве погромов.

Мы уже имели случай наблюдать попытку во время саратовской манифестации разделаться с революционно-настроенной толпой при помощи толпы погромной. Попытка не удалась. (Ростовская-на-Дону манифестация приняла такие размеры, что нечего было и думать о противопоставлении ей полицейской общественности). Но «возмущенный в своих патриотических чувствах народ» на улицах города Саратова был только пробой пера. Самое действие, и притом в таком масштабе, что потрясло не только все русское общественное мнение, но и общественное мнение Европы и Америки, разыгралось в Кишиневе.

Можно только догадываться, почему именно Кишинев был выбран министром-погромщиком для инсценировки общественного негодования.

Во-первых, потому, что кишиневская администрация, как окраинная, была заполнена «господами ташкентцами», а во-вторых, молдавское крестьянство, темное и забитое еще в эпоху румынского владычества, лучше всего было пригодно для роли мстителя за исконные начала истинно-русского самодержавия.

Первыми, но далеко не единственными, жертвами погромов явились евреи. Как нация наиболее гонимая и как нация по преимуществу городская, евреи имели право проживать вне городов только в совершенно исключительных случаях. Они давали и сравнительно более значительный процент революционеров. Но все-таки к официальным цифрам требуется некоторая поправка. Аресты зависели от правительства, а последнее с большей легкостью шло на арест евреев. Таким образом, творилась статистика.

Впрочем, при проверке легенды о том, что русская революция — дело рук евреев, следует иметь в виду, что гонимые нации всегда были козлищами отпущения за все ошибки правительства и все бедствия государства. Негры в Америке, евреи в России, христиане в Риме — познали, к сожалению, слишком хорошо эту истину.

Плеве пошел по линии наименьшего сопротивления. Он хотел не только запугать и наказать еврейство, но и выбросить

кость недовольству черни. Это был ответ правительства на демонстрации и террор.

От кишиневского погрома правительство потеряло, а революция выиграла. Общая схема организации погромов, примененная в Кишиневе, впоследствии превратилась в штамп. Мы подробно изложим ее при описании гомелевского процесса, в котором я принимал деятельное участие в качестве стороны. Здесь же лишь дадим общую схему методов погромной организации.

Правительство доставляло своим подручным погромные прокламации, организовывало кадры погромщиков и выпускало их на безоружных людей. А чтобы облегчить погромщикам их гнусную работу, оно якобы для охраны евреев вызывало войска, которые по приказу свыше спокойно взирали на убийства и грабежи, если жертвами являлись евреи, и в то же время самым решительным образом подавляли всякие попытки к самообороне со стороны последних.

Так, бездарное русское правительство не нашло ничего лучше, как противопоставить революционному движению, мощно вырывающемуся из самой глубины народной жизни и социальных противоречий, банды наемных грабителей. Но революция еще и еще раз превратила орудие, против нее направленное, в могучее средство собственного развития.

Стон негодования прокатился не только по России, но и по Европе и по Америке. Общественное мнение всего мира было возмущено. Убийства, грабежи, изнасилования женщин и детей, — все это не могло не потрясти общественной совести до самых ее глубин.

В России негодовали не только революционеры или либералы, негодовали все порядочные люди, независимо от своих политических убеждений. Правительство добилось результатов, прямо обратных тем, на которые оно рассчитывало.

Плеве также ошибся и в другом отношении. Он не рассчитывал, что всякое, а тем более открытое и безнаказанное нарушение основ правопорядка прежде всего расшатывает гипноз власти и дисциплину масс. Чернь, громящая сегодня с благословения власти, завтра попробует сделать это, не заботясь о благословении. Крестьянин, участвовавший сегодня в еврейском погроме, завтра с той же дубиной в руках пойдет громить помещичью усадьбу, от которой он действительно всю свою жизнь страдал.

Наконец, в третьих, погромной политикой правительство повергло в отчаяние и бросило в революцию нацию способную,

энергичную и подвижную, наглядно показав ей, что при самодержавии она не обеспечена в своих самых элементарных правах: праве на жизнь, на неприкосновенность своих жилищ и на целомудрие своих жен и дочерей.

Все, что было в России порядочного, в ужасе отшатнулось от правительства. С ним остался только «союз истинно-русских людей», т.-е. банда наемных убийц и шайка грабителей и субсидиеполучателей.

Погромы в руках правительства сыграли такую же роль, как позднее французские танки в руках белых армий: революция взяла их от одних и передала другим.

Отношение царя к погромам. Все описанное проделывало правительство, возглавленное Плеве. А сам царь? Как он сам относится к изуверной политике своих ставленников? В печати еще недостаточно разоблачена роль Николая II в организации убийств, изнасилований и грабежей, совершаемых под покровом его портретов и осеняемых его мантией, скипетром и короною. Недостаточно еще выяснено, что Николай II был коронованным погромщиком, и, применяя крылатую характеристику Трепова, данную князем Урусовым с трибуны Государственной думы, был «вахмистром по образованию и погромщиком по убеждениям».

А потому я считаю не бесполезным передать рассказ, слышанный мною лично от того же Урусова.

Однажды, во время пребывания Урусова на посту товарища министра внутренних дел в кабинете Витте, к нему явился губернатор не помню какой именно губернии, где незадолго перед тем был устроен очередной погром. В вознаграждение за то, что власти, как гражданские, так и военные, «оказались бессильны» бороться со «стихийно вспыхнувшим чувством патриотического негодования» и не были в состоянии своевременно прекратить погром, губернатор был удостоен высочайшей аудиенции.

Урусов просил его после приема у государя зайти опять и рассказать об их беседе.

Оказалось, что после доклада о погроме Николай спросил губернатора, сколько было убито евреев, и когда губернатор назвал довольно значительную цифру, царь с изумлением воскликнул:

— Только! А я думал гораздо больше!

Урусов отпустил губернатора, а сам отправился к Витте. Он боялся, как бы губернатор, ободренный высочайшим восклицанием, не пожелал исправить ошибки, и при следующей вспышке

«народного негодования» не оказались бы уже не десятки, а сотни человеческих жертв.

Витте его внимательно и с полным сочувствием выслушал, но сам был бессилен что-либо сделать для предотвращения вторичного погрома. Хотя он номинально и был главой правительства, но всем было известно нерасположение царя к своему первому министру, и губернатор не обратил бы никакого внимания на распоряжение, исходящее от Витте.

По совету премьера Урусов отправился к своему непосредственному начальнику, министру внутренних дел Дурново. Последний, не желая восстанавливать против себя Урусова, единственного общественного деятеля, согласившегося с ним сотрудничать, немедленно подписал телеграмму, составленную Урусовым:

«Прошу высочайшие вопросы во время вашей аудиенции не принимать за высочайшие указания».

После столь компетентного истолкования слов царя вторичной вспышки погрома уже не последовало, а «народной стихии» пришлось временно довольствоваться мелкими кражами, в ожидании того момента, когда она будет вновь призвана для защиты исконных начал русской истории.

Нам не хотелось, чтобы этот крайне характерный для Николая II эпизод затерялся, и потому мы занесли его на страницы нашей книги, тем более, что, насколько известно, он еще не появлялся в печати. Царь определенно требовал от своих министров погромной политики. Еще раз вспоминаешь «вахмистр по образованию и погромщик по убеждениям»!

Таким образом, начиная от самого царя и кончая охранником и провокатором Комиссаровым, весь официальный аппарат власти, действительно имевший влияние и силу, стоял за погромы, как за средство борьбы с революцией. Были среди правительства, несомненно, и люди, глубоко возмущавшиеся тем, что происходит, но они сами были взяты под подозрение и не имели никакого влияния на ход событий.

Их держали или для общественного мнения, или для исполнения чисто технических функций. Можно было только удивляться, как могли не совсем развращенные тогдашним режимом люди оставаться в таком унизительном положении.

Официальное и неофициальное предварительное следствие. Легко себе представить при таких условиях, под каким невероятным давлением производилось следствие по кишиневскому делу и как мало оно могло содействовать действительному раскрытию истины. Политическим

защитникам на этот раз пришлось не только выступать на суде, но и производить самостоятельное предварительное следствие, параллельное с официальным. За это ответственное и опасное дело с обычной самоотверженностью взялся присяжный поверенный Н. Д. Соколов.

Задолго до слушания дела Соколов поехал в Кишинев и буквально произвел новое следствие по делу о погроме; он собирал документы, допрашивал свидетелей и в результате получил весьма ценный материал, вполне изобличающий как Плеве, так и Департамент полиции в руководстве всем делом по организации погрома.

Плеве рассвирепел. Н. Д. Соколов был арестован по обвинению в... клевете на русское правительство! Две угнетенные невинности — Плеве и Комиссаров — две жемчужины русской короны были оклеветаны! «Есть, от чего в отчаянье притти»! Официальное следствие блестяще доказало, что правительство сделало все, от него зависящее, сначала, чтобы предупредить погром, а потом, когда это сделалось невозможным, чтобы помешать его распространению и, наконец, прекратить.

Кишиневский погром застал еврейское население города врасплох, а потому оно не оказало и не могло оказать никакого сопротивления громилам. Погром показал евреям, что на государство они рассчитывать не могут и не должны, что они находятся вне государства и вне закона. Они должны независимо от государства образовать собственную оборону.

Революционная часть еврейства учла преподанный евреям урок государственного права, и в следующем, по очереди гомельском, погроме мы уже встречаемся с правильно организованной еврейской самообороной.

В о п р о с о б у ч а с т и и з а щ и т ы п о п о г р о м н ы м д е л а м. Кишиневский погром поставил перед политической адвокатурой впервые чрезвычайно интересный вопрос, вызвавший между нами оживленные и даже ожесточенные споры: могут ли и должны ли политические защитники принимать на себя защиту громил?

Одни доказывали, что громилы являются темной, бессознательной массой и что защита их представляется прекрасной позицией для обстрела правительства и установления истинных виновников погрома, его вдохновителей, подстрекателей и руководителей. Другие, напротив, находили несовместимым с достоинством и положением политических адвокатов ставить свое имя рядом с именами громил. Это должно было, по их убеждению, внести смуту в общественное мнение, тем более, что про-

цесс слушался при закрытых дверях. Система защиты, ее задачи будут известны тысячам, а голый факт, что на защиту громил выступили незапятнанные общественные деятели с чистыми именами политических защитников, сделается достоянием широких масс публики!

Лично я примыкал к второму взгляду, и так как во время обсуждения вопроса находился за границей, то поместил по этому поводу статью в выходившем тогда «Освобождении». В ней, кроме только-что изложенных доводов, я доказывал, что разоблачать полицию, войска, жандармов, губернатора и министра, устанавливая их инициативу в погромах, мы можем столь же удобно, выступая в процессе в качестве гражданских истцов. Зная закулисную сторону погромов, мы могли не обвинять физических виновников погрома, но в своем огромном большинстве они не могли внушать нам чувства симпатии и претендовать на нашу идейную защиту.

Такова была точка зрения моя и моих друзей. Но она не получила общего признания, и в кишиневском процессе на скамьях защиты мы встречаем авторитетные имена московского кружка с В. А. Маклаковым во главе. На скамьях гражданских истцов разместились Н. П. Карабчевский, С. А. Кальманович, О. О. Грузенберг, Н. Д. Соколов и др. В следующем процессе, гомельском, мы уже не встретимся с нашим московским кружком в качестве защитников.

Мы не излагаем подробно кишиневского процесса, так как, с одной стороны, я не принимал в нем непосредственного участия, а с другой — последовавший за ним процесс гомельский в этом отношении является более ярким, полным и всесторонне освещающим погромную организацию правительства. Чтобы не повторяться, я рассказал о кишиневском процессе только то, чему непосредственным очевидцем сам был или что лично узнал от непосредственных участников процесса.

Остановиться же, хотя и бегло, на кишиневском погроме мы были должны, так как именно им открывалась «общественная кампания» правительства против революции. Мы увидим, что с течением времени, с ростом и развитием революции, погромная политика правительства получит систематически законченный характер, чтобы в 1905 году превратиться в открыто легальное средство. С евреев погромы перебросятся на интеллигенцию, третий элемент, — словом, на всех, кого можно было заподозрить в симпатиях к революции.

В высочайших же помилованиях громил они получат свою верховную санкцию.

ГЛАВА VIII

ГОМЕЛЬСКИЙ ПОГРОМ

Правительственное сообщение о погроме. — Неизбежная драка на базаре. — Версия «Восхода». — Самооборона разгоняет погромщиков. — Анекдотическая речь губернатора Клинкенберга. — Погром произведен народом, возмутившимся революционными выступлениями евреев. — Гимназист и губернатор. — Гимназистка и губернаторша. — Бесправие евреев как причина взводимых на них обвинений в наглости. — Интеллигенция и еврейство. — Судебное заседание. — Состав сторон. — Изменение в настроении рабочих. — Митинг в Новозыбкове. — События по обвинительному акту. — Христианский погром. — Еврейский погром. — Сказание о мести рабочих за ранение пристава. — Лойяльность русской толпы и революционность еврейской. — Судебное следствие. — Разоблачения полицеймейстера Раевского. — Русского погрома не было. — Жандармы уверяли рабочих, что евреи режут их семьи. — Полицеймейстер без полиции. — Распоряжается неофициальное правительство. — Двойное правительство. — Агенты подпольного правительства в момент погрома. — Общие результаты судебного следствия. — Погром происходил под защитой войск и полиции. — Евреев войска не пропускали защищать их семьи. — Погром происходил на глазах воинских начальников. — Общие результаты следствия. — Стандартность погрома. — Поведение палаты и председателя. — Арифметическая справедливость. — Процесс о погроме и процессуальный погром. — Показание военных. — Удаление защитника Н. Д. Соколова. — Уход защитников. — Причины ухода. — Обращение защитников к обществу. — Демонстрация защиты. — Общественное сочувствие адвокатам евреев. — Телеграммы с его выражением. — Заключение. — Рабочие, крестьяне, интеллигенция в их отношении к погромам.

Правительственное сообщение о Гомельском погроме. Немного времени отделяет слушание кишиневского процесса от гомельского, а между тем слушались они при совершенно различной общественно-политической ситуации. Кишиневский процесс рассматривался при владычестве его автора, Плеве. Ко дню разбора Гомельского погрома Плеве уже покоился в могиле, сраженный бомбой Сазонова. А потому, в противоположность кишиневскому процессу, гомельский слушался при открытых дверях. Военные неудачи, брожение внутри страны и прочее, — все это заста-

вляло правительство идти на уступки. В воздухе пахло «весной», которая не могла не отразиться на атмосфере, окружающей слушание дела.

Еще до заседаний «Правительственный Вестник» в следующих словах оповестил общественное мнение о произведенном его принципалами погроме:

«Вечером 29 августа 1903 года между торговкой-еврейкой и одним из крестьян произошла ссора, перешедшая в драку. 1 сентября беспорядки возобновились. Русские рабочие, мстя за нанесенные 29 августа обиды, произвели буйство и стали разбивать еврейские квартиры и лавки. Прибывшие войска евреи встретили выстрелами, что и вынудило прибегнуть к огнестрельному оружию».

До сих пор все идет, как по нотам. Классическая базарная торговка, евреи, стреляющие по войскам, их защищавшим, — все вместе составляет трафарет на будущее время. Своеобразный Бедекер для ориентировки общественного мнения в погромных делах.

В дальнейшем «Правительственный Вестник» прибавляет, что «только благодаря полицеймейстеру погром был локализирован и не распространился на весь город».

Как это ни покажется странным, но на этот раз правительственное сообщение говорит правду, хотя и не всю правду. А именно, оно забыло прибавить, что для прекращения погрома полицеймейстеру Раевскому пришлось вступить в борьбу с... остальными властями и войсками! Забыло также упомянуть, что, в вознаграждение за локализацию и прекращение погрома, Раевский был уволен.

Версия «Восхода». С своей стороны, еврейский орган «Восход» излагает ход события, по частным сведениям, газетой полученным, в таком виде:

Погром начали вышедшие из железнодорожных мастерских рабочие, которых, конечно, очень легко было рассеять. Весть о погроме мигом разнеслась по городу, и на место действия прибежала еврейская самооборона. Ее выстрелами толпа погромщиков была рассеяна.

Из этой корреспонденции мы можем сделать два заключения: во-первых, что до вмешательства в дело войск самообороне удалось прекратить погром собственными силами и, во-вторых, что в погроме приняли участие рабочие.

Это очень печальный факт, но мы его должны констатировать с беспристрастием историка, однако, не преувеличивая его значения и не делая обобщений. Нам уже приходилось

говорить, что рабочий класс вошел в революцию далеко не однородной, организованной силой. А при таких условиях правительству ничего не стоило из огромных железнодорожных мастерских города Гомеля вырвать 40—50 бессознательных рабочих и бросить их на дело, противоречащее их собственным классовым интересам. Не первый и, увы, не последний случай в истории!

Все это, продолжает газета свой рассказ, произошло в пятницу. Суббота и воскресенье по внешности прошли спокойно. Но только — по внешности. Эти два дня охранное отделение употребило на то, чтобы при посредстве «благонамеренной части населения» вести агитацию за погром реванша.

Евреи, знавшие, конечно, о готовящихся событиях, провели тревожные дни. Наконец, в воскресенье вечером вошли в город войска. Мне лично передавали гомельские евреи, что с приходом войск вздох облегчения пронесся по городу.

«Вот пришли наши защитники!», — говорили во многих еврейских домах, по крайней мере в домах еврейской буржуазии. Погромщики, как мы увидим, смотрели иначе.

Речь губернатора Клинкенберга. Когда город успокоился и жизнь вошла в берега, приехало высшее в губернии начальство. Из Могилева приехал «сам» губернатор Клинкенберг. Его речь к еврейскому населению настолько характерна, она так хорошо отражает общее настроение правительства и его генеральную линию, что мы должны привести историческую речь губернатора здесь почти целиком и сохранить ее для потомства.

«Откуда могло произойти озлобление одной части населения против другой?» — риторически спрашивает сам себя просвещенный администратор и тут же отвечает на свой вопрос:

«В России веротерпимость полная. Причины надо искать глубже. Я знаю Могилевскую губернию 25 лет. Тогда евреи были благонадежные, не участвовали ни в каких революционных выступлениях, и тогда не было помина о погромах».

Вот! Нужное слово произнесено цинично и откровенно. Погром был произведен за революционные выступления. Торговка-еврейка и крестьянин-покупатель были только декорациями, которые теперь за ненадобностью убраны. Но кто же устроил погром за революционные выступления еврейства? Народ ли, который к тому времени уже сам принимал живейшее участие в революции, а через год-два выступит всей своей массой против правительства, приведет его в серьезное замешательство и вырвет у трусливого царя уступки; или же этот

самый царь и его правительство, во имя продления своей бесконтрольной и позорной власти?

События скоро дадут ответ на поставленный нами вопрос и притом дадут его исчерпывающим образом. Но продолжим речь нашего откровенного администратора.

Он вспоминает, что и раньше бывали погромы, но находит, что прежние погромы не похожи на настоящий. Прежние «являлись результатом еврейского гнета, но теперь совсем другое дело. Теперь евреи стали зачинщиками во всех антиправительственных выступлениях. Весь этот «бунд» и социал-демократы — все евреи».

Наш помпадур искренне негодует, что в еврейской организации «бунд» нет ни христиан, ни мусульман. Одни евреи! Как же не возмутиться и не устроить по этому поводу погрома! В оправдание Клинкенберга надо, однако, сказать, что он привык в «союзе русского народа» видеть немцев в качестве «истинно-русских людей».

Что же касается до партии социал-демократов, то даже Клинкенберг не берется утверждать, что она состоит из одних евреев. Там есть и христиане, «но они являются в качестве подстрекаемых, подстрекатели же — все евреи. В гимназии евреи развращают молодежь, в университете сходки — евреи. Вообще, евреи теперь нахальны, непокорны, потеряли всякое уважение к власти».

«Всегда и всюду евреи выражают неуважение к христианам. Да вот вам: на-днях на улице на мою жену наскочил велосипедист. Кто такой? Еврей. Гимназист идет на улице и мне не кланяется. Кто такой? Опять еврей».

Все это как-будто из Щедрина, но вот уже из «Крокодила»:

«Гимназистка в театре задела мою жену рукавом и на вопрос, почему не извиняется, ответила: я не заметила. Опять-таки кто? Еврейка».

И губернатор убеждает евреев доносить жандармам на собственных детей.

«Вы сами виноваты, — говорит он, — во всем случившемся. Правительство беспристрастно и я беспристрастен. И, оставаясь беспристрастным, я вам должен сказать: вы сами виноваты. Вы не можете влиять на ваших детей, но вы можете указывать правительству на них. Вы этого не делаете. Вы пропагандируете среди нецивилизованного населения борьбу с правительством. Но массы этого не хотят. Они обращаются против вас самих».

Совершенно несомненно, что речь эта отражает взгляды

верхов. Глубина мысли — царя и Плеве, блеск формы — губернатора.

Понимая, что следствие судебной власти превратится в живую иллюстрацию речи губернатора, мы решили произвести собственное следствие, которое поручили А. С. Зарудному и М. И. Ганфману. Потом приехал в качестве публициста старый революционер, человек большого таланта, Тан-Богораз. Они единогласно пришли к заключению, что погром был организован правительством.

Бесправие евреев — причина возводимых на них обвинений. Свидетели обвинения в полный унисон с речью губернатора выдвигают, как причину погрома, то, что евреи «толкаются на тротуарах». Конечно, громилы при своем деликатном воспитании не могли снести этого.

Любопытно отметить, что такое же обвинение было выставляемо и против христиан в эпоху римского владычества. Оно вытекает из глубоко укоренившегося сознания правившими своего привилегированного классового и национального положения и непоколебимого убеждения в его законности и естественности.

Идет по тротуару офицер. Ему и в голову не может притти, что он должен хотя немного посторониться пред встретившимся «презренным жидом». Он шествует, выпятив гордо грудь, прямо, точно перед ним был не человек, а пустое пространство. Еврей же, рассчитывая, что идущий навстречу хотя немного посторонится, уступает ровно столько, сколько он должен уступить при нормальных условиях. В результате он натыкается на нежелавшего ни на полшага посторониться офицера, который искренне убежден, что еврей его толкнул.

Одним словом, здесь, как и везде, подтверждается основное положение Маркса: бытие родит сознание.

Интеллигенция и еврейство. Требование со стороны еврея уважения его человеческого достоинства или хотя бы элементарных правил вежливости кажется для губернатора, офицерства и всего иконостаса царского времени невероятной «еврейской наглостью».

Во многих отношениях русская дипломированная интеллигенция не выдержала экзамена перед лицом подлинной народной революции. Не выдержала она его и в отношении еврейского вопроса. Легко было быть народником, когда крестьянин покорно сидел на кухне, ожидая, когда народолюбивый барин соблаговолит к нему выйти; но когда этот же крестьянин стал претендовать не только на правовое, но и на действительное

равноправие, тогда мигом из «мужичка» он превратился в «хама».

Так же легко было быть юдофилом и протестовать против ограничительных мер по отношению к евреям, когда правительство на все сто процентов устраняло их конкуренцию; но лишь только евреи стали фактически равноправными и заняли в администрации и на службе положение, соответствующее их способностям и знанию, как антисемитизм стал проникать в ряды интеллигенции, ранее чуждой этой болотной болезни.

Все это в порядке вещей, и только когда взрастет новое поколение, заставшее евреев уже в качестве равноправной, уважаемой и независимой нации, антисемитизм в его современном виде отойдет в историю.

Судебное заседание. — Состав сторон. 11 октября 1904 года началось слушание дела о Гомельском погроме. В то время жизнь на всех парах мчалась к революции, и в настроении гомельской рабочей массы к моменту открытия заседания произошел огромный сдвиг. Мне говорили рабочие мастерских, что теперь, они уверены, никто из их товарищей не принял бы на себя позорной роли застрельщиков погрома.

В сочувствии рабочих защите евреев я имел случай лично убедиться. Гомельский процесс слушался долго, месяца два. Печать ежедневно разносила все перипетии нашей борьбы с судом. Естественно, что мы приобрели некоторую популярность, в особенности в самом Гомеле и в городах, близко с ним связанных. Однажды мы получили приглашение приехать на «банкет» в Новозыбков, находящийся часах в двух езды от Гомеля, и произнести там речи. Мы приняли приглашение с большой готовностью.

Приехав в Новозыбков и придя на банкет, мы увидели, что в сущности под видом банкета был организован настоящий митинг. На нем присутствовали и евреи и христиане; было много рабочих. Нас просили произнести речи по поводу процесса и вообще о современном политическом моменте.

Из говоривших я помню очень содержательную, как всегда, и спокойную речь С. А. Кальмановича; помню бурнопламенную речь Тана. Потом настала моя очередь говорить. Я говорил о погроме в связи с общей политикой правительства и кончил обращением к рабочим, выражая твердую уверенность, что русский пролетариат никогда не будет оплотом реакции и антисемитизма. Рабочая часть аудитории устроила мне в ответ

настоящую овацию, бросилась меня качать и вообще бурно выражала солидарность с заключительной частью моей речи.

Все это я говорю, конечно, не для того, чтобы рассказать о своем успехе, а для того, чтобы показать, что, если часть рабочего класса входила в первую русскую революцию аморфной и несознательной массой, то другая и большая часть его прекрасно понимала политическую обстановку.

Во всяком случае, нас не должно смущать выступление некоторых рабочих вместе с погромщиками. Мы хорошо помним, как уже не в 1903, а в 1905 году явился на митинг в Москве в Эрмитаже социал-демократ и сообщил, что получено очень тяжелое известие: рабочие одной из фабрик, настроенные контрреволюционно, бросили посланного к ним агитатора в котел.

Эти факты лишний раз доказывают, что рабочий класс вступил в революцию 1905 года далеко не однородным по своему развитию и политическому настроению. Именно в процессе первой революции рабочий класс получил свое первое боевое крещение, свой первый политический закал и свое воспитание. Неудавшаяся по своим непосредственным результатам революция 1905 года была, таким образом, своего рода университетом для рабочего класса. Он вышел из революции совершенно другим, чем вошел в нее.

Мы увидим, что в смысле политического воспитания первая революция еще больше дала крестьянству.

Заседание по гомельскому процессу было обставлено с необычайной торжественностью, вход был по билетам, при чем билеты брались нарасхват, и их обладатели считались счастливцами. Председательствовал председатель департамента Киевской судебной палаты Котляревский. Обвиняли товарищ прокурора палаты Рыжов и товарищ прокурора суда Коленко.

На скамье защиты в начале процесса была полная неразбериха. На этот раз никто из нашего московского кружка не вошел в состав защиты. Но мы уже говорили, что, помимо нашего кружка, имелся еще другой: Сахарова-Ледницкого. Этот кружок послал своих членов Метаксу, Н. М. Жданова и других. Рядом с ними уселись настоящие защитники погромщиков, пришедшие защищать не только обвиняемых, но и самый погром. Тут был печальной памяти Шмаков, пользовавшийся скверной не только политической, но и моральной репутацией; был Погожев, помощник Шмакова, человек бездарный и, как говорили, не особенно чистоплотный. При таком составе защиты между ее отдельными группами не мог

не завязаться бой, и он скоро окончился полной победой Шмакова и черносотенцев. Подсудимые высказались за погромную защиту, и адвокатам политического кружка — Метаксе, Жданову и др. — пришлось покинуть процесс вследствие разногласия с подсудимыми.

Своеобразная конструкция обвинительного акта по гомельскому делу состояла в том, что «ради справедливости» рядом с громилами из христиан на скамью подсудимых были посажены и члены еврейской самообороны. Таким образом, обвинение было предъявлено и к тем, кого громили, и к тем, кто громил. Христиане обвинялись в погроме евреев, а евреи — в погроме христиан. При этом была соблюдена чисто арифметическая справедливость, состоявшая в том, что с обеих сторон было посажено равное количество лиц.

Такая оригинальная постановка дела повела за собой и своеобразную диспозицию адвокатов. Часть их села на скамью гражданских истцов и оттуда поддерживала обвинение против погромщиков, другая же защищала евреев, виновных в сущности в том, что они не соглашались быть перерезанными, как цыплята, и пытались обороняться.

Поверенными гражданских истцов были: М. М. Винавер, Г. Б. Слиозберг, А. С. Зарудный. Защитниками евреев подсудимых: Кальманович, Куперник, Ратнер из Киева, Ганфман, Кроль, Красильщиков и я.

События по обвинительному акту. — Христианский погром. Обвинительный акт излагал события по следам правительственного сообщения, но пошел еще дальше, утверждая, что после Кишиневского погрома у евреев Гомеля явилась мысль не о самообороне, а об организации в виде мести погрома христиан. И вот, ссылаясь на грязнейшие подонки города и их свидетельские показания, обвинительный акт утверждает, что еврейская молодежь обучалась стрельбе под звуки своеобразного гимна:

«Время пришло, — про христиан, про собак припасем мы дубину.»

И такой вздор помещается не на страницах какого-либо бульварного антисемитского листка, а важного официального документа!

Неудачную попытку 29 августа вызвать погром на базаре обвинительный акт изображает, как избиение евреями крестьян. Прекращение самообороной начинающегося погрома он квалифицирует, «как погром христиан». Во время ссоры еврейской торговки с лесником Паскевича, по заведенному трафа-

рету, «человек десять крестьян, побуждаемые жалостью, хотели вступиться за лесника».

До сих пор все шло по расписанию, включительно до «десятка крестьян», которые понадобились, чтобы спасти здоровенного лесника от еврейской торговки. Но то, что описывает обвинительный акт дальше, не только не было предусмотрено никаким расписанием, но, очевидно, вообще в истории еврейских погромов явилось чем-то дотоле неслыханным.

«Тотчас же раздались тревожные сигнальные свистки евреев, на которые необычайно быстро собрались другие евреи, вооруженные палками, и разогнали крестьян с базара.»

Все они поскакали с мешками, приготовленными для еврейского добра, восвояси.

— Это вам не Кишинев! — кричала возбужденная толпа еврейской молодежи, в то время как буржуазия по традиции бросилась запирать магазины и пряталась по подвалам.

«Это» оказалось Кишиневым через два дня.

Видя провал программы, администрация вызвала Абхазский полк, конечно, «для охраны еврейского населения от справедливого гнева народа». До прихода полка «народное негодование» находилось в аморфном состоянии, и только по прибытии войск полиция оказалась «бессильной его сдерживать».

Еврейский погром. Далее начинаются такие же грезы администрации, которые ее преследовали в таганрогской демонстрации. Все обошлось бы мирно, если бы один из евреев не бросил камнем в помощника пристава. Тот упал. Толпа рабочих, возмущенная этим, начала кричать: «Жиды убили помощника пристава!» — и тут уже удержать рабочих не было никакой возможности.

Ну, разве не сон на яву? Рабочие, устраивающие погром за убийство пристава! Вот уж подлинно:

«Мечты, мечты, где ваша сладость?!»

К рабочим присоединились крестьяне, и при нейтралитете войск погром начался по всем правилам полицейского искусства.

Далее обвинительный акт противополагает лойяльность русской толпы революционной непокорности толпы еврейской. Он забывает прибавить при этом, что, когда законопослушная и вполне лойяльная русская толпа громила, администрация и войска спокойно наслаждались этим зрелищем. А когда евреи скапливались для обороны, войска немедленно «восстанавливали порядок».

Единственный человек, державший себя более или менее беспристрастно, полицеймейстер Раевский, подвергался непрекращающимся оскорблениям со стороны лойяльной русской толпы. Лойяльная толпа кричала ему: — «жидовский наймит» и другие не менее безобидные фразы.

Обвинительный акт заканчивает меланхолическим констатированием, что от погрома пострадало 250 еврейских жилых помещений и торговых заведений.

Крайне характерно для всех устраиваемых погромов, что правительство всегда оберегало еврейскую крупную буржуазию. И здесь обвинительный акт констатирует, что «рабочие, не допущенные в центральную часть города, бросились громить окраины». Одним словом, на потоп и разграбление была отдана по обыкновению беднота.

При всей циничной постановке обвинения, оно должно было признать, что «при обысках, произведенных у евреев, не было обнаружено награбленного имущества», как вообще не было обнаружено ни одной разграбленной христианской квартиры или магазина. Напротив того, у громил было отобрано много имущества, разграбленного во время трагических дней, пережитых еврейским населением города Гомеля.

Казалось бы, одних этих фактов было достаточно, чтобы установить, кто громил и кто только оборонялся. Но правительство Плеве не считалось ни с фактами, ни с истиной. Оно шло напролом.

С у д е б н о е   с л е д с т в и е. Судебное следствие не оставило от обвинительного акта камня на камне. Благодаря произведенному защитою самостоятельному судебному следствию, а также благодаря тому, что полицеймейстер Раевский оказался относительно порядочным человеком, за что и был уволен, нам в гомельском процессе удалось вскрыть все кулисы погромов вообще и еврейских — в частности. Это зрелище настолько поучительно, оно так ярко рисует царское правительство времен, предшествующих революции, что мы остановимся на всей этой погромной кухне с некоторой подробностью. Было бы преступлением с нашей стороны дать затеряться хотя бы одному штриху картины.

Первым был допрошен свидетель обвинения, бывший полицеймейстер Раевский, глава полицейской власти во время погрома. Свои показания Раевский давал очень сдержанно и неохотно, так что в особенно компрометирующих правительство инцидентах нам приходилось вытягивать их у свидетеля, как клещами. Таким образом, самым решительным

образом должна быть отброшена мысль, что Раевский был «жидовским наймитом» или вообще хотел помочь евреям. Он просто держался в границах порядочности. И тем не менее, приводя факты поведения войсковых начальников, которые не смели отрицать их правдивости, Раевский нарисовал такую жуткую картину, прибавить к которой свидетели со стороны евреев уже ничего не могли.

Характерно было поведение полиции, покинувшей даже своего шефа и отказавшейся повиноваться его распоряжениям — под влиянием неофициальной власти, незримо присутствовавшей и руководившей фактически погромом.

Показания Раевского дополнялись показанием начальника железнодорожных мастерских Котельникова; вместе они обрисовали полную картину организации и проведения Гомельского погрома правительством и его агентами.

Вот как рисуется дело по их словам:

Показание полицеймейстера Раевского. Никакой вражды между христианским и еврейским населением в Гомеле ранее Раевский не замечал. Не замечал ее и Котельников специально у рабочих мастерских, которыми свидетель заведывал.

Раевский положительно удостоверяет, что никаких прокламаций с призывами к погрому христиан он не читал, хотя по обязанности службы знакомился со всеми листовками и вообще со всей нелегальной литературой. Лично он убежден, что таких прокламаций и не было.

Напротив того, после Кишиневского погрома еврейское население Гомеля было настроено панически, принимая каждую драку за начало погрома. То же самое было и при начавшейся драке 29 августа. Евреи в панике стали запирать свои магазины. Прибыв на место драки, Раевский застал евреев сильно возбужденными. Они кричали, что начинается погром, разумеется, еврейский. Никакой воинской силы в руках полицеймейстера не было, тем не менее, ему удалось успокоить еврейскую толпу, в чем ему помогла еврейская интеллигенция.

Что касается до интеллигенции русской, то она ему никакого содействия не оказывала. После 29 августа настроение в городе сделалось очень нервным. В Гомель приехал из Могилева советник губернского правления Маковский. Официально выставленным предлогом его приезда было желание проверить действия полиции.

На самом деле, как нам удалось узнать из самых достоверных источников, губернатор Клингенберг был очень недо-

волен действиями Раевского, не давшего погрому разыграться, и для дальнейшего руководства событиями прислал советника Маковского.

Присутствием Маковского и объясняется тот, на первый взгляд, странный факт, что во время погрома 1 сентября полицеймейстер к собственному изумлению остался без полиции, которая не исполняла приказаний своего официального начальника, а действовала по каким-то иным директивам. От кого именно исходили негласные приказания полиции, свидетель объяснить на суде не пожелал.

Здесь мы натыкаемся на неофициальное правительство, к которому перешла вся власть в городе.

Показания начальника мастерских Котельникова были еще убийственнее для правительства. Он положительно удостоверил, что жандармский унтер-офицер первого сентября пришел в железнодорожные мастерские и распространил среди рабочих слух, будто в городе евреи режут семьи рабочих.

Многие рабочие, поверив ему, побросали работу и направились к выходу. Свидетелю удалось их успокоить, но тут пришел какой-то посторонний человек в штатском и крикнул рабочим, чтобы они торопились на свои квартиры, так как евреи собираются вырезать их семейства.

Тот же начальник мастерских Котельников показал, что, когда около мастерских стояли солдаты, рабочие совершенно беспрепятственно прошли сквозь их строй, чтобы итти громить евреев. На вопрос одного из защитников, как это могло произойти, Раевский с некоторым раздражением отвечал:

— Об этом надо спросить ротного командира. Я просил его окружить громил и действовать оружием.

Раевский добавил, что жандармское управление тщательно скрывало от него готовящийся погром и на прямой запрос ответило, что, по сведениям управления, никакого погрома не предполагается. Тогда как Котельников удостоверил, что в это же время начальник жандармского управления говорил ему о готовящемся погроме.

Весь погром от начала до конца изобилует иллюстрациями к общей характеристике, нами данной. Так, в самом его начале, когда рабочие в числе около 300 человек начали громить, по требованию полицеймейстера их оцепили, но сделали это с тем расчетом, чтобы погромщики могли свободно пройти заграждение. Они так и сделали. Тогда Раевский опять просит капитана Горсткина действовать оружием, и опять его просьба остается гласом вопиющего в пустыне.

Войска шли за громилами, а те, закончив свое дело в одном месте, перебегали в другое и там начинали беспрепятственно заниматься тем же делом.

Потерявший терпение Раевский обратился к капитану Архарову и с раздражением говорит ему:

— Если мы будем бегать за толпой, то погром никогда не кончится!

В другой раз Раевский разыскивает солдат и натыкается случайно на караул. Полицеймейстер требует солдат, так как он был свидетелем того, что человек 50 громили еврейскую лавку. Лысенко отказывает под предлогом необходимости быть на месте для охраны улицы.

— А между тем, — прибавляет свидетель, — громилы разносили лавочку на глазах Лысенко, на расстоянии каких-нибудь пятидесяти шагов от него.

Из всего этого Раевский делает совершенно правильный вывод, что погром принял значительные размеры и поглотил много жертв только вследствие полного бездействия полиции и войск. Раевский высказывает глубокую уверенность, что, если бы войсками распоряжался он, погром был бы прекращен в самом начале.

И действительно, когда в конце-концов было решено прибегнуть к оружию, погром был прекращен в какие-нибудь четверть часа.

Благодаря показаниям бывшего полицеймейстера Раевского, впервые на суде вырисовалась картина двойного правительства: одного — официального, видимого, но совершенно бессильного, другого — «подпольного», невидимого и неведомого, но всемогущего.

Двойное правительство. В то время все это казалось очень странным и непонятным, и только много после, когда были опубликованы мемуары Витте, вся организация погромного движения стала совершенно ясна для всякого беспристрастного человека.

Там, на самом верху, в министерстве внутренних дел в «подпольях» Департамента полиции создавались планы погромов, давались директивы и намечались главные исполнители. Там же в подвалах правительственная «нелегальная» типография печатала погромные прокламации, которые рассылались в провинцию на места.

Кстати о погромных прокламациях. Когда один из свидетелей показал, что он сам читал такую прокламацию, я, признаюсь, не поверил, и, очевидно, мой скептицизм про-

звучал в моем обращении со свидетелем. По крайней мере С. А. Кальманович, сидевший рядом, сказал мне:

— Ты напрасно сомневаешься. Я в кишиневском деле сам читал такие прокламации.

Для меня просто казалось странным, чтобы погромщики могли оборудовать типографию. Оказывается, за них это сделал Департамент полиции, чего в то время мы никак не могли себе представить. Небезызвестный охранник Комиссаров заведывал этим почетным и, вероятно, прибыльным делом.

Вся эта организация пользовалась сочувствием и покровительством самого царя, а потому считала себя забронированной от правосудия. В эпоху, о которой я пишу, царь еще открыто стеснялся солидаризироваться с погромщиками, но позднее маски были отброшены. После погромной волны, прокатившейся за изданием манифеста 17 октября, царь, уже нисколько не стесняясь, миловал всех осужденных погромщиков.

Неофициальное правительство, таким образом, возглавлялось самим царем, затем следовали охранники всех степеней и, в качестве общественного элемента, «верхняя палата» в лице совета объединенного дворянства и «нижняя» — в лице союза русского народа. На местах работали губернаторы и охранные отделения.

Чины администрации, не причастные к этой организации подпольного правительства, какое бы высокое положение в служебной иерархии они ни занимали, были не только бессильны что-либо изменить в ходе событий, но в большинстве случаев не были даже о них осведомлены. Первый министр Витте, товарищ министра внутренних дел Урусов и не подозревали, что у них под боком какой-то охранник Комиссаров организует погромы и устраивает в самом помещении Департамента полиции подпольную типографию. А на месте выполнения задуманного погрома жандармский начальник скрывает от полицеймейстера Раевского готовящийся погром и на прямой запрос высшего представителя местной власти дает заведомо ложные сведения.

На Раевского, очевидно, положиться было нельзя. «Справедливый» губернатор Клингенберг учитывает это обстоятельство; он понимает, что, если власть в Гомеле останется в руках официального ее представителя, то тот прекратит погром «вооруженной рукой», так как право вызова войск будет зависеть именно от него. Чтобы сделать представителя официальной власти бессильным, Клингенберг посылает в Го-

меж советника губернского правления Маковского, формально для ревизии действий полиции, а в действительности — для руководства ею в момент погрома.

В то же время по линии жандармской среди рабочих распространяются бессмысленные слухи о том, что якобы евреи собираются вырезать их семьи.

Общие результаты следствия. Шаг за шагом в течение двух месяцев, в которые длилось следствие, выяснялась истинная картина погрома. Выяснилось, что подстроен он был полицией и жандармами. Мы уже говорили о слухах, распускаемых жандармами; полиция им помогала. Рабочий Штетин показал, что он с другими товарищами мирно шел в город из мастерских. По дороге они встретили пристава, который остановил их, чтобы сказать: «Не ходите в город, там евреи режут русских».

Самый погром происходил под защитой войск и полиции. Погромщики резали людей, грабили имущество, насиловали женщин и девушек. Еврейская молодежь жаждала броситься на их защиту, но между самообороной и громилами неизменно стояли войска, которые не мешали погрому, но не пропускали евреев на защиту громимых участков «во избежание кровопролития».

Вот в эти-то моменты и раздавались выстрелы из толпы евреев, надеющихся прорваться для отражения убийц и насильников. Как далеки все эти факты от версии обвинительного акта, по которой евреи стреляли по войскам, защищавшим их от громил.

Выстрелы, слышавшиеся время от времени из толпы возбужденных еврейских юношей, были к тому же направлены не в войска, а в воздух. Лучшим доказательством такого утверждения свидетелей было то, что за все время от беспрестанной стрельбы, о которой говорили почти все начальники воинских частей, не пострадал ни один офицер, ни один солдат. Даже шальная пуля никого не задела . . .

Общая организация погромов. Кишиневский и Гомельский погромы открыли собою целую серию таких же погромов, коими пестрит история русской революции. Чем сильнее вздымались ее волны, тем чаще, грубее и беззастенчивее устраивались и погромы.

Рабочие быстро поняли роль, которую правительство описанными нами сейчас способами пыталось заставить их играть. И в дальнейшем мы будем встречать их уже не на стороне громил, а на стороне громимых.

Но зато мы все чаще будем встречать в качестве физических исполнителей погромной политики жандармов и городовых. Правительство даже не давало себе труда их хорошенько переодеть в штатское платье и загримировать под «общественность». Очевидно, оно избегало лишних расходов: «Хозяйство, друг Горацио, — хозяйство!».

К ядру официальных зачинщиков присоединились преступные подонки, неустойчивые элементы города и деревни. Им безразлично, где и кого громить, лишь бы громить безнаказанно. Свидетель Раевский показал, что на другой день после погрома к городу еще тянулись длинные обозы крестьян даже из отдаленных деревень, отстоявших от города верст за двадцать пять. Они были вооружены кольями и неизменно везли с собой мешки, предназначенные для награбленного имущества.

Точь-в-точь такую картину мне пришлось потом наблюдать при немецком погроме в Москве во время войны. Для крестьян еврейские погромы были школой для будущих массовых аграрных погромов; ни правительство, ни помещики тогда этого не учли. Здесь опять революция вырвет из рук «противящихся ей» оружие и направит его против них самих!

Гомельский погром настолько трафаретен для всех последующих, что, когда я потом читал описания черносотенных погромов, для меня вся их картина была совершенно ясна.

Погромы перекинутся с евреев на третий элемент, на интеллигенцию, на земцев, наконец, на все, что есть в стране прогрессивного, но общая картина останется неизменною.

И при чтении правительственных сообщений обо всех этих погромах я не знал, чему больше удивляться: лицемерию ли Иудушки, наглости ли Держиморды, или хлесткой развязности Ноздрева.

Поведение палаты и ее председателя. Трудно передать те условия, в которых нам приходилось вести гомельский процесс, и те препятствия, которые нам на каждом шагу ставил председатель особого присутствия палаты. Киевская палата, вообще считавшаяся органически черносотенной и антисемитской, на гомельском процессе проявила себя во всей своей красе. Она даже не учла легких зефиров, подувших в верхних сферах со смертью Плеве; не учла, что под влиянием неудач в позорной японской войне наверху решено было устроить кратковременную «весну» с помощью средств, которыми дворники в столицах во исполнение предписания градоначальника ее делают: метлы и лома.

Взгляд суда на дело или, вернее, тот приговор, который

будет через несколько месяцев вынесен, для нас стал ясен уже после первого судебного заседания.

Суд не хотел в беспристрастии уступить губернатору Клинкенбергу. Конечно, во всем виноваты одни евреи, устроившие 29 августа беспримерный во всем мире погром евреями христианского населения, но суд должен покарать тех и других, и притом соблюдая арифметическое равенство. Таким образом, суд проявит не только справедливость, но и неслыханное великодушие.

Официальная версия поддерживалась палатой и ее председателем во что бы то ни стало. Все, что шло вразрез с ней, а в особенности, что так или иначе могло компрометировать действия войск и полиции, пресекалось или устранялось самым категорическим образом.

Вот образчик поведения председателя:

Присяжный поверенный Н. Д. Соколов задает свидетелю обвинения вопрос: на каком основании он утверждает, что 29 августа нападающей стороной были евреи?

И сейчас же на помощь свидетелю бежит председатель:

— Свидетель может на этот вопрос не давать ответа.

Еще бы! Если бы председатель, соблюдая закон, допустил перекрестный допрос, то лживость свидетельского показания была бы моментально разоблачена защитой.

Или вот еще эпизод, бывший уже лично со мною. Обвинительный акт в значительной степени был посвящен описанию действий толпы, как русских, так и евреев. Понятно, для уяснения поведения обвиняемых надо было предварительно выяснить действия той толпы, к которой они принадлежали. Но лишь только я задал свидетелю вопрос о поведении евреев во время погрома, как председатель опять вмешивается и бросается между мной и истиной:

— Здесь обвиняются, — говорит он, — не евреи и не еврейство, а только те 79 подсудимых, которые находятся перед нами.

Таким образом, и обвинительный акт и представитель обвинительной власти все время не перестают говорить о евреях, их поведении вообще, их действиях во время погрома, но лишь только защита поднимает брошенную перчатку, как вопрос становится неотносящимся к делу.

Превращение процесса о погроме в процессуальный погром. Процесс о погроме, таким образом, превращался в процессуальный погром. В особенности отличался член судебной палаты Аревков.

Защитник выяснил, что не было случая разгрома русского дома или магазина, — Аревков сейчас же старается стереть произведенное впечатление.

Аревков:

— Не находится ли еврейская торговля в зависимости от русских покупателей?

Свидетель, тоже черносотенец:

— Да, разгром русских жилищ очень вредно отразился бы на еврейской торговле.

Я до того был возмущен этим наглым и глупым допросом (как-будто от разгрома десятка-другого жилищ русских бедняков могла пострадать торговля большого города!), что просил о занесении в протокол всех вопросов члена палаты Аревкова с сохранением их формы, порядка и последовательности.

С. А. Кальманович, парируя вопросы Аревкова, спросил свидетеля, слыхал ли он о погромах христиан где-либо в другом месте, где еврейская торговля не находилась в зависимости от благосостояния русских покупателей. Но тут сейчас же вмешался «беспристрастный» председатель и поспешил заслонить свидетеля:

— Господин защитник, я думаю, что свидетель не может быть источником сведений о христианских погромах.

— Мне кажется, что во всем мире не существует таких источников, — со своей обычной находчивостью возразил Самуил Еремеевич на обращение к нему председателя.

Показания военных. В такой удушливой атмосфере мы должны были вести процесс не день, не два, не неделю, а целые месяцы. В этой атмосфере насилия, произвола и искажения истины мы буквально задыхались. Если бы дело слушалось при закрытых дверях, мы бы давно покинули демонстративно зал заседания. Но открытые двери надо было использовать во что бы то ни стало.

Надо было перед лицом общественного мнения всего цивилизованного мира разоблачить все лицемерие и всю низость нашего правительства во главе с самим царем. И мы оставались, стиснув зубы, скрепя сердце и решив все претерпеть.

Но особенно стал невыносим председатель, когда мы приступили к допросу командного состава воинских частей. Эти последние выходили к решетке свидетелей с гордо выпяченной грудью и тем сознанием своего превосходства над гражданским населением, которое веками воспитывалось царским правительством в командном составе армии и которое созда-

вало касту военщины. Надо удивляться, как быстро и радикально удалось советской власти создать свое войско, пропитанное совершенно иными взглядами, иной психологией.

Свои показания все начальствующие лица давали быстро, гладко, как хорошо выученный урок, и палате оставалось наслаждаться такими хорошими свидетелями. Но стоило только допросу перейти к защите, как картина резко менялась. Марс быстро превращался в мокрую курицу, а от его прилизанных показаний оставались одни лохмотья.

Председатель тогда страшно нервничал, становился невозможно груб с защитой, говорил вместо свидетелей, так что Кальманович был вынужден однажды сказать, что «хочет получить ответ от свидетеля, а не от председателя».

При допросе воинских начальников помимо их воли подтвердилась в общем и целом картина действия войск, нарисованная полицеймейстером Раевским. Но вместе с тем выяснилась еще одна любопытная деталь.

Кроме полицеймейстера, на погроме распоряжался исправник Елеонский, не имевший по закону никакого отношения к городской полиции. По его объяснению, он пришел на погром «из любопытства», а распоряжался по предложению советника губернского правления Маковского. Последний штрих картины был, таким образом, дорисован: царь, Плеве, Комиссаров, Клинкенберг в Могилеве и Маковский с исправником Елеонским в Гомеле. Такова иерархия «подпольного» правительства!

Удаление защитника Соколова. — Уход всей защиты. Так как процесс затягивался, то мы, защитники, по очереди на неделю уезжали домой. Поехал в Москву к себе и я. Не прошло и нескольких дней, как я получаю телеграмму от товарищей, что председатель удалил Н. Д. Соколова из залы заседаний, в ответ на что защита вышла из процесса.

Следует сказать, что наибольшее количество столкновений с председателем выпало на долю Соколова, который переносил их со свойственным ему стоическим хладнокровием. В ответ на все выпады председателя Николай Дмитриевич неизменно ограничивался требованием о занесении в протокол слов или распоряжений председателя. Председатель приходил в бешенство и уже однажды сказал Соколову, что он ему не позволит «инсинуировать на русские войска».

Для изложения причин ухода я, не присутствовавший при столкновении, процитирую письмо товарищей к обществу,

написанное ими немедленно по выходе из процесса. Письмо это было распубликовано в газетах и гласило:

«С самого начала процесса защита евреев, равно как и поверенных гражданских истцов, подвергалась ряду совершенно непонятных, с точки зрения интересов правосудия, стеснений. Нам воспрещалось исследовать общие причины погрома, запрещалось в течение большей половины процесса касаться бездействия войск и полиции, воспрещалось исследовать вопрос о прокламациях, призывавших к погрому в городе Гомеле задолго до самого погрома, воспрещалось исследовать вопрос о подстрекателях (самый важный в политическом отношении. — *М. М.*), воспрещалось допрашивать о евреях, избитых 29 августа, когда, по утверждению обвинительного акта, потерпевшими являлись исключительно христиане . . .

«Председатель совершенно неожиданно провозгласил определение, беспримерное в истории суда. В этом определении защите брошены в общей форме, без ссылок на какие-либо факты, следующие обвинения: (следует перечисление совершенно произвольных и прямо диких обвинений). Вспомнить и перечислить все отдельные и оскорбительные окрики, замечания и поучения со стороны председателя нет никакой возможности . . . В такой атмосфере разыгрался инцидент 21 декабря».

Затем письмо переходит к изложению инцидента, бывшего непосредственной причиной ухода защиты из процесса.

Во время допроса свидетеля Шустова, желавшего рассказать о событиях 29 августа, Н. Д. Соколов просил, чтобы, согласно уставу уг. суд., свидетелю была предоставлена возможность рассказать все, что он знает по делу, т.-е., как о событиях 29 августа (так называемый христианский погром), так и о событиях 1 сентября.

«Председатель пять раз обрывал изложение этого ходатайства и кончил тем, что объявил Соколову выговор за неблагопристойное поведение и, устранив его от исполнения обязанностей защитника, удалил из залы суда» . . .

Чаша терпения была переполнена. Защитники вышли из процесса, при чем их уход состоялся в полном согласии с подсудимыми.

Демонстрация защитников и общества. В заключение, адвокаты, бывшие при инциденте и потому подписавшие воззвание, а именно: М. М. Винавер, Л. А. Куперник, Г. Б. Слиозберг, М. И. Ганфман, И. Красильщиков,

А. Марголин и М. Ратнер — обращаются к общественному мнению в следующих выражениях:

«Уход защиты является фактом настолько ненормальным и нежелательным при правильном отправлении правосудия; легкомысленное отношение к этому вопросу, в особенности в деле такой общественной важности, как гомельский процесс, мы считаем настолько серьезным нарушением общественного и профессионального долга, что мы предоставляем всему обществу разобраться в вопросе о том, могла ли и должна ли была защита при таких условиях оставаться в зале заседания, сохраняя свое личное и сословное достоинство. Могла ли она оставаться, систематически стесняемая в способах исследования, лично унижаемая и, наконец, заклейменная позорным, с точки зрения закона, наказанием за то только, что настойчиво и в корректной форме настаивала на применении закона?»

Когда какое-либо правительство хочет держать свой народ в тюрьме, оно вручает ему ключи от карцера, в который заключает порабощенную нацию, говорил Берне. Ибо, по гениальному выражению немецкого публициста, положение тюремщика и арестанта разнится во всем, кроме одного: оба они должны сидеть в тюрьме. Русское правительство, желая держать русский народ в тюрьме, хотело вручить ему ключи от карцера для евреев. Но тогдашнее русское общество с негодованием отшвырнуло эти ключи.[1]

Поэтому, нет ничего удивительного в том, что гомельский процесс на долгое время сделался центром общественного внимания русского и еврейского общества, одинаково стремившихся к освобождению из-под выродившегося до подлости самодержавия. Все газеты печатали более или менее подробные отчеты, и мы, защитники, явились тем фокусом, вокруг которого концентрировалось общественное внимание. Со всех концов России мы получали приветственные телеграммы от русской и еврейской интеллигенции одинаково.

Лишнее прибавлять, что защитники, отсутствовавшие в Гомеле в момент составления воззвания, приведенного выше, поспешили присоединить свои подписи, а лично я, не довольствуясь этим, напечатал в «Русских Ведомостях» очень

---

[1] О каком «русском обществе» говорит здесь автор, и — о каком «общественном мнении»? О буржуазно-либеральном? Но какие же «ключи» когда-нибудь «швыряло» это «общество»? — Ч.

резкую статью против председателя присутствия палаты и всего ее состава.

Ознакомившись со статьею, М. М. Винавер, бывший организатором защиты, прислал мне следующую телеграмму:

«Прочтя вашу статью, сугубо жалею, что вас не было с нами. Таким языком следовало там говорить».

Процесс кончился, но телеграммы с выражением сочувствия продолжали получаться всеми защитниками. Судебная трибуна, за отсутствием парламентской, становилась орудием политической борьбы, как и печатное слово, но более нервным и нервирующим. Вот некоторые из обращений, с особой яркостью рисующие тогдашнее настроение общества:

«Собравшиеся в числе 400 человек евреи и христиане с подсудимыми и представителями печати, прощаясь с защитниками евреев и выражая им единодушное сочувствие, шлют свой привет».

Другая телеграмма гласит:

«Шлем свое сердечное пожелание сил и возможности впредь беспрепятственно бороться за истину и законность... Примите наше выражение глубокого уважения к вашей стойкости и самоотверженню, с которым вы при крайне тягостных условиях стремились внести свет в гомельское дело».

И таких телеграмм мы получали буквально сотни со всех концов России. При подобных условиях политическая защита становилась важным и серьезным политическим делом.

З а к л ю ч е н и е. Подведем итоги.

О рабочем классе. Из рассмотрения процессов промышленного района, Златоустовского, Саратовского и Таганрогского, мы уже видели крайне широкий диапазон подготовленности рабочего класса к революции и степени его сознательности. Гомельский процесс еще больше раздвинул границы этого диапазона. Несознательность небольшой части рабочих позволяет полиции обмануть этих рабочих, поддавшихся на ее провокацию. Но скоро, очень скоро подобные явления уже станут невозможными. Отдельные рабочие, не уяснившие себе своего классового положения, мыслимы всегда и везде. Но общая организация и общее настроение всего рабочего класса охватит их и сделает невозможными их сепаратные реакционные выступления.

Относительно интеллигенции. Русская и еврейская интеллигенция входила в революцию дружно, не зараженная с одной стороны, зловонием антисемитизма, а с другой — национальным шовинизмом и религиозной нетерпимостью. Те же эле-

менты, которые, как, напр., Шмаков или его подручный Погожев, проповедывали антисемитизм, были отщепенцами, презираемыми всеми честными людьми.

Крестьянство входило в революцию классом, еще более разношерстным, чем рабочие.

Погромная волна, прокатившаяся по городам, мало затронула крестьянство по причинам чисто географического свойства. Но скоро, в самом начале революции, еще до Гомеля и Кишинева деревня ополчается погромами на своих помещиков.

Аграрные беспорядки вспыхивают сначала спорадически, по частным поводам, потом все более и более «обобществляются». Отчасти сознательно, отчасти бессознательно крестьянство на погромы контрреволюционные ответило погромами, если можно так выразиться, революционными. Крестьянство, первое время инстинктивно, а затем все более сознательно, будет в процессе революции уничтожать орудия собственного угнетения и делать невозможным или крайне затруднительным самое существование помещичьего хозяйства даже с тургеневскими «дворянскими гнездами».

Еврейство в своей по преимуществу пролетарской части и, главным образом, еврейское юношество к моменту подъема революционной волны уже не похоже на нацию, столетиями унижения, произвола и бесправия лишенную чувства человеческого достоинства; нацию доброго старого времени, о котором с таким удовольствием вспоминает губернатор Клинкенберг.

Нет, эта пролетарская еврейская молодежь «не уступает на тротуаре места даже господам офицерам и их женам», чувствует себя совершенно равноправной и далеко не склонна лизать руку, бьющую ее.

Мы были свидетелями, как в ответ на Кишиневский погром она образует самооборону, вооружается и при первой попытке произвести погром в Гомеле безбоязненно вступает в бой с громилами, разгоняет их, выгоняет вон из города и таким образом предотвращает погром. Так же молодежь поступила бы и 1 сентября, если бы не войска, под покровом которых совершался погром. Но и здесь молодежь выходит на улицу, пытается бороться и предпочитает смерть в борьбе прятанию в погребах и под перинами.

На стон, пронесшийся по всей России: «Кишинев!», еврейская пролетарская молодежь в Гомеле ответила столь непривычным для правительства и громил кличем: «Это вам не Кишинев!».

И еще одно замечание и один вывод. Первое вооружение масс, которому сочувствовали широкие круги, вооружение еврейской самообороны было вызвано Кишиневским погромом, т.-е. действиями самого правительства. Дальше будет происходить то же самое. Правительство вооружит революцию не только морально, но и материально.

ГЛАВА IX

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ КЛАССЫ

Цели движения. — Привилегированные классы. — Земские съезды. — Банкетный период. — Процесс Спасского. — Ироническое отношение к банкетам. — Доклад Лопухина. — Защита Спасского. — Мое заявление в палате о своей принадлежности к конституционной партии. — «Союз Освобождения». — Журнал «Освобождение». — Редактор Струве. — Перевоз «Освобождения» через границу. — Заседание палаты. — Защита. — Поведение на суде Аничкова и Тырковой. — Аргументы защиты. — Требование указать, что именно обвинение и палата считают дерзостным порицанием существующего строя, остаются без ответа. — Ходатайство палаты о смягчении наказания. — Эмиграция Борман-Тырковой. — Дальнейшее смягчение наказания для Аничкова.

«СОЮЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ». ПРОЦЕСС СПАССКОГО

Цели движения. В то время как социалистические партии работали над организацией рабочих и крестьян и готовили их к классовым, революционным выступлениям, общественные элементы организовались в процессе оппозиционной, как им казалось, деятельности. Здесь были либеральные землевладельцы, средняя буржуазия, высококвалифицированная интеллигенция. Отрезанные от низших классов населения, они, по тогдашней терминологии, занимались «организацией общественного мнения», в противоположность организации «общественных сил».

Наиболее политически воспитанные и сознательные элементы привилегированных классов рано или поздно должны были объединиться не только идейно, но и организационно. Вначале такое объединение произошло под знаменем «Союза Освобождения». Задача союза была бороться за упразднение самодержавия, т.-е. за изменение формы правления. Само собой разумеется, что изменение формы правления не могло не повести к перегруппировке в рядах командующих классов, но

никто в «Союзе Освобождения» не думал об изменении самого классового господства.

Большинство членов «Союза Освобождения» не предвидело событий; если бы они обладали даром чтения в книгах судеб, они с ужасом отреклись бы от своей работы, что они теперь задним числом в эмиграции и делают.

Любопытно отметить, что такой крупный художник, как Максим Горький, еще до революции в своих «Мещанах» нарисовал два течения тогдашней смуты. С одной стороны, «мещанин», мечтающий о перестановке мебели в мелко-буржуазной обстановке родительского дома; с другой — настоящий революционер, стремящийся выбросить весь негодный хлам старой жизни и заменить его совершенно новым содержанием. Само собой разумеется, что условия цензуры, да еще театральной, т.-е. более строгой, чем общая, помешали Горькому развить тему с исчерпывающей полнотой.

В нашей книге нам придется останавливаться на процессах обеих категорий. Мы до сих пор излагали движение низов. Теперь посмотрим, что делалось «на верхах» и каким образом, употребляя выражение того времени, рядом с «организацией сил» шла организация «общественного мнения».

В виду оживления движения стали возникать полулегальные организации общественных деятелей, не носящие ни социалистического, ни просто революционного характера и ставившие своей целью путем организации упругого общественного мнения воздействовать на правительство в смысле изменения сначала режима, а потом и формы правления. В центре правого крыла этого движения нужно поставить земские съезды с правильно организованным бюро. Внутри этой организации на более конспиративных началах были построены съезды земцев-конституционалистов, которые в сущности были хозяевами положения и в общеземских организациях.

Параллельно земскому движению развивалось, некоторое время сохраняя свою обособленность, движение среди интеллигенции, не вошедшей в подпольные социалистические партии.

Оба течения работали параллельно. Они владели большинством легальных органов печати, как столичных, так и провинциальных. Но печать должна была считаться с цензурой, а движение уже значительно переросло рамки дозволенного. Чтобы восполнить этот пробел, тогдашняя «общественность» пошла двумя путями: с одной стороны, открылась так называемая банкетная кампания, с другой — было решено изда-

вать за границей печатный еженедельный журнал «Освобождение» с чисто конституционной программой. Мне приходилось защищать как деятелей банкетов, так и лиц, привлеченных по делу «Освобождения».

Банкетный период. — Процесс Спасского. Как только в воздухе повеяло весной, общественное мнение привилегированных классов и интеллигенции начало формироваться на лозунге демократической конституции, парламента, избранного по четырехчленной формуле, и политических свобод.

В то время политические собрания были строго воспрещены, и потому люди выдумывали всякие поводы для обмена мнениями. Обычно таким поводом были чествования какого-либо писателя, юбилей общественного деятеля или съезды профессиональные. Среди последних выделялись пироговские съезды и съезды криминалистов.

Но как только власть ослабела и обнаружились признаки ее шатания, общество отбросило всякие поводы и «обнаглело» до того, что стало есть «осетрину с хреном» и говорить о конституции, не прикрываясь никакими благовидными предлогами.

Открылся банкетный период. Над банкетами много смеялись члены революционных партий и чуть ли не больше их сами участники банкетов. Я помню, когда один из таких банкетов, устроенных в ресторане, был разогнан полицией, В. А. Маклаков шутя говорил мне:

— Мирабо, когда слуги Людовика XVI явились, чтобы разогнать Генеральные штаты, ответил: «Мы здесь по воле народа и уступим только силе штыков». Но он говорил это на заседании Генеральных штатов. Не мог же я, сидя в ресторане, сказать полиции, что «мы здесь по воле народа»!

Слово «конституция» еще не употреблялось ни в печати, ни в речах. Оно заменялось термином «правовой строй». Или же оратор, заканчивая речь, обращался к собранию с предложением всемерно добиваться... следовала пауза и многозначительное: «того, к чему мы все так страстно стремимся». Оглушительные аплодисменты доказывали, что оратор понят своими слушателями.

Я помню, Куперник уезжал с гомельского процесса в Киев, и там на банкете впервые публично произнес слово «конституция». Это было целым событием, о котором говорили, как о подвиге. Страшное, запретное слово было произнесено публично, и притом человеком, ответственным за свои слова.

Через некоторое время был банкет в Костроме. Один из

местных земцев, Спасский, произнес речь, в которой тоже говорилось о конституции. Но в это время отношение к банкетной кампании уже выяснилось. Директором Департамента полиции Лопухиным был представлен особый доклад министру внутренних дел, в котором он выставлял банкетную кампанию чрезвычайно вредной, по его выражению, значительно более опасной, чем университетские беспорядки, а потому предлагал принять против банкетов решительные меры.

Спасский был предан суду. Процесс Спасского слушался в Костроме выездной сессией Московской судебной палаты под председательством Ф. Ф. Арнольда, человека очень умеренного, но корректного и приличного. Дело было назначено на первую половину октября (числа точно не помню) 1905 года.

В Москве уже начинались беспорядки, которым было суждено потом закончиться знаменитой октябрьской забастовкой.

Война — экзамен для всякого правительства, а в особенности для правительства автократического, и Николай II на экзамене срезался позорно. Все испытывали к нему чувство презрения; все понимали, что так дальше продолжаться не может. Необходимы реформы — говорили люди зависимые; необходима «реформа», — отвечали им люди независимого положения и характера.

Но и те и другие ждали чего-то.

В таком настроении палата приступила к слушанию процесса Спасского. Подсудимый ни одной минуты не думал скрывать от суда, что он убежденный конституционалист, и открыто это высказал.

Пользуясь счастливым стечением обстоятельств, т. е., что обвиняемый желает ставить процесс принципиально, а палата не настроена черносотенно, подобно Киевской, я решил поставить процесс во всей его идейной широте.

Я заявил, что вполне разделяю взгляды Спасского, что я состою в учредительном бюро конституционно-демократической партии, рядовым членом которой является Спасский, и таким образом являюсь лицом, значительно более ответственным, чем обвиняемый, которого я защищаю.

Мне хотелось такой постановкой процесса легализировать в судебном отношении как конституционно-демократическую партию, так и самое домогательство конституционного строя. В силу действовавших тогда законов, вся партия, тогда еще находившаяся в стадии организации, могла быть в любой момент привлечена за стремление к ниспровержению существую-

щего государственного или общественного строя. Конечно, это был риск, но в данном случае риск увенчался успехом. Я теперь не помню, был ли Спасский оправдан или отделался пустяками, но во всяком случае процесс ничем не кончился. Прокуратура потерпела поражение.

Таким образом, конституционные требования были легализованы «явочным порядком», еще до провозглашения манифеста о конституции. Я говорил о них, не как о лозунгах подсудимого, в которых он должен оправдываться, а как о вполне естественных и законных требованиях граждан, с которыми суду нечего делать.

Само собой разумеется, что, если бы события приняли другой оборот, этот маневр не только бы не удался, но привел бы на скамью подсудимых и самого защитника.

«Союз Освобождения». Мы уже говорили, что движение интеллигенции, с одной стороны, и либеральной части командующих классов, с другой, привели к образованию «Союза Освобождения». В союз вошли земцы и интеллигенция, не исключая правых социалистов. К числу последних следует отнести марксистов Е. Д. Кускову, С. Н. Прокоповича. Л. Н. Лутугина и др. Считая себя марксистом, я тоже по многим причинам примкнул к союзу.

Редактором заграничного органа, носившего имя «Освобождение», был избран П. Б. Струве, один из бывших идеологов русского легального марксизма. Тогда он уже отошел не только от социал-демократии с ее обостренным ощущением классовой борьбы, но и вообще от социализма. С другой стороны, П. Б. Струве не завершил еще своей постепенной эволюции ярким черносотенцем при бывшем великом князе Николае Николаевиче. Тогда он был либералом, может быть, со слегка красноватым оттенком. Последнее тоже сомнительно, потому что вскоре мы его встречаем в качестве признанного вождя и теоретика крайне правого крыла кадетской партии.

Струве уехал за границу редактировать «Освобождение» и простился с Россией. Надолго ли? Вряд ли кто-нибудь тогда решился бы дать ответ на этот вопрос.

Журнал Струве был несколько скучноват, несколько слишком доктринерский и сухой, как вообще все, что он редактировал. Но, очевидно, велика была потребность русского либерального общества в спокойной, «трезвой», «без фраз и выкриков» критике существующего строя. Журнал отвечал этой потребности. Через либеральных бюрократов у него были отличные связи в правительстве, и он был отлично осведомлен

о том, что делается и также предполагается делать в высших сферах.

Публику, воспитанную на сдержанности и «приличии» легальной печати, подкупал также сдержанный тон органа «освобожденцев».

Одним словом, получение каждого номера журнала было настоящим событием в либеральном обществе.

Какая разница между повышенным интересом, который возбуждал журнал «Освобождение» в тогдашнем либеральном обществе, и тем, более чем индиферентным, отношением, которое проявляет теперешняя советская общественность к заграничным эмигрантским изданиям!

Я уже не говорю о новой России, но старый профессор, бывший член центрального комитета партии «Народной свободы», рассказывал мне, как он вместе с экскурсией ездил за границу. Первое время и он и молодые экскурсанты набрасывались на эмигрантскую литературу, по преимуществу на «Последние Новости», но уже через несколько дней все, не исключая и его самого, убеждались в совершенной оторванности заграничных изданий от русской жизни и, что еще важнее, от психологии людей, живущих теперь в России.

То были два совершенно разных мира. И в дальнейшем как профессор, так и молодежь, бывшая с ним, утрачивали всякий интерес к эмигрантской литературе и больше не покупали «Последних Новостей». О «Руле» он и не говорил.

ПРОЦЕСС «ОСВОБОЖДЕНИЯ» — АНИЧКОВА И ТЫРКОВОЙ (БОРМАН)

П е р е в о з «О с в о б о ж д е н и я» ч е р е з г р а н и ц у. Правительство, очевидно, не хотело осложнять положения, и без того сильно запутанного, созданием большого процесса освобожденцев. А оно при желании могло бы это сделать. Конечно, Струве был «вне пределов досягаемости», но зато в России жили лица, создавшие орган, финансировавшие его, многочисленные его корреспонденты и сотрудники. Я уже не говорю о всей организации «Освобождения», ее руководящей управы, которые можно было очень легко выловить. Впоследствии, в моменты усиленной ликвидации революции, мы увидим, что буцет отдан под суд даже кадетский комитет, функционировавший несколько лет легально и официально сносившийся с правительством.

Не трогая организаторов журнала «Освобождение», правительство не могло, однако, отказать себе в удовольствии со-

здать «освобожденческий» процесс из людей, совершенно случайно попавшихся с несколькими номерами издания в руках.

«Освобождение» доставлялось из-за границы в Россию тем же контрабандным способом, как и остальные органы заграничной печати. Но, помимо того, будучи органом тех классов, которые часто ездили за границу, журнал перевозился туристами, возвращавшимися к себе домой.

Приват-доцент Петербургского университета Евгений Аничков, переезжая границу, отправился в буфет выпить стакан чаю, оставив свое пальто в купе. Жандармы при обходе вагонов натолкнулись на это пальто, из карманов которого торчали номера «Освобождения». Был разыскан хозяин и произведен тщательный обыск в вещах как самого Аничкова, так и его спутницы А. В. Тырковой (Борман). У обоих было найдено триста экземпляров запрещенного журнала, что несомненно указывало на цель распространения в России, с которою перевоз производился.

Аничков и Тыркова были оба арестованы и преданы суду по обвинению в покушении на распространение журнала, в статьях которого заключается «дерзостное порицание существующего строя».

Новое уголовное уложение не было введено еще тогда в действие, и потому предание суду состоялось по старому и устаревшему «Уложению о наказаниях»: по той же статье, по которой были преданы суду саратовские и ростовские манифестанты. Один этот факт лучше всяких научных комментариев характеризует достоинство кодекса. Плеве хотел показать, что с либералами, несмотря на их положение и связи, он будет расправляться так же, как и с революционерами.

Тыркова обратилась ко мне с предложением ее защищать, на что я с охотой согласился.

Председательствовал старший председатель Петербургской судебной палаты Максимович. Тыркову защищал я, а Аничкова — присяжный поверенный Н. П. Карабчевский и его помощник Тирон.

Карабчевский — один из самых видных адвокатов тогдашней России, преемник по славе Плевако. Человек очень умеренных взглядов, он пользовался большим уважением и в стране, и в суде, и в сословии, которое выбирало его своим председателем.

На суде оба обвиняемые держали себя хорошо. В особенности это следует сказать о Тырковой. Аничков уклончиво показывал о знании содержания тех номеров, которые он про-

возил. Напротив того, Тыркова категорически заявила, что содержание, цель и программа перевозимого ею журнала ей хорошо известны и она разделяет их.

Кроме журнала, оба подсудимых обвинялись в провозе нескольких брошюр издания того же «Освобождения», а также и в составлении рукописи, представлявшей по своему содержанию «адрес кружка конституционалистов к издателю журнала „Освобождение“». Адрес выражал сочувствие цели журнала — борьбе с самодержавием в России.

Рукопись эта была написана рукой Аничкова, но он отрицал свое авторство, признавая, однако, что редактировал ее.

У Борман-Тырковой было, кроме того, найдено издание социалистов-революционеров только в одном экземпляре, а потому ей и не инкриминировалось.

Относительно своего пребывания за границей и перевоз «Освобождения» Аничков на суде показал, что, занимаясь вопросами эстетики, захотел на месте ознакомиться с финляндской живописью, для чего и отправился в Гельсингфорс. Там лицо, которое он назвать не желает, просило его перевезти найденные при обыске экземпляры «Освобождения». Аничков на это согласился.

Со своей стороны, он просил Ариадну Владимировну Борман помочь ему. Для удобства перевозки они поделили транспорт между собой.

На этот раз я решил построить защиту на чисто юридических соображениях, но, конечно, попутно развивал программу «Освобождения» и его идеи. Это было тем легче сделать, что разбор содержания журнала входил в анализ состава преступления, как необходимый его элемент.

Моя защита была построена на двух чисто-юридических принципах. Во-первых, я доказывал, что провоз через границу даже заведомо революционного издания составляет не покушение на распространение, а лишь приготовление, по закону не наказуемое, если это не оговорено специально в самом законе. Не буду здесь останавливаться на этом моем доводе, как на имеющем узкий, специально юридический интерес. Скажу только, что в правильности развитых мною тогда юридических положений я убежден и до сих пор.

Гораздо более широкий общественный интерес представляет второй из моих аргументов, имеющий уже не только юридическое, но и общественное значение.

Обвиняемые перевезли через границу 300 экземпляров «Освобождения» двух его номеров. По случайности, эти два

номера заграничного журнала, вообще очень сдержанного, не давали материала для обвинения в «дерзостном неуважении» к верховной власти, требуемого законом. Этим обстоятельством я и воспользовался с тем большим основанием, что обвинительный акт, составленный в достаточной степени безграмотно, говорил в очень общих и туманных выражениях. Признавая, что журнал «Освобождение» не призывает прямо к восстанию против верховной власти, обвинительный акт утверждал, что он, тем не менее, «подвергает сомнению неприкосновенность ее прав» и «дерзостно порицает установленный законами образ правления».

Обвинительный акт при этом не указывал статей в журнале или мест в статьях, которые подходили бы под сделанную им квалификацию.

Я в качестве защитника требовал, чтобы предъявленное обвинение было формулировано со всей точностью и чтобы было указано, в каких местах и каких именно статей прокуратура усматривает дерзостное порицание. Палата должна иметь возможность проверить обвинение, с своей стороны она должна предоставить возможность контроля над своим приговором. То, что показалось прокурору дерзостным порицанием установленного образа правления, при проверке может оказаться невинной критикой распоряжения исправника или даже городового. Обвинять так, как это делает прокурор: «во многих статьях», значит — не обвинять ни в чем.

— Произнесите обвинительный приговор, — обратился я к палате, — и мы, юристы империи, начнем предъявлять обвинение «во многих убийствах», «многих грабежах» и прочее.

Развитая мною точка зрения была поддержана в печати такими авторитетами в области права, как Арсеньев («Вестник Европы»). Это, конечно, не помешало палате произнести обвинительный приговор. Там, где говорят пушки, молчит право, — а в воздухе уже начинало пахнуть порохом революции.

Но в виду явной несообразности обвинения и в виду полного несоответствия старого уложения с новыми условиями жизни, судебная палата постановила: ходатайствовать перед государем о смягчении наказания. Аничков должен был отсидеть два с половиной года в ротах, а Тыркова — тот же срок в тюрьме.

З а с е д а н и е С е н а т а. Дело было мною перенесено в Сенат, во-первых, как возмутительное в смысле нарушения закона, и, во-вторых, — чтобы перенести его на гласное обсуждение. Мы уже говорили, что Сенат не закрывал своих две-

рей. Публики, обычно, кроме курьеров, никого не было, но открытые двери давали возможность освещения дел в печати.

В Сенате я развивал те же мысли, которые высказывал и в палате, но в более резкой форме.

— Я понимаю, — говорил я, — учителя грамматики, ставящего своему ученику двойку за «многочисленные ошибки», понимаю бойкого фельетониста газеты, говорящего о «многочисленных холмах и оврагах, придающих живописный характер местности», но вот чего я никак не могу понять: каким образом судебный приговор, вторгающийся в чужую жизнь и калечащий ее, может отделываться подобными неопределенными выражениями!

Далее я разобрал практику самого Сената по вопросу о разграничении приготовления от покушения в общеуголовных преступлениях и, доказав, что она стоит на той же точке зрения, обратился к Сенату:

— У меня к вам одна просьба. Забудьте, что пред вами сидят честные, интеллигентные люди; забудьте, что их преступление не обагрено кровью и не запачкано золотом; забудьте, что личные мотивы им совершенно чужды, — и судите их так, как вы судили бы поджигателей, мошенников и разбойников!

Дело слушалось в кассационном Сенате 1 июня 1904 года и приговор был утвержден.

Аничкову срок заключения, кажется, по ходатайству Академии наук, был сокращен значительно ниже ходатайства суда, именно до одного года крепости. Что же касается до А. В. Тырковой, то она эмигрировала за границу и до революции 1905 года была деятельной сотрудницей «Освобождения». Затем она вернулась в Россию, вступила в партию народной свободы, была избрана в ее центральный комитет и там заняла крайне правое положение, так что ее защитнику приходилось не раз с ней вступать в резкую борьбу.

В эмиграции Тыркова вышла замуж за видного английского публициста Вильямса (ныне умершего) и поселилась в Лондоне.

Так прошел первый процесс либерально-радикальной русской интеллигенции.

ГЛАВА X

ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ

Превращение «Союза Освобождения» в партию народной свободы. — Разношерстность настроений и состава. — Партия как блок. — Марксисты в партии. — Землевладельцы в партии. — Левое и правое крыло. — Заключение. — Оторванность от масс.

Превращение «Союза Освобождения» в партию народной свободы. «Союз Освобождения» не дожил до революции. На самом гребне ее, в момент всеобщей забастовки, состоялся учредительный съезд партии народной свободы, в которую союз и трансформировался.

Мы видели, что настоящею революционной силою в революцию вошли рабочие; из истории крестьянского союза увидим, что крестьянство вошло в Октябрь, если и не получившим идейной подготовки, то как стихийная революционная сила, мощно стремящаяся к захвату — и при том безвозмездному — всей земли.

Разношерстность настроения и состава партии народной свободы. Что касается до тех элементов, из которых складывалась партия народной свободы, то их классовое положение и политическое настроение были далеко не так однородны и так определенны. Хотя в партии были несомненно революционные элементы, но не они делали дождь и хорошую погоду. Партия, как таковая, не переставала заявлять, что она не желает революции. Кульминационным пунктом такой политики была речь Милюкова на банкете в Лондоне, где он (urbi et orbi) возвестил, что «мы являемся оппозицией его величества».

Справедливость требует сказать, что, когда я в московском комитете повел агитацию против подобного заявления, то во многих районах получил большинство. Но районы высказывались лишь против крайностей заявления, не оспаривая лойяль-

ного характера партии. На процессе выборгского воззвания, который по справедливости считался «кадетским процессом», мы будем иметь возможность демонстрировать позицию руководящего ядра партии.

П а р т и я, к а к б л о к. — М а р к с и с т ы в п а р т и и. При самом своем образовании, партия народной свободы, или «конституционно-демократическая партия», не была прочно спаяна. Она слагалась, как блок правого крыла интеллигенции, входившей в Союз союзов, и левого крыла земцев-конституционалистов.

Вследствие такого двойственного состава партии состав съезда был самый разнообразный. Рядом с князем Долгоруковым сидел считавший себя марксистом Прокопович, рядом с Набоковым — Лутугин. Участвовал в съезде автор этой книги и народник Корнилов. А рядом с нами — цензовые земцы, либеральные предводители дворянства и пр., одинаково далекие как от марксизма, так и от народничества.

Не может не показаться странным, каким образом люди, считавшие себя марксистами, вошли в конституционно-демократическую партию, претендующую, помимо всего прочего, на внеклассовый, надклассовый характер. Объясняется это многими причинами. Скажем здесь о главных.

Во-первых, наше поколение получило боевое крещение во время, когда старые партии были разгромлены, новых же не было создано, и мы просто называли себя радикалами, в отличие от либералов. Партийность в очень широких пределах у нашего поколения не играла такой роли, которую она заняла у поколений последующих. Во-вторых, мы не верили[1] в вооруженное восстание, о котором тогда уже недвусмысленно говорили социалистические партии; мы недооценивали революционного пафоса масс. В-третьих, на партию мы смотрели, как на временный блок, объединенный ближайшей целью свержения самодержавия. И, наконец, в-четвертых, мы боялись, форсируя революцию, отпугнуть от нее командующие классы в то время, когда еще массы не подготовлены.

Я считал и продолжаю считать самым бесполезным занятием возвращаться к спорам, уже «взвешенным судьбой». Во

---

[1] Мало сказать — «не верили». Нужно сказать: не хотели. То же — и о «революционном пафосе масс». Этого «пафоса» либералы к тому времени уже откровенно боялись. — *Ч.*

Р е п л и к а. Либералы, действительно, не хотели победы революции, но лично я «хотел» победоносного восстания, но не верил в него. — *М. М.*

всяком случае, чтобы опровергнуть нас, понадобилась четырехлетняя, неслыханная в истории мировая бойня.

Партия народной свободы во время учредительного съезда была настроена радикально. Но все ее формулы были очень широки и гибки, в роде «выкупа по справедливой оценке» и т. п.

Землевладельцы в партии. Партия народной свободы всегда считалась партией буржуазии. Это верно и неверно в одно и то же время. Верно — поскольку под буржуазией мы будем понимать и интеллигенцию и служащих; неверно — поскольку под буржуазией мы будем понимать действующий крупный капитал. Представителей такового в партии совсем не было [1]. Правое крыло партии скорее составляли либеральные землевладельцы, влившиеся в нее в качестве земцев. Этим и объясняется, что рабочая программа Прокоповича, в достаточной степени радикальная, была принята съездом почти без изменений; но лишь дело реально доходило до выкупа помещичьих земель по справедливой оценке, как начиналась форменная обструкция. Достаточно сказать, что на съезде 1917 года подтверждение принудительного выкупа прошло большинством одного голоса.

Персонально в центральном комитете партии до революции не было ни одного крупного промышленника, в то время как землевладельцы составляли большую его половину. И. И. Петрункевич, П. Д. Долгоруков, Ф. И. Родичев, Ф. Ф. Кокошкин, Свешников, Тыркова, Демидов и прочие, — эта группа и составляла влиятельную часть партии и ее правое крыло и центр с идеологом Милюковым.

В таком виде партия народной свободы вошла в революцию. Но уже первые ее набатные звуки раскололи то, что было склеено с самого начала очень плохо.

Прокопович, Лутугин были на съезде, подписали программу, выработанную в части, касающейся рабочего вопроса, первым из них, но едва они доехали до Петербурга, как прислали заявление о выходе из партии. К ним присоединились некоторые петербуржцы во главе с Кусковой. То было первое ослабление левого крыла партии. Я это почувствовал и потому охотно взял на себя поручение поехать в Петербург для переговоров с диссидентами. Все мои доводы оставались тщетными. Екатерина Дмитриевна ответила мне, что она предпочитает итти с массами, даже разделять ошибки масс.

---

[1] Были, однако, исключения. К 1917 году число этих «исключений» очень возросло, поскольку буржуазии нужно было маскироваться «левее».—Ч.

Е. Д. Кускова, рафинированная квинт-эссенция интеллигенции — с массами! Массы не ответят ей взаимностью. Они предпочтут ошибаться с Махно и найти свой правильный курс с Лениным.

Со своей стороны С. Н. Прокопович и Кускова уверяли меня, что мы вообще земцам не нужны, что для придания литературной формы их мыслями достаточно будет одного Милюкова.

Я тоже не убеждался этими доводами. Строя свою тактику ближайшего дня не на революционном свержении правительства, а на давлении на него смуты, я считал, что мы будем через правое крыло партии, говоря современным языком, «разлагать правительство».

Такие люди, как Прокопович, Кускова, почти все народные социалисты, по самой своей природе не созданы для революции. Переходя из оппозиции в революцию, они революцию не усиливают, а оппозицию ослабляют. Она теряет в них стойких людей, а революционерам они только мешают своей половинчатостью.

Вскоре я почувствовал, что не могу нести ответственности за действия партии, и сложил с себя звание члена центрального комитета. Но это было уже в 1907 году. Теперь же, как один из лидеров левого крыла партии, я с некоторыми друзьями основали газету «Жизнь», в которой велась оживленная полемика с правым крылом.

Правое крыло и шатание партии. Правая часть партии отвернулась от революции почти на другой же день. Они некоторое время еще подписывали радикальные резолюции, еще боялись открыто выступать против революционных партий; П. Н. Милюков, будущий вождь бывших земцев, еще не произнес своей знаменитой фразы о «красной тряпке», но фактически раздвоение партии началось, и я помню наше негодование, когда земцы отправились к Витте говорить о перемирии.

Шатание партии еще больше усилилось в декабрьские дни, оно окончательно сформировалось к открытию второй думы. После роспуска первой думы по предложению партии народной свободы было подписано знаменитое выборгское воззвание. Автором и инициатором его был Милюков, списавший жест у прусской революции. Но, очевидно, правое крыло, близкое к правительственным сферам, чувствовало себя очень не в своей тарелке, подписав революционный документ, которому, кстати сказать, партия никогда не придавала реального значения и ни одной минуты не намерена была осуществлять в жизни.

На Гельсингфорском съезде партия, при отчаянном сопротивлении нас, левых, постановила взять назад выборгское воззвание. Подробнее обо всем этом нам придется говорить, когда мы станем излагать процесс выборгского воззвания. Здесь же лишь скажем, что, по мере усиления реакции, партия народной свободы отступала все более и более в своих тактических позициях, что же касается до программных требований, то они или мирно лежали в архивах партии, или же разделяли участь тактических требований.

Теперь уже никто не говорил об учредительном собрании. Второй съезд партии похоронил его. Но настоящая внутрипартийная реакция началась после изменения избирательного закона, т.-е. государственного переворота, признанного нашей буржуазией в лице октябристов не преступлением, караемым смертной казнью, а «печальной необходимостью».

Съезд партии, учитывая новый состав думы, решил итти на примирение с «соседями справа». Для этого, конечно, надо было рвать с вчерашними союзниками слева. Большинство перед этим не остановилось и вынесло резолюцию, открывавшую фракции двери во все стороны, чем составители резолюции особенно дорожили.

Вместе с тем, как негодный теперь балласт, было выброшено требование ответственного министерства, бывшего лозунгом партии при выборах во вторую думу. За учредительным собранием полетело ответственное министерство. Партия могла нестись вправо на всех парусах.

Л е в о е и п р а в о е к р ы л о. Меньшинство партии, верное революционным заветам Союза союзов, не уступило без боя. От имени меньшинства партии выступил на съезде я. Я доказывал, что даже с точки зрения правого крыла новое направление партии ничего ей не даст. Октябристы, справляющие медовый месяц власти, не войдут в союз, который их будет компрометировать перед правительством.

В то же время для меня было ясно, что зарвавшаяся реакция кончит тем, что отбросит опять буржуазию влево и, таким образом, сама даст союзника кадетской партии. Так и случилось впоследствии при создании прогрессивного блока.[1]

На съезде совершенно определилось расслоение общественных групп, сплотившихся в кадетской партии, на правых, ориентировавшихся на реформу власти, и левых, потерявших

[1] Аргументация, как видим, чисто оппортунистическая, что, впрочем, не мешает автору тут же рядом говорить о «революционной тактике». — Ч.

веру в возможность компромисса с нашей монархией и потому решивших держаться революционной тактики.

Когда меня однажды спросили в центральном комитете партии о числе сторонников левого крыла, я подсчитал наши силы в треть всей партии. Именно треть партии всегда поддерживала левые резолюции как на съездах, так и в большинстве комитетов. Вскоре я мог убедиться в правильности своего исчисления. При выборах в третью думу, после моего резко оппозиционного поведения на съезде, на партийном плебисците по городу Москве прошла моя кандидатура в Государственную думу, при чем рабочая фракция выставила меня первым кандидатом.

Центральный комитет решил снять мою кандидатуру, но, не имея права этого сделать, передал вопрос московскому комитету, куда явился в полном составе для того, чтобы могло получиться большинство двух третей, требуемое уставом. И все-таки нужного количества голосов не набиралось, так что пришлось прибегнуть к искусственному толкованию, что бывший председатель Государственной думы выставляется партией без плебисцита, и таким образом, с вступлением в кандидатский список Головина, моя кандидатура была отстранена.

На примере кадетской партии мы ярко видим те шатания, которые в революционные эпохи испытывают буржуазно-интеллигентские группы. Автор книги не может выделить себя из этого общего правила. Настал момент, и еще до прихода к власти большевиков, когда и я повернулся спиной к революции. Но ведь ни одна партия даже из социалистических, кроме большевиков, не шла последовательно с революцией до конца.

Революция 1917 года лишь ярко выявила ту раздвоенность и половинчатость, которую в неопределенных очертаниях наметил уже 1905 год. В своем большинстве в подлинной, реальной, действительно народной революции мы не узнали розовых мечтаний своей юности. И многие из нас и до сих пор не понимают, что ошиблась не история, — ошиблись мы. Они не могут примириться со всем тем, что всегда сопровождает, не может не сопровождать реальную массовую революцию, с ее издержками.[1]

З а к л ю ч е н и е. Подводя итоги, мы должны сказать, что на самой заре своей, и на заре революции, партия «Народной

[1] Вот это верно. Ну, а «издержки» контрреволюции? О них, ведь, тоже следует поговорить. — *Ч.*

свободы», в противоположность социалистическим партиям,[1] таила в недрах своих элементы, которые с неотвратимостью явлений природы будут толкать ее на неустойчивость, половинчатость и колебания в дальнейшем. Но в первые дни революции она субъективно искренне приветствовала ее.

Уже позже пожары помещичьих усадеб, общая анархия жизни, призраки социальной революции и т. д. заставляли отдельные группы партии и ее большинство метаться из стороны в сторону, от учредительного собрания к «оппозиции его величества».

О т о р в а н н о с т ь   о т   м а с с. Второе замечание, которое мы должны сделать, это — о полной оторванности конституционно-демократической партии от народа, как от крестьян, так и от рабочих. Если социал-демократическая партия вошла в революцию, опираясь на кадры сознательных рабочих, через которых она могла проводить в толщу пролетариата свои директивы; если социалисты-революционеры, не имея возможности организационно и идейно овладеть океаном крестьянской стихии, все-таки на отдельных островках этого океана вносили некоторое руководящее начало в крестьянское движение, то партия народной свободы была оторвана совершенно от идейного руководства массами крестьян и рабочих, и организационно — от руководства средней и мелкой городской буржуазией.

Объединяя в своих рядах наиболее интеллигентные, наиболее образованные силы легальной России, владея распространенными газетами и журналами, насчитывая в своих рядах виднейших профессоров, журналистов, адвокатов, испытанных общественных деятелей, партия, конечно, не могла не оказывать в нормальное, мирное время огромного влияния на общественное мнение страны. Но в годины волнений, когда требовалось претворение потенциальной силы «общественного мнения» в действующую энергию «общественных сил», партия фатально была оторвана от жизни.

Даже в революцию 1917 года, когда жизнь кругом била ключом, органы партии народной свободы писали резолюции, которых никто не читал и которыми никто не интересовался. Мы чувствовали, болезненно чувствовали оторванность от масс [2] именно в тот момент, когда связь с массами так необхо-

[1] Как, всем? А там не «колебались»? — *Ч.*

[2] «Мы» — это, конечно, элементы, наиболее бесцензовые из либерально-цензовых интеллигентов. Вообще же либералы, — что им «массы» и что они для «масс»? — *Ч.*

дима... Это ощущение сглаживалось в моменты спокойные, чтобы вновь вспыхнуть при новом волнении народа.

Мы не пишем здесь истории партий, в том числе и партии народной свободы. Мы поделились с читателями только теми нашими личными воспоминаниями, которые будут совершенно необходимы для понимания процессов, так или иначе связанных с партией или прямо партийных.

ГЛАВА XI

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Роль партий и временных организаций в революции 1905 года. — Необходимость придать рабочему движению организационную идею. — Это было делом социалистических партий. — Революционные временные организации и их роль в революции 1905 года. — Социал-демократическая партия накануне революции. — Объединенные комитеты обеих фракций. — Разница между русской социал-демократией начала столетия и нынешними европейскими социалистическими партиями. — Николай II о польских социалистах. — Массовый характер партии. — Отсутствие мелодраматического элемента и будничность работы. — Герои и толпа. — Плеханов и Гапон.

Роль партий и временных организаций. Даже из тех, по необходимости разрозненных, наблюдений над массами, которые мы здесь могли привести, мы убедились в чрезвычайно пестром их составе. Если рабочий класс представлял собою широкий фронт от Колоскова в Таганроге, готового взойти на эшафот за идею рабочего класса, вплоть до рабочего железнодорожных мастерских города Гомеля, поддавшегося на провокацию жандармов и с легким сердцем пошедшего «бить жидов», то о крестьянстве и говорить не приходится.

Необходима была сила, которая вдохнула бы в стихийное недовольство масс идейное сознание, помогла бы им выработать свою тактику и объединила бы движение в одно русло. Нужно было расшевелить народ там, где он еще не пробуждался, указать на причины его порабощения там, где народ искал их, внести сознательную идеологию в рабочие забастовки, одним словом, надо было дать общий синтез всему движению, выработать лозунги, под которыми оно должно было итти к новой победе.

Это составляло главную задачу революционных партий. Само собой разумеется, что они не могли творить из ничего;

но быть истолкователями великого диалектика, называемого историческим процессом; они могли и действительно были.[1]

До революции политические партии строго были запрещены, а потому могли существовать только подпольно. Либералы не шли — и не могли итти, конечно, — на подпольную работу, и таким образом вся партийная жизнь сосредоточивалась в партиях социалистических.

Рядом с партиями революция выдвинула особые, чисто временные, организации, сыгравшие громадную роль в революции, и прежде всего советы рабочих и крестьянских депутатов, союзы железнодорожный, крестьянский, почтово-телеграфный и другие аналогичные организации. Но за этими организациями стояли партии, которые и направляли в большей или меньшей степени их деятельность. Совет рабочих депутатов был под решительным влиянием партии социал-демократов, крестьянский союз был, вопреки воле своих более умеренных вождей, поглощен партией социалистов-революционеров, а так называемая трудовая группа являлась просто-напросто негласным ее псевдонимом в виду гласного бойкота социалистами-революционерами Государственной думы.

Диалектика истории взяла весь этот разношерстный материал, слепила из него временное орудие революции и, использовав его, отбросила в сторону, сказав: «Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться». И Мавр действительно удалился, сошел с революционных подмостков; но свое огромное дело он все-таки сделал.

Обо всех этих временных организациях и о процессах, созданных при их ликвидации, еще придется говорить. Здесь же мы остановимся на чисто партийных процессах сначала социалистических, а потом и кадетской партии.

Социал-демократическая партия кануна революции. Социалистической партией в строгом значении этого слова была только социал-демократия, как партия пролетариата. Нельзя же было считать серьезными социалистами многочисленных представителей золотой молодежи, юрисконсультов крупных заводов, а то и владельцев таковых и разряженных дам, готовых в угоду моде и во славу пролетариата декольтироваться на вечерах в пользу красного креста.

Редактор «Humanité» Мосе, ездивший в 1906 г. в Россию, на мой вопрос о вынесенных впечатлениях ответил, что его страшно

---

[1] Все ли? — Ч.

поразили социалистические собрания, на которых не было рабочих, зато было очень много нарядных кавалеров и дам.

Все эти бывшие социалисты теперь иначе как с пеной у рта не говорят о социализме.

Что же касается до партии социалистов-революционеров, то она была связана с мелкой крестьянской буржуазией, а, с другой стороны, стремилась быть выразительницей тогдашнего общественного мнения страны и, при всех своих заслугах перед революцией именно в качестве мелкобуржуазной партии, пролетарско-социалистической она не была и быть не могла.

Социал-демократы за несколько лет до революции разбились на две фракции: большевиков и меньшевиков. Мне приходилось случайно работать по преимуществу с большевиками. Говорю «случайно» потому, что я в их фракционную борьбу не вмешивался. Вскоре после моего приезда в Москву я получил приглашение сотрудничать в легальном журнале «Правда», во главе которого стояли Н. А. Рожков, М. Н. Покровский и И. И. Скворцов. Луначарский был в ссылке, но принимал оттуда самое деятельное участие в журнале. Я вошел в редакционное собрание, и между мною и моими товарищами по работе никогда не возникало никаких трений, а статьи мои терпели только от цензуры.

Я не заметил за время нашей совместной работы (а вышли из редакции мы все вместе) особого обостренного отношения к меньшевикам. И действительно, приблизительно в это время в провинции обе фракции работали совместно. При изложении процесса Н. А. Рожкова, Н. Л. Мещерякова и др. мы увидим, что совместная работа большевиков и меньшевиков велась тогда и в Москве.

В Москве, как и во всем центральном районе, большинство рабочих принадлежало к большевикам. Я помню Шанцер, бывший тогда, кажется, агентом Центрального комитета большевиков при Московском комитете, жаловался мне на дезорганизацию, которую, по его мнению, меньшевики вносят в партию. По его утверждению, вина меньшевиков состояла в том, что они в Москве имели свой параллельный комитет, несмотря на численное превалирование большевиков. Два социал-демократических комитета в одном городе, по мнению Шанцера, было «не организацией, а дезорганизацией партии».

Все это мы говорим для того, чтобы современному читателю, не переживавшему с нами первой революции, был ясен процесс объединенного комитета. Теперь кажется непонятным, каким образом большевики и меньшевики могли сидеть

за одним столом, делать одно общее дело и в заключение вместе сесть на скамью подсудимых.

Разница между русской и европейской социал-демократией. Первоначально разница между большевиками и меньшевиками была скорее тактического или, вернее, организационного характера, чем идейно-программного.

Обе фракции вошли в первую русскую революцию в качестве партии строго революционной.

Когда мне и моим товарищам приходилось защищать меньшевиков, наши попытки представить меньшевиков сравнительно умеренной партией неизменно терпели фиаско. Прочтя как-то в газете суровый приговор относительно меньшевика, я на другой день спросил члена палаты Шадурского, бывшего в составе присутствия, чем объяснить такой приговор. Он мне рассказал, что защитник, как он выразился, очень талантливо выяснил палате . . . всю опасность действий обвиняемого.

Должен покаяться, что и со мной был такой же случай. Как-то в Одессе я защищал в военном суде процесс меньшевиков. Я просил огласить статью подпольного журнала, рассчитывая, что ее сдержанный тон хорошо повлияет на суд. Однако, во время чтения, наблюдая, какое впечатление производит статья на судей, я ясно осознал свою ошибку. То, что для меня казалось верхом умеренности, для капитанов, сидевших за судейским столом, было возмутительной дерзостью.

Правительство и тогдашняя социал-демократия в целом были двумя разными полюсами, которым нечего было о чем-либо друг с другом столковываться. Единственные отношения, возможные между ними, была война, война на уничтожение. То, что сказал Николай II, отправляя в Варшаву прокурора палаты, то можно было отнести не только к царству Польскому, но и ко всей России.

А сказал, как мы расскажем несколько позже, царь следующее:

— Там дело обстоит так, что или мы их (социалистов), или они нас должны уничтожить, — так я предпочитаю, чтобы были уничтожены они.

Закаленные в этой борьбе на уничтожение, социалистические партии вообще, а социал-демократия в частности, вошли в революцию, как партии глубоко революционные,[1] которым

---

[1] У автора явно механистическое представление о революционности партий. Особенно скажется это далее. К тому же, он неправильно и тут и далее берет «с.-д.» как нечто цельное. — Ч.

нечего было терять и к которым применимо изречение, относящееся специально к пролетариату: «Что он может потерять? Свои цепи. Что он может выиграть? Все!»

Массовый характер социал-демократии. Социал-демократия была партией массовой в лучшем смысле этого слова. Ее тактика была построена не на «героях», а на «толпе», на рабочей массе. Это сказывалось на выработке методов действий и на самых характерах членов партии, поскольку они слагались на партийной работе. В партии были герои, но они сознательно хотели слиться с рабочим классом, не выдвигаться из него. Они жертвовали своей индивидуальностью, чтобы итти «сомкнутым строем». Русская социал-демократия давала больше Бебелей, Энгельсов, чем Лассалей.

Личность скромна и незаметна, — величественна, красива и, пожалуй, романтична масса. Массовая психология социал-демократической партии отразилась и на процессах этой партии. В них нет выпирания индивидуальности из общего фона картины. Нет авансцены. Художник интересуется общим впечатлением, а не индивидуальностью, заслоняющею собой класс.[1] Героические свойства лидеров растворяются в движении масс.

На поверхности остаются серые будни: явка, передача литературы, небольшой кружок рабочих, передача средств и их собирание...

Все это распыляется, превращается в революционные будни, пока какая-либо демонстрация или грандиозная забастовка не вырвутся на поверхность и не взовьются, как языки пламени из горящего внутри здания.

Тогда внезапно оно приковывает к себе общественное внимание, а те, кто работал изо дня в день над созданием пожара, не только не видимы для толпы, но часто и сами не подозревают, что они-то и являются героями дня.

Социал-демократия была партией рабочих масс и потому не изживаема, пока не будет изжит сам рабочий класс в процесс внеклассового слияния.[2] Она лишена мелодрамы, но зато лишена и авантюризма.

---

[1] Дело, конечно, не в «художнике», а в том, что вся экономика и сознание рабочего класса диктовали упор на массу. Соединение экономики и сознания — в этом и величие, и «красота» движения масс. Со стороны этого никак не понять. — *Ч.*

[2] Автор хотел сказать о социализме. Последний рисуется ему, как «слияние». Действительность внесла уже в это застарелое эволюционистское представление изрядные поправки. — *Ч.*

Крайне интересную беседу рассказывал мне Г. В. Плеханов, — беседу, имевшую место накануне первой революции между ним и знаменитым священником Гапоном.

Если бы нужно было художнику нарисовать прямую противоположность психологии социал-демократа, он не нашел бы лучшего образца, чем Гапон. Гапон весь — квинт-эссенция авантюризма, крайнего индивидуализма, для которого массы, народ только фон, служащий выявлению собственной великолепной личности. Как на былых лубочных картинках: впереди — «герой» Скобелев на лошади с гору, с мечом в доброе дерево, а где-то там, в отдалении, на заднем фоне, — выкрашенные в общий цвет солдаты-пигмеи.

Гапон пришел убеждать Плеханова «помириться» с социалистами-революционерами. Плеханов с обычным для этого талантливейшего человека юмором ответил, что он и не думал с ними ссориться.

Тогда самовлюбленный Гапон, почувствовавший тонко спрятанную иглу ответа, самоуверенно бросил угрозу:

— Если социал-демократы не помирятся с социалистами-революционерами, я их изничтожу (подлинное слово Гапона).

— Ну, батюшка! Нас царское правительство изничтожает столько времени, да и то никак не может изничтожить, так с вами мы как-нибудь справимся, — ответил Плеханов.

Поведение подсудимых социал-демократов на суде вполне соответствовало тактике и психологии партии. Мне приходилось защищать много процессов — и большевиков и меньшевиков. Приходилось участвовать в защите, где сидели на скамье подсудимых выдающиеся лидеры большевиков. Они не искали со скамьи подсудимых смягчения своего наказания, но они и не старались выдвинуть свою личность даже из самых лучших побуждений.

Верный принятому правилу не забрасывать книги массой процессов и не обращать ее в бедекер политического суда, я и здесь выберу лишь два наиболее типичные и на них попытаюсь отметить все характерные черты процессов социал-демократии.

ГЛАВА XII

ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ

Состав обвиняемых и постановка процесса. — Состав защиты. — Совещание о постановке защиты. — Требование ее принципиальной установки. — Прошлое Баумана по предварительному следствию. — Тюрьма, ссылка и побеги. — Действительные и фиктивные причины провала. — Предательство и наружное наблюдение. — Аресты и предварительное следствие. — Результаты обыска у Баумана и Медведевой. — Позиция Баумана, Стасовой и Медведевой на предварительном следствии. — Квалификация сообщества как смуты (126 ст.), а не как бунта (102 ст.). — Впечатление от свидания с Бауманом. — Характеристика Баумана. — Краткость и сила его аргументов. — Деловитость. — Политические взгляды Баумана. — Формальная и действительная демократия. — Европейская и русская буржуазная демократия. — Учредительное собрание и диктатура пролетариата. — Новая форма государственного устройства в виде советов. — Характеристика Медведевой. — Отложение дела. — Освобождение заключенных. — Задержание Баумана. — Хлопоты об его освобождении. — У прокурора и градоначальника. — Тайная переписка. — Освобождение Баумана. — Бауман в подполье. — Убийство Баумана. — Заговор царя и черная сотня. — Роль Трепова. — Бауман убит на революционном посту. — Похороны Баумана. — Грандиозная демонстрация. — Знамена всех партий. — Шествие. — У консерватории. — У могилы. — Обратный путь. — Расстрел расходящейся мирно толпы у манежа. — Негодование во всех слоях общества и рабочих.

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В СЕВЕРНОМ РАЙОНЕ. (Процесс Баумана, Стасовой, Медведевой и др.)

Состав обвиняемых, защиты и постановка процесса. Начнем с процесса «об организационной деятельности представителей Российской социал-демократической рабочей партии в северном районе России», или, как мы его называли попросту, — с процесса Баумана.

Кроме Баумана, к делу были привлечены несколько человек, в том числе: известная большевичка Е. Стасова, дочь патриарха русской адвокатуры, петербургского присяжного поверенного Стасова; жена Баумана К. П. Медведева и др.

Медведева, дочь купца из Саратова, получила вместе со своей сестрой Саниной от отца порядочное наследство, которое тоже вместе с сестрой отдала на революционное дело и нужды партии. Незаурядный оратор, она работала на фабриках, смешиваясь с рабочей массой и перенося с ними лишения и невзгоды.

Процессу в партийных кругах придавалось большое значение, и потому мы бросили на него наши лучшие силы. В числе защитников фигурировали: В. А. Маклаков, Н. К. Муравьев, П. Н. Малянтович, С. Е. Кальманович, Н. Д. Соколов, Н. В. Тесленко и автор этой книги. Но, кроме этих обычных защитников политических процессов, к защите был привлечен и помощник присяжного поверенного Шанцер, ближайший товарищ подсудимых по работе. Шанцер был видным деятелем партии большевиков, и его присутствие как бы подчеркивало для посвященных важное значение процесса.

Все мы собрались в маленькой тогда квартире большого адвоката П. Н. Малянтовича для совещания. С нами были и те из подсудимых, которые находились на свободе, в том числе Е. Стасова. При обсуждении системы защиты сразу сказались два течения, уже успевшие оформиться в нашем кружке.

Одно из них обычно старалось понизить политическое значение процесса и тем добиться смягченного приговора. Но при первой же нашей попытке внести мягкий тон в процесс, личные и партийные друзья Баумана сразу запротестовали. Они заявили, что ни Бауман, ни его жена Медведева никогда не согласятся добиться понижения наказания смягчением значения деятельности партии или своей.

Приходилось подчиниться: обвиняемый является всевластным хозяином своей участи, и ни один защитник не в праве бросаться между ним, его партией и его судьбой. Было решено вести процесс с распущенными партийными знаменами, не опуская их древка перед тяжестью угрожающего наказания ссылкой или даже каторгой.

Но это было только предварительным решением. Оно нуждалось в утверждении со стороны обвиняемых, сидевших в тюрьме. Нам, таким образом, предстояло отправиться в тюрьму и там переговорить с той частью обвиняемых, которая содержалась в предварительном заключении. По обыкновению, твердо укоренившемуся, мы все защищали всех. Другими словами, мы делили защиту не по личностям обвиняемых, а по тем темам, которые процесс затрагивал.

Само собой разумеется, что нам приходилось касаться улик

и положения отдельных подсудимых, но это было наше частное дело. Перед судом же каждый из нас являлся защитником всей скамьи подсудимых. Этим достигался целый ряд практических удобств. Каждый из нас мог касаться всего дела, не стесняясь рамками обвинения, специально предъявленного к подсудимому, защиту которого он взял на себя. Это — во-первых. Во-вторых, мы все могли видеться со всеми арестованными подсудимыми. И, наконец, в-третьих, в случае столкновения с судом, любой защитник имел возможность и право в него вмешаться.

Прошлое Баумана по предварительному следствию. Для того, чтобы наш разговор был продуктивнее, прежде чем поехать на свидание к Бауману, я занялся ознакомлением с делом. Из чтения предварительного следствия я убедился, что в лице Баумана я встречу травленого волка, матерого революционера. Несколько раз он успел уже побывать в руках жандармов. Побывал в тюрьме и ссылке, но умудрялся бежать оттуда.

Так, первоначально он был сослан в Вятскую губернию под гласный надзор полиции — за участие в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Оттуда он бежит, но ни минуты не может оставаться без революционной работы.

После побега Бауман переходит на нелегальное положение и работает в разных местах. В Воронежской губернии Баумана опять схватывают. Он сидит в тюрьме, в ожидании решения своей участи особым совещанием в административном порядке.

Особое совещание приговаривает его к ссылке в отдаленнейшие места Восточной Сибири. Энергичный, предприимчивый и смелый Бауман опять бежит, на этот раз прямо из тюрьмы. Ему помогли его товарищи, так высоко ценившие личность и работу Баумана, что постановили организовать побег, не щадя для этого никаких средств. По постановлению ЦК партии был организован массовый побег из Лукьяновской тюрьмы в Киеве. Бежало всего 11 человек, по преимуществу «искровцев». Бежал и Бауман. По дерзновенности замысла и ловкости выполнения побег был проведен образцово.

Итак, Бауман опять на свободе, а для него свобода и революционная деятельность — синонимы. Он вновь вступает в комитет, занимается типографией, распространяет подпольную литературу, организует рабочие кружки, участвует на собраниях. Но за ним уже идет слежка.

Действительные и фиктивные причины провала. Каким образом он попал в поле зрения охранного отделения? По этому поводу мы, как бывает большей частью,

имеем две версии: одну для внешнего, другую для внутреннего употребления.

По первой версии жандармам удалось путем наружного наблюдения установить, что 15 мая 1904 года в Петровско-Разумовской академии (теперь Тимирязевской) близ Москвы происходила сходка в квартире Матусевич. Участники сходки были выслежены и оказались Бауманом, Стасовой и др. Из дальнейшего наблюдения выяснилось, что это была далеко не единственная сходка на выслеженной квартире. По донесениям шпионов, в квартире Матусевич, помимо собраний, происходят явки и свидания революционеров, повидимому, конспиративного характера. Установлено, например, свидание Стасовой с Кузьминой.

Выслеженная группа была арестована, при чем выяснилось, что ее участники проживали под вымышленными именами и по подложным паспортам.

Так гласила официальная версия, для наружного употребления.

Рядом с ней в деле имеется проект обвинительного акта, написанный, очевидно, неопытным товарищем прокурора, а, может быть, и каким-нибудь кандидатом на судебные должности. Наивный прозелит прокурорского надзора излагает в своем проекте обвинительного акта дело более откровенно:

«Осенью 1903 года (вот еще когда! — *М. М.*) Московским охранным отделением были получены указания, что Центральный комитет Российской социал-демократической рабочей партии намерен командировать в Россию наиболее опытных революционеров. Чтобы уменьшить риск их провала, Центральный комитет на этот раз решил обратиться к новым лицам с просьбой об их размещении и вообще о содействии. Тогда за ними было установлено наблюдение».

Вся эта длинная тирада была перечеркнута компетентной рукой, и нетрудно понять — почему. Сведения о посылке опытных революционеров, о решении Центрального комитета партии обратиться для связи к новым лицам, конечно, не могли быть установлены наружным наблюдением. Тут работало внутреннее наблюдение, т. е. имели место предательство, а, может быть, и провокация.

Искушенный прокурор при составлении обвинительного акта вычеркнул все данные, полученные от предателя, и начал изложение дела с того момента, когда наблюдение было действительно поручено филерам. Вполне в согласии с нашим предположением из переписки Департамента полиции видно, что о вы-

езде Баумана в Россию Департамент был осведомлен своевременно.

Аресты и предварительное следствие. Итак, дело началось с 1903, а не с 1904 года, как это утверждает обвинительный акт. В результате выдачи и наружного наблюдения у Баумана, проживавшего тогда со своей женой, был произведен ночью обыск. По рассказам Баумана, которые я от него слышал в тюрьме, они с женой еще не спали. Услышав резкий топот ног на лестнице, они сразу догадались, в чем дело, и начали спешно уничтожать все, что можно было успеть уничтожить. Послышался властный, резкий звонок. Оба супруга еще поспешнее стали спускать компрометирующие документы в уборную. По характерному бульканию воды жандармы, как констатирует обвинительный акт, догадались о том, что происходит в квартире, и под угрозой взлома двери потребовали немедленно открыть ее. Пришлось подчиниться. Впрочем, все, что могло компрометировать других лиц, было уже уничтожено — записки, адреса и пр.

Что же касается до литературы, то ее было такое множество, что нечего было и помышлять об ее уничтожении. Тут было 1.585 экземпляров обращения к запасным, была во множестве экземпляров программа партии социал-демократов, были рукописи Баумана, приготовленные для нелегальной печати, статьи для «Искры», одним словом, много всякого добра.

На основании всех этих материалов, а также результатов обысков у других лиц, прокуратура и создала «дело об организационной деятельности представителей Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии в северном районе России».

Когда я прочел дело, я пришел в полное недоумение: откуда прокуратура могла притти к убеждению, что арестованные лица являются представителями Центрального комитета партии? Во всем деле не было даже намека на это. И только теперь, когда революция широко открыла двери как Департамента полиции, так и прокуроров судебных палат, в переписке прокурора Московской судебной палаты я нашел перечеркнутый обвинительный акт, где говорится о тайных сведениях, неизвестно каким образом добытых, о посылке Центральным комитетом своих представителей в Россию.

В остальном предварительное следствие особого интереса не представляло, за исключением, пожалуй, свидетельницы Матусевич, которая показала, что действительно с половины мая 1904 года собирались в ее квартире систематически одни и те же

лица. Когда свидетельница спросила своего мужа о приходящих к нему, муж ответил, что это птицеводы.

Подсудимые в своем большинстве, в том числе Бауман, Стасова и Медведева, отказались давать какие бы то ни было показания судебному следователю. Что касается до подсудимого Кокосова, то он признал свою принадлежность к партии социал-демократов, но заявил, что действовал согласно своим убеждениям, а потому себя виновным не признает.

Представителям Центрального комитета, между прочим, была приписана типография, захваченная в Нижнем-Новгороде.

Квалификация сообщества, как смуты. Ко времени слушания этого дела классовая борьба еще не получила обнажения и смешивалась привилегированными классами с революционной борьбой за политическое раскрепощение. С другой стороны, суды не были еще подобраны, а Сенат еще не был развращен. А тут еще неустойчивость курса, неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому дело и было квалифицировано по 126 ст. уг. ул., а не по 102 ст.

Вкратце и по возможности популярно изложим разницу между ними. 102 ст. предусматривает сообщество, которое готовит непосредственно бунт, восстание. Статья 126, это — лишь только подготовка идей общество для пропаганды: приготовительный класс для революции. Понятно, что закон карает строже организацию в целях восстания, чем такую, которая лишь сеет революционные идеи и таким образом производит в государстве смуту.

Защита в интересах подсудимых отстаивала положение, что до самого октября 1905 года наши революционные партии не готовились к вооруженному восстанию; они лишь занимались предварительной организацией сил, не зная, когда, как и при каких обстоятельствах эти силы будут пущены для ниспровержения существующей формы правления. Таким образом, по утверждению защиты несомненно, что к ним должна была применяться статья о смуте, а не о бунте. Наказание, назначаемое за смуту, могло спускаться до года крепости, а с зачетом предварительного заключения подсудимый мог быть и немедленно выпущен на свообду; тогда как при бунте, предусмотренном 102 ст., наказание не могло быть ниже ссылки на поселение.

Сенат, а за ним и вся судебная практика, впоследствии, придравшись к неудачному обороту 126 ст., исказили смысл закона. По тексту 126 ст. карала только те сообщества, которые были организованы в целях ниспровержения «общественного»

строя, но не собирались изменить строя государственного. Как-будто можно свергнуть социальный строй, не трогая строя государственного! Учредить социализм, оставляя на престоле самодержавие Николая Романова!

Не знаешь, чему больше удивляться — глупости или подлости такого толкования. А ведь из-за него сотни и тысячи людей, иногда еще совсем несформировавшихся юношей, почти детей, шли на вечное поселение и каторгу с лишением всех прав!

Знаменитое сенатское толкование, о котором мы говорим, вышло позднее, а потому к процессу Баумана была применена 126 ст. Высшая мера наказания в ней была общая со ст. 102-й, но она предоставляла право суду понизить наказание до года крепости, что при предварительном продолжительном заключении Баумана и его товарищей давало палате возможность открыть перед ними настежь двери тюрьмы.

Ознакомившись с обвинительным актом и предварительным следствием, я отправился на свидание с Бауманом и Медведевой в Таганскую тюрьму.

ПРОЦЕСС БАУМАНА И ДР.

Впечатление от свидания с Бауманом. Медведева на вызов прислала сказать, что она на прогулке и притти не может. Впоследствии она мне объяснила, что, не желая защищаться, она считала излишними свидания и переговоры с защитниками. Это был человек большого, но несколько неустойчивого, общественного темперамента, и рядом с таким безразличием к своей судьбе у нее по временам являлась страшная мнительность. Рядом с самоотверженной преданностью революции у ней могли быть приступы полного отхода от всякого революционного дела.

В революции 1917 года я уже ничего не слышал ни о ней, ни о ее сестре, Е. П. Саниной, женщине более последовательной, чем К. П. Медведева.

Судя по тому, что говорили на совещании о Баумане лица, его хорошо знавшие, я ожидал встретить человека с несколько аффектированной резкостью речи, подчеркнуто угловатыми движениями.

Каково же было мое изумление, когда предо мной, напротив того, предстал человек, поражающий прежде всего и больше всего своей необычайной простотой, отсутствием всякой аффектации. Достаточно было провести с Бауманом полчаса,

чтобы исчезло всякое представление лубка. В его спокойном, ровном поведении чувствовалась большая глубина, недюжинная сила воли и безмерная преданность революционному делу. Все это уравновешивалось ровным и исключительным тактом.

Вообще Бауман был не из тех сверкающих натур, которые поражают вас при первой встрече блеском фейерверка, чтобы потом при более пристальном знакомстве как фейерверк же и померкнуть. Напротив, это был человек внутреннего, глубокого огня, незаметного при первом знакомстве, но все ярче разгорающегося по мере приближения.

Прежде всего мы стали говорить, конечно, о предстоящем процессе. На Баумане, Н. А. Рожкове и других больше всего подтверждается та характеристика общей психологии социал-демократов, которая мною была сделана во вступительной главе к социал-демократическим процессам и которая вытекает из массового характера партии или из той роли, которую партия отводила массе.

При изложении своего дела Бауман не выдвигал своей личности на первый план, но и не рисовался искусственным к ней безразличием.

Для Баумана его процесс был прежде всего не предметом рисовки, а «делом», докучливым этапом его революционной деятельности. К процессу он потому относился, как к очередной партийной задаче, со всей добросовестностью старого партийного работника.

Само собой разумеется, что такому деловому и исключительно деятельному человеку, каким был Бауман, перспектива быть на много лет выброшенным из жизни, да еще в момент подъема революционной волны, не могла улыбаться, и он не скрывал этого; но достоинство партии и его лично как революционера должно быть поставлено превыше всего.

Относительно системы защиты мы договорились довольно быстро, тем быстрее, что на предварительном совещании взгляды Баумана были выяснены его товарищами, и я, конечно, с ними уже считался.

Характеристика Баумана. Покончив с деловой частью нашей беседы, мы перешли к разговору на общие темы. Я вспомнил, что в Казани, где протекали мое детство и юность, был магазин мебели и мастерская Баумана. Оказалось, что мастерская принадлежала отцу Баумана.

Таким образом, оба мы были казанцы. Наша юность, наше детство протекали в одной и той же обстановке, а известно, что ничто так не сближает людей, как общие годы первых лет

сознательной жизни. Начались воспоминания. Общие преподаватели, общие знакомые. Бауман, оказывается, знал и помнил еще моего отца, который, будучи детским доктором, лечил его еще ребенком.

Под влиянием всех этих воспоминаний наше деловое знакомство быстро перешло в добрые личные отношения. Я стал часто навещать Баумана в его заключении, привозить газеты, передавать новости дня и партийные известия.

Постепенно сближаясь, мы, конечно, не могли не обмениваться мнениями по поводу текущего момента и развертывающихся событий. А момент был поистине захватывающий. Октябрь уже приближался, и хотя революционные партии, в том числе и обе фракции социал-демократии, еще не предвидели всей грандиозности событий,[1] но все чувствовали, что Россия впервые выходит на путь подлинной массовой революции.

Между мной, в то время уже отдалившимся от большевиков и состоявшим в «Группе Освобождения», и Бауманом, правовернейшим большевиком, конечно, не могло не быть отчаяннейших разногласий. В беседах наших то и дело вспыхивал спор; а спорщик он был на редкость добросовестный и хороший. Бауман не вносил в спор раздражения и личных выпадов.

Его интересовало не удовлетворение мелкого тщеславия легкой словесной победой; нет, его занимало в первую голову выяснение самого вопроса. Бауман обычно предоставлял высказаться до конца, при чем, внимательно слушая, ни разу не прерывал своего собеседника. Потом с какой-то особой деловитостью он умел изо всей речи оппонента уловить ее центральный аргумент и в кратких словах старался разбить именно этот центральный пункт. Конечно, такой прием — не митинговый прием для масс, но в комитете, в небольшой компании, наконец, с глазу на глаз со своим собеседником Бауман был неотразим.

Вообще говорил Бауман очень кратко и сжато. Он был аскетом речи, и казалось, его девизом было удивительное по меткости изречение Шекспира:

---

[1] Утверждение совершенно неверное и говорящее лишь о незнакомстве автора с нелегальной литературой того времени. Достаточно просмотреть предоктябрьские номера большевистского «Пролетария», чтобы судить об обратном. Мы не говорим уже о целом ряде статей В. И. Ленина того времени, который с гениальной прозорливостью, до мелочей, предвидел весь дальнейший ход событий, всячески толкая (из Женевы) неизбежное «перерастание» их (слово Ленина) в вооруженное восстание. Еще нагляднее видно это из переписки Ленина от 1905 года, опубликованной в «Ленинском сборнике» V. В частности, см. письмо к М. М. Эссен. — Ч.

Краткость есть душа ума,
Остроумие — его прикраса.

Деловитость. Вся речь Баумана отличается именно «душой ума». Больше того, вся его натура укладывается в это удивительное определение. Бауман не в слове, — он весь в деле.

Смутно я помню появление в печати «Нови» Тургенева. Революционерам первого призыва народничества, с наивно любящей душой, с энтузиазмом во взоре, с жаждой жертвенного подвига, с душой, экзальтированной мистической верой в народ, которого они не знали и который их не понимал, Тургенев противоположил революционера новой формации, дельца и практика, не занимающегося «хождением в народ» в гриме под мужика, а среди деловых будней работающего на своем деле инженера рядом с рабочим.

Тогда многие указывали, что Россия не знает такого революционера и что Тургенев в своем герое вывел не русский, а западно-европейский характер, по преимуществу немецкий. Но Бауман был уже живым опровержением этого взгляда. Он был деловым революционером немецкой складки на русской почве. Все взвешено и рассчитано. Каждое слово родит дело и существует только для дела.

Несомненно, теперь среди правящей партии выработалось много таких характеров. Тринадцать лет власти поставят на реальную почву каких угодно идеалистов.

Но между героями хождения в народ и современным железным революционером у власти, между идеализмом народничества семидесятых годов и практицизмом сегодняшнего дня легло полстолетия жизни русской интеллигенции и народа, легла вся буря русской революции и вся тяжесть тринадцатилетней власти, все бремя ее ответственности.

До революции таких характеров, как Бауман, было очень немного в русском подполье, и во всяком случае не они являлись типом. Мне передавали, что именно в силу этих особенностей характера Баумана партия пользовалась им для «внешних сношений», в частности для переговоров с буржуазными элементами.

Политические взгляды Баумана. Мы не имеем возможности здесь в по необходимости кратком очерке изложить политические взгляды Баумана во всей их последовательности. Мы вынуждены остановиться только на тех чертах его миросозерцания, которые представляют теперь стадию, уже пройденную, тем не менее очень интересную с исторической точки зрения.

Формальная и действительная демократия. Мы говорим о сочетании взглядов на формальную демократию и демократию факта, составляющую основу диктатуры пролетариата. Это сочетание вполне вытекало из тех общественных отношений, среди которых жили и воспитывались Бауман и его поколение.

Россия феодальная, полукрепостническая, Россия, душимая дворянским абсолютизмом, тянулась всеми своими силами к идеалу тех политических форм, которые составляли прочную базу жизни ее соседей. В борьбе за эти формы протекала жизнь не одного поколения. На них мы росли и воспитывались. Самые идеалы демократии стали не только нашей идеологией, но и нашей психологией. Каким-то необъяснимым образом [1] в нашем миросозерцании уживались рядом, не сливаясь, но и не вступая в бой, с одной стороны, самая беспощадная критика принципов французской революции «свободы, равенства и братства», с неугасающим стремлением перенести к нам начала политической формальной демократии.

Мы не делали последних выводов из собственной критики заветов французской революции, которую сами исповедывали и пропагандировали. И как бы твердо ни решила та или иная партия, тот или иной человек порвать с идеологией формальной демократии, пережить этот разрыв психологически было очень трудно.

Много лет спустя эта раздвоенность скажется в отношении к учредительному собранию.

Тем понятнее оно было у Баумана в 1905 году.

Европейская и русская буржуазная демократия. Бауман боялся буржуазной демократии, считая ее главным конкурентом пролетариата на наследство, которое должно было открыться после смерти безнадежно тогда больного феодального строя. А что феодально-абсолютистский строй безнадежно болен, что он насквозь прогнил, держится только по инерции и при первой грозе рухнет сам собой, в этом он нисколько не сомневался.

В России, где демократия еще не укрепилась и не успела захватить командных высот, пролетариат гораздо легче завоюет свои права, чем во Франци, Швейцарии или Америке с прочно укрепившейся буржуазной демократией.

---

[1] Наоборот — очень объяснимым, поскольку «формальная» демократия есть по существу демократия буржуазная. Отсюда — и «неугасимое стремление» ... — Ч

Теперь нам легко проверить справедливость взглядов, высказываемых еще в 1905 году Бауманом. Мы все были свидетелями того, с какой легкостью пролетариат захватил власть; как мало была подготовлена наша буржуазия, не имевшая опоры в мелкой буржуазии деревни и скованная в течение всего времени своего существования абсолютизмом, к самостоятельной борьбе за гегемонию.

И в то же время мы видим, как упорно, шаг за шагом отстаивает европейская буржуазия свои позиции перед натиском пролетариата. Можно без риска ошибки установить, как общее правило: чем сильнее укрепилась в стране буржуазия к моменту падения феодального строя, тем труднее пролетариату использовать это падение в своих классовых интересах.

Учредительное собрание и диктатура пролетариата. Однако, Бауману было трудно отрешиться от тех идеалов политической демократии, на которых была тогда воспитана вся революционная интеллигенция.

И последнего вывода, что классовая борьба не может быть решена большинством голосов учредительного собрания, что большинство голосов в классовой борьбе венчает победу, а не дарует ее, — этого последнего вывода Бауман в 1905 году еще не делал и сделать не мог. Лозунг учредительного собрания не изжил еще тогда своего психологического обаяния.

Но, кроме причин психологически субъективных, были другие, более глубокие, чисто объективные основания подобной двойственности. Основания эти коренились в социальных отношениях предреволюционного периода. Здесь, как и везде, бытие определяло собой не только сознание, но и его непоследовательность.

Пролетарская революция, целью и идеалом которой был социализм, совпала в России с эпохой крестьянских войн за землю, а потому крестьянство в эпоху предреволюционную и революционную было верным союзником рабочего класса.

Естественно, что партия, представляющая собой авангард пролетариата, не могла отринуть такой союз.

Крестьянство, говоря упрощенно, придавало количественный элемент качественной борьбе рабочего класса.

Отсюда — лозунг учредительного собрания. Но в то же время партия, верная идеям социализма, не могла не понимать, что истинным носителем этих идей в современном обществе может быть только пролетариат. Отсюда — лозунг диктатуры пролетариата. Мы будем тем меньше удивляться этой двойственности в идеях Баумана, что даже в 1917 году, т.-е. двена-

дцать лет спустя, вопрос о необходимости сделать решительный выбор между идеей учредительного собрания или диктатуры пролетариата не ставился с надлежащей остротой.

Так трудно расстаться со своей первой любовью!

Новая форма государственного устройства. Что же удивительного, что в 1905 году Бауман неоднократно мне говорил:

— Пусть будет созвано учредительное собрание, и мы ему подчинимся.

Эта фраза была тем понятнее, что в то время не существовало конкретных испытанных государственных форм осуществления пролетариатом своей диктатуры. Диктатура пролетариата существовала только в идее, а демократия с ее учредительным собранием была чем-то облеченным в плоть и кровь.

Не следует забывать, что Бауман погиб раньше, чем развернулась деятельность первого совета рабочих депутатов, этого прообраза современной конституции СССР. Он не мог предвидеть, что невиданная в мире новая форма отправления государственной власти окажется настолько жизненной и практичной, что даже враги диктатуры пролетариата будут пытаться абстрагировать форму власти пролетариата от ее материального содержания и провозгласят лозунг «советы без коммунистов».

И теперь, после двадцати пяти лет, прошедших со времени первой русской революции, трудно даже вообразить, что всего четверть века тому назад советы, как форма отправления государственной власти, были совершенно неизвестны и не существовали не только в природе, но и в представлении.

Характеристика Медведовой. Кроме личности Баумана, на скамье подсудимых останавливали на себе внимание несомненной незаурядностью своих фигур Е. Д. Стасова и К. П. Медведева, жена Баумана. Что касается до Стасовой, то мне не приходилось с ней встречаться помимо процесса, и потому у меня сохранилось о ней лишь впечатление человека, совершенно не заботящегося об исходе дела и о собственной участи. На совещании она гораздо больше говорила о Медведевой, чем о себе самой. Впечатление, полученное мной от Стасовой и впоследствии от Медведевой, было прямо противоположно. В то время как Стасова рисовалась мне натурой чисто рассудочной, Медведева была вся во власти своего кипучего темперамента.

В этом отношении Капитолина Поликарповна резко отличалась и от своего мужа. Темперамент был и у Николая Эрнестовича, но он умел рассудку «волю сердца покорять».

Насколько Бауман был сдержан, настолько Медведева легко воспламенялась; насколько Бауман был, по крайней мере по внешности, терпим к чужим убеждениям, настолько жена его была резка; насколько он был тактичен, настолько К. П. была угловата. Бауман в споре слушал своего противника. Медведева говорила сама, совершенно не заботясь об аргументах собеседника и не обращая на них никакого внимания.

Однажды она у меня встретилась с Е. Д. Кусковой и заспорила о том, можно ли Вандервельде считать социалистом. Я не знал, как прекратить их спор, до того была Медведева резка и несдержанна.

В тот период жизни, в который я знал Медведеву, она была безусловно прекрасным партийцем и преданным работником революции. Дочь состоятельных родителей, получившая вместе с сестрой своей Е. П. Саниной, также партийной работницей, порядочное состояние по наследству от родителей, она все свои средства тратила на революцию, лично сама довольствуясь самой скромной жизнью. Она очень мало заботилась о себе, мирилась со всякими условиями жизни и, казалось, совершенно не замечала отсутствия того внешнего комфорта, к которому должна была бы привыкнуть с самого детства.

Мне приходилось видеть ее и в «обществе» и среди работниц, где она вела пропаганду, и меня поражала ее способность преображаться. Работая нелегально на фабриках и заводах, она скрывалась у меня, пропадая иногда по неделе. И вот, когда она возвращалась с фабрики, одна или с работницами, одетая, как они, в платочек и простое платье, ее нельзя было отличить от подруг. В «обществе» она казалась женщиной, привыкшей к «свету».

Медведева была прекрасным оратором, она зажигалась сама и умела зажигать других. Спор и вообще борьба были ее стихией. Она должна была быть прекрасным агитатором для митинга и вообще толпы, где темперамент часто заменяет собой аргумент и где самые ее недостатки, как, напр., резкость, должны были ей помогать.

В деле имеется письмо Медведевой, захваченное при обыске у ее товарищей. Письмо настолько для нее характерно, что мы приведем из него отрывки:

«А у нас внутренняя борьба партийная... Если бы вы знали, Сергей, как хочется мне борьбы. В борьбе для меня

только и жизнь. Жить и бороться, бороться и жить — вот к чему рвется моя душа».

Если даже сбросить часть пафоса борьбы, которым дышит это письмо, за счет рисовки, которой, правда, в очень небольшой дозе, но все-таки не была чужда Медведева, то и тогда останется достаточно подлинной и непритворной жажды борьбы.

За границей она знала Ленина, довольно часто его видела и питала к нему, я бы сказал, какое-то полное преклонения и умиления чувство. Она находилась не только под умственным, но и под моральным влиянием Ленина. Больше всего в Ленине ее поражала истинная и глубокая демократичность, которую она противополагала «генеральству» многих комитетчиков. Последних за генеральство она сильно недолюбливала.

В период, когда я знал Медведеву, она была всецело поглощена революцией, но мне трудно сказать, насколько здесь играла роль потребность ее собственной натуры и насколько сказывалось громадное влияние, которое Бауман безусловно имел на нее.

По крайней мере, когда лет через пять К. П. Медведева, будучи проездом в Москве, зашла ко мне, былого увлечения революцией я в ней не заметил. По ее рассказам, она выстроила в окрестностях Батума себе дачу и жила все время чисто личной жизнью.

В революции 1917 года я уже не слыхал ее имени, как не слыхал об ее работе и в период осуществления мечтаний на деле. Теперь Медведева вышла из партии и живет частным человеком в Сибири. А жаль. Это был талантливый и энергичный человек, и ее работа еще пригодилась бы революции и партии.[1]

Отложение дела. — Освобождение заключенных. Процесс был назначен в Московской судебной палате на 2 августа 1905 года. День, назначенный для слушания дела, приближался. Но в это же время нарастало революционное настроение в стране.

В «сферах» царила полная растерянность, боролись самые противоположные течения, и не было того пророка, который взялся бы предсказать, какое именно течение возьмет окончательный верх. Бюрократия, сбитая с толку беспрестанными шатаниями у самого источника власти, не знала, чего дер-

[1] Автор напрасно, по доброте своей, сватает партии «Капитолину Поликарповну». Партия уж как-нибудь проживет и без нее. Революция — точно также. — *Ч.*

жаться и какой курс ей взять. На всякий случай она всего боялась, у всех заискивала.

При такой общественной обстановке как сами обвиняемые, так и мы, защитники, чувствовали, что чем дольше нам удастся затянуть дело, тем больше шансов на его благоприятный исход. Смущало только предварительное заключение: подсудимые сидели уже около полутора лет в тюрьме.

Перед защитой встала задача — дело отложить, но добиться освобождения из-под стражи всех подсудимых. В другое время об освобождении таких видных революционеров, как сидевшие в предварительном заключении «представители Центрального комитета», по мнению обвинительной власти, нельзя было бы и мечтать. Но теперь, в виду царившего хаоса, можно было попробовать.

Поводов для отложения процесса было два: неявка свидетелей и неявка двух подсудимых.

При мотивировке наших ходатайств как об отложении дела, так и об освобождении подсудимых из-под стражи нам пришлось подробно касаться существа дела. Только таким образом можно было выяснить значение для дела свидетельских показаний неявившихся лиц. В ряде речей, проникнутых стремлением к единой цели и построенных по строго определенному плану, защита настаивала на отложении дела и на освобождении всех подсудимых.

Одни из нас мотивировали требование юридическими соображениями, другие выводили его из самого существа дела, наконец, третьи ссылались на переживаемый момент. Все говорили, как один, и один — как все.

Палата удалилась для совещания. Я подошел к Бауману, чтобы спросить его о впечатлении от судебного заседания. Бауман был чрезвычайно доволен.

— По частному вопросу, — сказал он мне, — такой перезвон! Что же будет, когда дело дойдет до «главного?»

Звонок суда. Палата оглашает свое определение:

«Дело отложить, меру пресечения изменить и всех подсудимых, содержавшихся под стражей, освободить!». Бауман, Белянчиков, Заварин и Медведева должны были, таким образом, немедленно выйти на свободу.

Ура! Битва выиграна. Казалось, можно было радоваться. Палата сделала постановление об освобождении, какие же теперь сомнения могут быть!

З а д е р ж а н и е   Б а у м а н а. Рассуждать так — значило, однако, не иметь представления о нашей администрации и

о нашем прокурорском надзоре предреволюционного периода. Палата постановила, и роль ее была кончена. Привести в исполнение постановление палаты — это уже дело прокурорского надзора. Вот здесь-то мы и натолкнулись на целый ряд совершенно неожиданных препятствий.

Прокуратуре, конечно, по существу было совершенно безразлично, что станется с Бауманом. Дело заключалось не в принципах, а в карьере. Кто будет в ответе, если завтра направление переменится и ветер подует с другой стороны? Таков гамлетовский вопрос, заданный себе прокуратурой. Решение вопроса получилось половинчатое, компромиссное: всех подсудимых освободить, за исключением Баумана, которого держать в тюрьме, несмотря на решение палаты.

Ничего не подозревая, мы с Муравьевым отправились в Таганскую тюрьму, чтобы проследить за освобождением подсудимых. Там нам неожиданно объявили о распоряжении приостановить освобождение Баумана. В негодовании мы ни минуты не медля бросились к прокурору. Он притворился чрезвычайно изумленным нашим сообщением. Он сделал все от него зависящее. Теперь очередь за градоначальником Медемом, который не смеет собственной властью отменять постановление палаты. Во всяком случае, это дело нескольких часов и нашей минутной беседы с градоначальником, после чего, он не сомневается, недоразумение будет немедленно выяснено.

Мы с Муравьевым отправились в градоначальство. Время было позднее, но, несмотря на это, нас приняли немедленно. Градоначальник очень сконфуженно ссылался то на прокурора, то на Департамент полиции. Он решительно не понимает, чего от него требует прокурор. Никакого приказа о содержании Баумана под стражей градоначальник не подписывал, и прокурор имеет право хоть немедленно освободить Баумана. Самое лучшее, если мы, таким образом, обратимся к прокурору.

Из всех наших переговоров мы поняли одно: в Москве мы ничего не добьемся, и нас будут, как мячи, перебрасывать из одного учреждения в другое. Надо хлопотать в Петербурге.

Теперь, когда запретная раньше переписка прокурора палаты сделалась достоянием гласности, обозревая ее, я понял, в чем было дело. Немедленно после постановления палаты об освобождении из-под стражи всех обвиняемых, а в том числе и Баумана, прокурор пишет градоначальнику Медему: «Я сообщил в тюрьму, чтобы без вашего особого разрешения Баумана не освобождали».

Следовательно, нам прокурор солгал.

Получив отношение прокурора, градоначальник с своей стороны решил во всей этой истории умыть руки. 29 августа он запрашивает Департамент полиции, что ему делать с Бауманом, в виду того, что Бауман в административном порядке приговорен к ссылке в Восточную Сибирь, да и помимо того неоднократно бежал из тюрьмы и ссылки, в последний раз из Киева.

Когда утром следующего дня я приехал в Таганскую тюрьму, то оказалось, что все товарищи Баумана по процессу уже освобождены. Сам Бауман нервничал и не скрывал этого.

— Пока мы сидели все вместе, — сказал он мне, — а главное, пока свобода представлялась чем-то далеким и недоступным, я чувствовал себя совершенно спокойным. Но когда состоялось определение о моем освобождении и я почуял себя уже на свободе, заключение мне представляется нестерпимым и я начинаю нервничать.

Департамент полиции, очевидно, одобрил действия местной власти. По крайней мере, в тюрьме было получено теперь уже совершенно официальное предписание градоначальника Медема об аресте Баумана в порядке охраны.

Прошло несколько дней.

Освобождение Баумана. Посылали депеши в министерство внутренних дел и в министерство юстиции. Никакого ответа. Тогда было решено, чтобы жена Баумана, Медведева, поехала в Петербург для личных объяснений. Через несколько дней она вернулась из Петербурга, заручившись твердым заверением, что Бауман будет освобожден. И действительно, 2 октября 1905 года Департамент полиции предписал освободить Баумана, а 8 октября он уже был на свободе.

Я должен был ехать в Кострому для защиты Спасского, обвиняемого в произнесении противоправительственной речи. Когда мы возвращались оттуда, неожиданно для нас разразилась знаменитая всеобщая забастовка. Приехав домой, я в числе прочей корреспонденции нашел записку Баумана. Он освобожден.

Бауман в подполье. Прямо из тюрьмы — в подполье! Не дав себе даже недельного отдыха после полуторагодичного заключения, Н. Бауман со всей своей кипучей энергией бросается в самую гущу деятельности.

Время было горячее. Революционные партии «явочным порядком» выходили из подполья на широкую арену открытой политической деятельности. Каждый человек был на счету

в эпоху, когда революция из кружков переходила в массы. Бауман учитывал это и решил, что в такое время никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права на отдых.

Итак, Бауман скрылся в подполье. С обычной своей добросовестностью, однако, Н. Э. решает, что условия работы слишком изменились с момента его заключения, и что прежде чем занять официальное положение, надо присмотреться к новым методам работы. А потому, формально не вступая в комитет, Бауман однако принимал живейшее участие в его работах. Через неделю получаю от него записку: просит револьвер. Я достал револьвер, переправил его Бауману и предупредил, что револьвер давно не был в употреблении, а потому, чтобы он его испробовал.

Между тем забастовка увенчалась успехом. Были провозглашены «действительные свободы», оказавшиеся впоследствии такими же недействительными, как и все предыдущие. «Действительное» было одно: Николай II понимал, что ему не поверят, и считал нужным подчеркнуть свою правдивость на этот раз. Для положения монарха — деталь характерная.

Вместе с тем законосовещательные учреждения были преобразованы в законодательные, и таким образом была провозглашена конституция, однако, с сохранением самодержавия. Одним словом — «salat à la russe».

Социалистические партии первую победу решили сделать исходным пунктом для дальнейшей борьбы. Народ же упивался одержанной победой, верил в будущее, предавался иллюзиям, выражая свое настроение в мирных безоружных манифестациях. Как оказалось потом, для одной из таких манифестаций Бауман вез знамя в роковую для него минуту.

Убийство Баумана. Выпустивши манифест о конституции, Николай II озаботился скорейшим его проведением в жизнь, в особенности в отношении неприкосновенности личности и жилищ. Погромы, как мы видели на примере Гомельского и Кишиневского, проводились прежде спорадически, по мере надобности и имевшихся в распоряжении правительства «общественных сил»; теперь они были задуманы и организованы систематически, широкой волной.

С ведома и при благосклонном участии министерства внутренних дел, при посредстве союза русского народа и охранных отделений, был подготовлен по всей России целый ряд убийств, поджогов, грабежей, изнасилований и погромов. Все это производилось оптом и в розницу. Всем убийцам, грабителям и погромщикам была заранее обещана «неприкосновен-

ность личности», которая на этот раз была «действительной», потому что в случае привлечения к суду и обвинительного приговора царь неизбежно миловал исполнителей его воли, всех этих грабителей и убийц.

Старший председатель Московской судебной палаты Ф. Ф. Арнольд, систематически выносивший громилам обвинительные, хотя и мягкие, приговоры, был знаменитым министром юстиции Щегловитовым переведен на нейтральное и невлиятельное место сенатора Старого департамента, где разбирались дела коммерческих судов.

Впрочем, весь гнусный заговор царя и его опричины раскрылся перед изумленными глазами всего культурного мира уже позже. Тогда о нем ничего не знали, и Бауман пал его первой жертвой.

Революция 1905 года породила необыкновенно талантливую сатиру и карикатуру. Самой удачной из этого рода литературы я считаю карикатуру на манифест 17 октярбя. В издававшемся журналистом Шебуевым «Пулемете» был изображен развернутый свиток манифеста 17 октября, и на том месте, где обычно красуется печать, нарисована окровавленная рука тогдашнего временщика и любимца царя Трепова, с надписью:

«К сему манифесту руку приложил. Генерал-адъютант Трепов».

Бауман, как мы сказали, ехал на извозчике, везя с собой красное знамя для манифестации. В это время натравленный полицией черносотенец набросился на него сзади и ударом дубины по голове на месте положил Баумана, не успевшего даже вынуть револьвер для самозащиты.

Старый, испытанный революционер пал на своем посту. Пал со знаменем в руках во время своего славного служения делу революции.

Это было началом похода конституционного царизма против народа.

Похороны Баумана. Город еще ничего не знал. Как обычно в эти дни, шли манифестации, устраивались митинги. Прекрасно до сих пор помню этот вечер. Мы с В. А. Маклаковым присутствовали на громадном митинге, устроенном в большой зале консерватории.

Вдруг кто-то прерывает оратора и просит слова вне очереди по спешному сообщению. Внимание настораживается. Оратор обращается к изумленной публике:

— Товарищи! Наш однопартиец Бауман убит со знаменем в руках черносотенцем. Похороны его назначены... —

и оратор назвал число и место выноса тела. Дальше призыв, обращенный ко всему населению, достойным образом ответить на провокацию царя и правительства и сделать из похорон могучую демонстрацию против подлого убийства.

Мы с Маклаковым были страшно поражены.

Как, Бауман? Какой Бауман? Так хотелось думать, что это не тот Бауман, которого мы незадолго перед тем вместе защищали, не тот, которого я недели две-три тому назад видел живым, здоровым, полным сил, энергии и жажды борьбы.

Увы, это оказался тот самый Бауман, об освобождении которого мы столько хлопотали, на его погибель, добились!

Вся Москва на похоронах. Москва сумела ответить на низкое убийство. Небольшая комната, где было выставлено тело убитого, буквально сделалась местом паломничества. Отовсюду стекались представители самых разнообразных слоев населения города Москвы. Тут же происходила организация предстоящих похорон. Образовывались кадры вооруженной самообороны на случай нападения черной сотни. По преимуществу они вербовались из рабочих и учащейся молодежи. Ожидалось нечто невиданно-грандиозное.

Но то, что произошло, оставило позади всякие ожидания.

Буквально весь город был на похоронах. Кого, кого здесь не было! Рабочие, представители всех революционных и оппозиционных партий, учащаяся молодежь и профессора, адвокаты и чиновники, журналисты и приказчики. Мне кажется, что легче перечислить тех, кого здесь не было. Толпа в несколько сот тысяч человек растянулась на протяжении ряда улиц.

Литератор Тан, с полным основанием обращаясь ко мне, сказал:

— Где же черносотенцы? Ведь все население Москвы здесь на похоронах.

И действительно, было очевидно, что с революцией весь народ. С правительством — кучка привилегированных групп, да организованные, частью несознательные, частью купленные банды наемных убийц и грабителей.

Банды могли работать только под охраной того правительства, на защиту которого они формировались. Поэтому в 1917 году, когда царю изменили войска, на защиту «веры, царя и отечества» не вышел ни один погромщик, а причин и поводов для их выступления было, кажется, больше, чем в 1905 году.

Знамена и значки почти всех политических партий развевались над толпой, шедшей за гробом Баумана. На них кра-

совались самые разнообразные по содержанию, но однородные по революционному настроению надписи.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — кричало одно знамя. — «В борьбе обретешь ты право свое», — отвечало другое. — «Да здравствует диктатура пролетариата!» и — рядом тут же по-братски, не вскрывая в зародыше таящегося противоречия, вторило ему другое: «Да здравствует учредительное собрание!».

Шествие. Процессия двинулась.

Заколыхались знамена, раздались стройные звуки похоронного марша. Порядок образцовый. Ни суеты, ни замешательства. Невольно приходило на ум сравнение с организацией дворцовой камарильей коронационных торжеств, закончившихся печальной памяти Ходынкой. А ведь там была полиция, были войска! Здесь же ничего кроме внутренней дисциплины пробуждающегося к свободной жизни народа.

Помню, мы шли рядом с Н. А. Рожковым. Он укоризненно заметил мне, что из видных кацет нет никого.

— Правда, вы здесь, но вы — другое дело. Вы от нас ушли и к нам, я уверен, вернетесь.

Пробил час, когда ушел сам Н. А. Рожков. Впрочем, Н. Д. Соколов рассказывал мне впоследствии в Париже, что Рожков опять сближается с партией, чему я по многим причинам очень тогда порадовался.

Распорядители устроили несколько концентрических кругов живой цепи, которые сдерживали толпу, не давая ей теснить самое себя. Самооборона была расположена таким образом, чтобы действовать в любой момент, в любом направлении и притом иметь возможность появляться всюду, где только потребуется ее присутствие.

Конечно, нельзя было рассчитывать на самооборону при столкновении с регулярными войсками. Но с нападением черносотенных банд она справилась бы не хуже, чем это сделала еврейская самооборона в Гомеле.

Минут через пятнадцать после того, как процессия двинулась, внезапно в одной ее части раздались крики: «Казаки! Казаки!». Поднялась паника, началась давка. Но распорядители быстро и умело успокоили толпу.

Любопытно отметить, что процессия была так велика, растянулась на такое громадное пространство, что паника в одной ее части не была даже замечена в другой.

Процессия плавно продвигалась вперед. Мы уже говорили, что казалось, будто вся Москва была здесь, и все-таки, при

следовании нашем, из всякой крупной артерии улиц и переулков вливались все новые и новые толпы. Все балконы, крыши домов были унизаны народом. Многие здания покрыты знаменами.

У консерватории. Никогда из моей памяти не изгладится момент, величавый и трогательный в одно и то же время. Мы проходили по Большой Никитской улице. Поравнялись со зданием консерватории. И вдруг совершенно неожиданно, покрывая весь шум манифестации, все звуки улицы, летя ввысь выше толпы, выше реющих знамен, уносясь в синеву неба, зазвучали торжественные звуки похоронного марша:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу!

Процессия, как один человек, остановилась.

Молодые, свежие голоса под стройный аккомпанемент великолепного оркестра консерватории, сливаясь с общим настроением и как бы вторя ему, звенели в воздухе:

Вы отдали все, что могли, за него,
За жизнь его, честь и свободу!

Да, Н. Бауман отдал за «счастье народа» все, что только мог отдать: и свою «свободу», и самую жизнь свою...

Мы долго стояли, как зачарованные, упиваясь чудными звуками... Наконец, двинулись дальше... на кладбище.

Кладбище... речи... Среди них речь вдовы Баумана, призывавшей на могиле мужа к борьбе и революции. К. П. Медведева все это время жила на одних нервах. Высокая, сосредоточенная, с резко выступившими углами лица, она произвела на толпу сильное впечатление.

Последний ком земли брошен... Могила засыпана.

Расстрел мирно расходящейся толпы у манежа. Казалось, все кончено. Процессия начала расходиться, тая по мере продвижения толпы. Она разбилась на мирно возвращающиеся домой группы. Довольно большая толпа шла по Б. Никитской. Я тогда жил у Никитских ворот и, дойдя до своей квартиры, вернулся домой. Я считал день законченным.

Не прошло и четверти часа — звонок по телефону. Было уже поздно. Прерывающимся от волнения голосом меня зовут немедленно приехать на место происшествия, чтобы принять необходимые меры. Что случилось?

Я узнаю следующее: толпа, с которой я дошел до своей квартиры, была уже у Долгоруковского переулка.

Вот манеж и университет; книга и штык — два врага, стерегшие друг друга на протяжении всей царской истории. Ее символ.

Самооборона, считая, как и все, что «день» уже кончен, а с ним кончилась и ее роль, смешалась с товарищами и оставила свой боевой порядок. Вдруг неизвестно откуда провокационный выстрел. Моментально, как-будто только и дожидались сигнального выстрела, из манежа выскочили спрятанные там заблаговременно казаки.

Залпы — один, другой, третий . . . Душу раздирающие крики, стоны умирающих, раненых. То был безжалостный, бессмысленный расстрел в упор . . .

Люди искали спасения где кто мог. Бросились к воротам университетского двора. Они заперты неизвестно по чьему распоряжению. Бросаются через высокую металлическую решетку, огораживающую университет. В догонку выстрелы, свист пуль. Картина Дантова ада. А убитые и раненые уже окрасили камни мостовой своей теплой кровью. На улице неостывшие трупы с широко открытыми от боли и изумления глазами . . .

Трагедии убийства Баумана резонировала трагедия убийств на его похоронах.

Реакция оскалила зубы, и это были одни из ее первых жертв, если не первые. Много, много еще их будет впереди, пока русская революция не вздохнет полной грудью и не отомстит за все подлые убийства.

Первые жертвы были в то же время и первым набатным звоном, кричавшим громче всякой пропаганды о лживости правительства, лицемерии его уступок, о всей призрачности надежд на компромисс с ним.

Это был богатый посев революционных чувств и настроений в широких массах населения, произведенный недальновидным, озлобленным правительством. А «кто посеет ветер, пожнет бурю».

Царское правительство пожало ее в 1917 году.

Жизнь Баумана, его смерть, самые его похороны послужили делу революции.

ГЛАВА XIII

ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ

Основы организации социал-демократической партии после раскола в ней. — Объединительная конференция. — Провокация, давшая основание к процессу. — Аресты. — Кажущийся их случайный характер. — Аресты Н. А. Рожкова, Н. Л. Мещерякова, Зверева, Мечниковой и др. — Процесс. — Обвинительный акт. — Обрисовка им задач партии. — Организация партии по обвинительному акту. — Вопрос о партизанских выступлениях. — Дробность процесса и несвязанность его отдельных частей. — Отсутствие фона: рабочего движения. — Н. А. Рожков. — Его объяснения. — Программа-максимум и программа-минумум. — Программа-минимум есть в то же время программа-максимум для буржуазного строя. — Социал-демократия—не утопическая партия. — Она реальна. — Она не стремится к заговорщической деятельности.— Большевики всегда были против партизанских выступлений. — Лондонский съезд. — Рожков признает себя членом партии и литературной группы. — Судебное следствие. — Заявление защиты о действиях конвоя, мешающих свиданиям подсудимых с их защитниками. — Прения сторон. — Речь прокурора. — Речь присяжного поверенного Соколова. — Ответ на обвинение большевиков в партизанщине. — Речь защитника Н. Д. Соколова. — Речи М. Л. Мандельштама, П. Н. Малянтовича, Н. К. Муравьева. — Приговор. — Лишение всех прав состояния и ссылка в Сибирь на поселение для 17 человек. — Побег из полицейского дома. — Роль Кондратенко в его осуществлении. — Смертная казнь, ей угрожающая. — Передача дела от одного судьи другому, устроенная Я. Б. Якуловым. — Устранение им же свидетеля обвинения. — Оправдание Кондратенко.

ПРОЦЕСС ОБЪЕДИНЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БОЛЬШЕВИКОВ И МЕНЬШЕВИКОВ

Организация. Процесс Баумана слушался на самом гребне революции, почти накануне октябрьской забастовки, и мы видели то снисходительное отношение, которое обнаружила тогда палата. Она освободила из-под стражи Баумана, дважды или трижды бежавшего из тюрьмы и из ссылки.

Совсем при другом настроении правительства и правящих классов протекал большой процесс социал-демократической партии, слушавшийся уже во время усиливающейся реакции.

Я говорю о большом объединенном процессе, на котором большевики сидели на одной скамье подсудимых с меньшевиками. Процесс рассматривался в 1909 году, но события, составлявшие его содержание, происходили раньше.

В объединенном комитете значительное преобладание имели большевики. Меньшевиков, собственно, было только двое, из которых один, именно Цетлин, не был предан суду. В процессе он не фигурировал.

При комитете имелась особая литературная группа. В ней принимали участие наиболее видные литераторы того времени, стоявшие на большевистской платформе. Некоторые из них не входили формально в партию и работали исключительно в качестве литераторов. В группе, между прочим, принимали участие: Рожков Н. А., Покровский М. Н., Мещеряков Н. Л., Скворцов, Шулятиков, Соколов, Канель и др.

Московский комитет ведал исключительно Москвой. Что касается до губернии, то там дело вел Московский окружной комитет. В числе его членов можно назвать Смидовича, Мандельштама (Одиссей), Никифорова, меньшевика Валентинова и других.

Комитет не имел своей отдельной литературной группы, и, таким образом, его обслуживала та организация, о которой мы сейчас говорили и которая состояла при городском комитете.

Для связи между окружным и городским комитетами от лица первого был делегирован Н. Л. Мещеряков в городской комитет. Что же касается до связи с Центральным комитетом партии, то его представителями были Н. А. Рожков и Череванин.

Около того же времени в Москве создается областное бюро, в которое меньшевики уже не входили и которое, таким образом, было строго партийным или строго фракционным. Оно охватывает огромный район — от Вологды до Воронежа и от Смоленска до Нижнего-Новгорода.

Меньшевики, однако, участвовали в местных организациях, везде составляя меньшинство, что в точности соответствовало тогдашнему распределению сил в данном районе между обеими тогда еще фракциями.

Первая конференция состоялась весной 1906 года (Хинчук — от меньшевиков). Осенью того же года собралась вторая конференция, на которой было избрано бюро. В это бюро, между прочим, вошли: Б. П. Позерн, Н. Л. Мещеряков, Квятковский и др. Секретарем была избрана А. Н. Мечникова, сестра знаменитого ученого, при которой состояли ее помощницы.

П р о в о к а ц и я. Процесс не обошелся без провокации и притом провокации самой беззастенчивой. Первоначально, когда аресты обрушились на организацию, никто не знал причин этих арестов и обысков. Объясняли их случайностью, неосторожностью, благодаря которой были найдены адреса. Но тюрьма уже начала догадываться, в чем дело. И обвиняемый молвой в неосторожности товарищ пишет из тюрьмы на волю:

«Если на воле думают, что аресты произошли благодаря моей неосторожности, то ошибаются. В тюрьме у нас иные сведения. Если бы не произошел мой случайный арест, то через несколько дней я был бы все равно арестован».

Мы уже говорили, что у избранного секретаря Мечниковой имелись помощницы. Одна из этих помощниц, как оказалось потом, была провокаторшей и притом злостной провокаторшей. Держалась она чрезвычайно искусно. Не подавала ни малейшего повода к подозрению. И если бы Бурцев ее не разоблачил, то она была бы еще долго вне подозрений и еще долго могла бы продолжать свою преступную деятельность.

На обязанности провокаторши лежало, между прочим, подыскание квартир для заседаний бюро, явок. Поэтому нет ничего удивительного, что жандармы появлялись в намеченных квартирах как-раз во время явок и что, таким образом, проваливались не только хозяева, но и посетители.

В противоположность опереточным карабинерам, которые, как известно, всюду приходят слишком поздно, жандармы на этот раз появлялись в нужное время и в нужном месте.

Провокаторша выдавала все, что знала: заседания бюро, штабы, собрания и явки. Можно без преувеличения сказать, что ее предательство легло в основание процесса. И, все-таки, нельзя было не изумляться малой осведомленности прокуратуры в этом деле. Допущено было много путаницы; аресты в значительной степени носили разрозненный и случайный характер. Сам обвинительный акт объединяет их чисто внешним образом. «С июня 1906 г. по март 1907 года была произведена масса обысков», гласит обвинительный акт, заменяя внутреннюю связь хронологией.

Таким образом, выступая в качестве защитника в процессе, я имел полное основание, руководствуясь только материалами следствия и отбрасывая свои закулисные сведения, сказать:

«В наш век увлечения сборниками и альманахами прокуратура тоже поддалась общему настроению и захотела выпустить свой собственный альманах, сборник дел, между собой ничего общего не имеющих».

Отчасти такая отрывочность отдельных эпизодов объясняется тем, что предательница в качестве помощницы секретарши многого не знала и что ее собственные сведения получались в результате отдельных поручений и не были связаны общей организационной идеей.

Благодаря этому, много первостепенных персонажей не были даже привлечены к делу и, напротив того, люди, не игравшие в партии доминирующей роли, оказались во главе списка обвиняемых.

Долго не могли отыскать Н. А. Рожкова. Когда Рожков был арестован, он был уже избран в члены Центрального комитета партии и проводил конференцию в качестве такового. Н. Л. Мещеряков был арестован вместе с Мечниковой в квартире доктора Зверева. Оба они пришли к Звереву на явку в качестве членов областного бюро и были захвачены внезапно. Тем не менее, им удалось уничтожить часть документов.

Первоначально прокуратура набрала до 200 человек и намеревалась создать один общий грандиозный процесс. Но она не справилась с этой задачей и вынуждена была разделить его на два самостоятельных дела: боевиков и комитетчиков. Некоторым лицам удалось скрыться. Так, выпущенный на свободу Владимирский, кажется, скрылся. Скрылся и доктор Голубков.

Суду было предано 48 человек, из которых некоторые не явились, и дело о них было выделено.

Процесс. Дело слушалось в Московской судебной палате с участием сословных представителей 15 апреля 1909 года. Совершенно необъяснимо, почему слушалось оно при открытых дверях, и в большой так называемой Екатерининской зале судебных установлений.

Среди публики преобладала молодежь и знакомые обвиняемых; нельзя было сказать, что процесс захватил широкую публику. Очевидно, спадывающая волна революционного настроения сказалась и здесь. Тем не менее, если правительство рассчитывало, открывая двери заседания, стяжать лавры, то оно в своих расчетах ошиблось: прокурору не удалось дискредитировать подсудимых ни морально, ни политически. Защитниками выступали: Н. Д. Соколов, П. Н. Малянтович, Н. К. Муравьев, М. Л. Мандельштам, Я. Б. Якулов, Б. Е. Ратнер и др.

Обвинительный акт. Задачи партии. Обвинительный акт излагает довольно грамотно цель и задачи

социал-демократической партии. Ее конечной целью он считает социальную революцию, замену капиталистического строя с его анархией свободной конкуренции строем социалистическим, с планомерно регулируемым производством.

Распределение благ производится в соответствии с задачей всестороннего развития всех членов общества.

Конечная цель составляет так называемую программу-максимум, достижимую только по низвержении капиталистического строя. Внутри же буржуазного строя, поскольку в нем еще довольно продолжительное время придется жить и работать, партия ставит перед собой иную, более скромную цель, составляющую так называемую программу-минимум.

Здесь говорится о свержении самодержавия и установлении демократической республики.

Но, для достижения этой своей ближайшей цели, партия считает необходимым временное господство диктатуры пролетариата, которая одна может спасти страну от контрреволюции со стороны низвергнутых реакционных классов.

Мы видим, что обвинительный акт в общем довольно правильно изложил цель, задачи и идеалы партии и, если он говорит о демократической республике в программе-минимум, то это объясняется тем обстоятельством, что наиболее революционная из всех революционных партий — сами большевики — в ту пору еще и не мечтали о свержении буржуазного строя и об осуществлении непосредственной программы-максимум.

Для того, чтобы идеалы, о которых не смела даже мечтать самая революционная изо всех партий, могли претвориться не только в отдаленную мечту, но в реальную жизнь, нужна была пятилетняя империалистическая бойня, скандальное поведение во время непереносимых страданий народа господствующих классов под покровом громких фраз о патриотизме и т. д., и т. д. Одним словом, нужна была вся та вакханалия презрения к народу, его воле, его насущным интересам, свидетелями которой мы были.

Идеалы, о которых не смели и мечтать, претворились в жизнь более или менее неожиданно как для их сторонников, так и для врагов. А в то время, когда слушался процесс, приходилось отстаивать реальность не только программы-максимум, но даже программы-минимум.

Организация партии согласно обвинительному акту. Страницы обвинительного акта, посвященные организации партии и группы, сохраняют свой

интерес до сих пор, как довольно верное и объективное изложение партийной организации, программных и, главным образом, тактических положений того времени. Весной 1905 года был созван третий съезд социал-демократической партии, тогда еще единой. Но — как «единый» — съезд не состоялся. Оказавшись в меньшинстве, меньшевики предпочли образовать свою, параллельную съезду, конференцию. Так оформился фактически раскол.

Во главе московских большевиков стоял Московский комитет. В районах действовали комитеты районные.

Время было горячее. Революция быстро надвигалась. Трудно было даже предсказать, на каком звене она завершится. Следовало быть готовым ко всему. Нет ничего удивительного потому, что при Центральном комитете партии была создана особая боевая организация и военно-техническое бюро (Последнее существовало и позднее, при «объединенном» ЦК). По утверждению обвинительного акта, расходы большевиков на военные приготовления были довольно значительны, конечно, по тем временам, и достигали нескольких тысяч рублей.

Рядом с организацией большевиков существовала организация и фракция меньшевиков. Во главе ее в Петербурге стояла исполнительная комиссия, в Москве—московская группа, а в районах — районные организации. При меньшевистской организации так же, как и у большевистской фракции, имелась своя военная организация.

Помимо того, у обеих фракций имелись всевозможные ответвления особого назначения: агитаторы, свои типографии, техники, инструктора и пр.

Пропаганда велась очень интенсивно. Партийная литература расходилась в сотнях тысяч экземпляров. В широчайших размерах велась и устная пропаганда. Кружки, массовки, собрания... чем дальше, тем больше и шире. В 1905 году пропаганда и агитация достигли своего апогея. Митинги вбирали в себя огромные толпы народа в несколько тысяч человек. Демонстрации захватывали целые города.

В первых числах ноября обе фракции социал-демократической рабочей партии в лице своих руководящих органов — большевики в лице комитета, а меньшевики через «группу» — признали, что вооруженное восстание является единственным выходом из создавшегося тогда положения. Целью и лозунгом восстания должен быть созыв учредительного собрания, а до того времени образование временного правительства.

За интенсивной общей революционной работой было не до разногласий, и работа фракций шла своим чередом. Тем не менее, фракции сохраняли обособленные органы: группу и комитет. Координация их действий происходила через объединенный орган: федеративный совет.

Наконец, весной 1906 года среди еще только начинавшей свой отлив стихии революции был созван четвертый съезд партии, так называемый «объединительный». Но на нем опять выявилось различие настроений обеих фракций.

Большевики предлагали усилить деятельность по подготовке вооруженного восстания: энергичнее заняться образованием боевых дружин, агитацией среди войск, больше обращать внимания на непосредственные выступления рабочих и крестьян.

Вопрос о партизанской деятельности. Резолюция большевиков говорит и о партизанской деятельности. Партизанские отряды должны образовываться для борьбы с черносотенными бандами, находившимися под явным покровительством венценосного погромщика, а также для захвата государственных средств, нужных для вооруженного восстания.

Между обеими фракциями социал-демократов существовали разногласия и по вопросу о допустимости «конфискаций». Меньшевики требовали ограничения применения конфискации. По их мнению, конфисковать партия могла только оружие и боевые припасы. Что же касается до денежных средств, хотя бы эти средства принадлежали государству, в частности государственному банку, все-таки конфискация могла быть производима лишь после образования в данной местности революционного правительства и не иначе, как по его постановлению.

Помимо этих разногласий по изложению обвинительного акта, были выработаны и общие положения, принятые одинаково обеими фракциями. Сюда, главным образом, обвинительный акт относит: требование расширения агитации и пропаганды среди широчайших масс населения, разъяснения полнейшей иллюзорности соглашения с правительством. Настоятельной задачей момента было признано, с одной стороны, давление на думу, с другой — разъяснение населению, рабочим и мелкой буржуазии непригодности думы для разрешения важнейших задач и необходимости добиваться созыва учредительного собрания и образования временного правительства.

Возможно, что вследствие именно такой тактики роспуск первой думы не встретил широкого протеста среди городского

и фабричного населения больших городов. Массам трудно было разъяснить, почему они должны ответить на роспуск думы всеобщей забастовкой, если дума была представительницей буржуазных классов и вообще непригодной для удовлетворения народных чаяний.

Крестьянство, согласно резолюции, должно быть организовано на беспартийной платформе крестьянского союза.

Ближайшим результатом «объединительного» съезда, по данным обвинительного акта, было слияние 8 мая Московского комитета и группы. Вся организация партии после съезда нарисована обвинением в следующем виде:

Основой организации, ячейкой является заводский комитет; его представители образуют районное собрание. Оно выбирает свой районный комитет. Подымаясь выше по лестнице, мы встречаем комитеты Московский, окружной и наконец областной.

Помимо этих нормально действующих организаций, обвинительный акт утверждает, что еще весной 1906 года продолжали существовать в партии боевые организации. Вооруженное восстание все еще стояло в порядке дня.

Но тем не менее, после роспуска думы летом 1906 года, в ответ на него партия социал-демократическая объявила в качестве лозунга не восстание, а всеобщую политическую забастовку. Однако, ситуация уже настолько изменилась, что организовать всеобщую забастовку не удалось, и дело ограничилось частичными забастовками и такими же частичными восстаниями и беспорядками в войсках. Как мы уже говорили, массы, действующие всегда под влиянием прямых линий мысли, не могли понять, почему они должны итти в бой за думу, которая, по словам агитаторов, ныне призывающих к протесту, все время только и занималась тем, что предавала их интересы. [1]

Покончив с «древней» для времени слушания процесса историей, обвинительный акт обращается к истории новейшей: Лондонскому съезду 1907 года. Больше всего его интересуют резолюции съезда по поводу партизанских выступлений, главным образом, по поводу экспроприаций и конфискаций.

---

[1] Этот домысел принадлежит уже не обвинительному акту, а самому автору. Выходит, по его мнению, что виновниками относительной индиферентности масс по случаю разгона первой Думы были, не более, не менее, как... социал-демократы! Объяснение не лишено было бы остроумия, если б не было в нем так много обиды за недостаточно оцененную эсдеками (особенно большевиками) Думу. — *Ч.*

Прокуратура, очевидно, хотела морально убить партию в глазах крупной и мелкой буржуазии.

Съезд констатировал, что вследствие растущей безработицы, обострения классовой борьбы и кровавой политики царизма некоторые слои пролетариата толкаются на партизанские выступления. Отсюда учащающиеся случаи конфискации казенного и частного имущества. Съезд, очевидно, в значительной части отражавший настроение меньшевиков, нашел, что подобные партизанские выступления имеют отрицательное влияние: они вносят в революцию элементы дезорганизации, затемняют классовое самосознание пролетариата и приучают массы к мысли, что завоевания революции могут быть добыты не путем массового движения и массовой борьбы, а отдельными героями. Кроме того, партизанские выступления и экспроприации усиливают черносотенное движение и дают возможность правительству прибегать к усиленным репрессиям.

А потому членам социал-демократической партии Лондонский съезд формально воспретил принимать какое-либо участие в экспроприациях. Вместе с тем, считаясь с тем, что при данной ситуации боевые дружины увлекаются террористической деятельностью, Лондонский съезд постановил распустить их.

Несомненно, все приведенные выдержки из резолюции Лондонского съезда носят явно меньшевистский уклон, но таково было решение съездовского большинства.

Таким образом, мы находим, что обвинительный акт довольно правильно передает программу и организацию Российской социал-демократической рабочей партии. Он правильно также излагает историю партии, начало раскола между двумя ее фракциями, а также и их образование.

Основной недостаток обвинительного акта — не здесь. Он коренится в неумении связать правильно изложенные общие положения с конкретными данными дела, почему общие положения оставались сами по себе, а фактические обстоятельства вели самостоятельное существование.

Дробность процесса. По той же причине все обвиняемые были острижены под одну гребенку, — меньшевики и большевики, серьезные революционеры и люди, случайно попавшие в засаду. Ко всем было предъявлено обвинение в участии в сообществе, поставившем своей целью ниспровержение государственного строя и созыв полновластного учредительного собрания, т.-е. в преступлении, преду-

смотренном 102 ст. Уголовного уложения, караемом каторгою или, в лучшем случае, ссылкой на поселение.

Как мы уже говорили, обвинение, несмотря на наличность провокации, не сумело создать цельной картины, и обвинительный акт рассыпался на отдельные эпизоды. Каждый из этих эпизодов так же мало мог дать представления об общей картине мощного рабочего движения, как мало может дать представления кружка воды, почерпнутая из моря, о сокрушительной мощи морской волны в час бури.

Каждому из обвиняемых вменялись в вину отдельные действия, очень мало или совсем не связанные с действиями других подсудимых.

Приват-доценту Н. А. Рожкову ставилось в вину, что во время восстания он составлял бюллетени, печатал сообщения и реферировал происходившие митинги, состоял членом Московского комитета, участвовал в литературной группе и редактировал партийный орган «Светоч».

Мещерякову вменялось в вину, что он 20 октября 1906 года явился в квартиру к Звереву для разрешения текущих вопросов, сотрудничал в «Светоче» и, будучи членом областного бюро, участвовал в конференции Владимирской окружной организации и составил отчет ее деятельности.

Такой же эпизодический характер носили конкретные обвинения, предъявленные к другим обвиняемым. Таким образом, все красноречие обвинительного акта невольно напоминало фразу одного из героев Островского:

«По разговорам мне бы, маменька, только городским головой и быть, а что и к чему — мне не дано».

В значительной степени это объясняется желанием прокуратуры и жандармов завуалировать наличность предательства, но и за всем тем судебное следствие по такому мощному процессу поражало своей монотонностью и отсутствием какого бы то ни было синтеза.

А главное, прокуратура не «приметила слона». В процессе не было фона, не было рабочего движения. Все сводилось к комитетам, явкам, в лучшем случае к партии. Как-будто все это существовало само для себя, было «вещью в себе». Но что такое социал-демократия, если ее оторвать от рабочего движения!

Какое значение могло иметь, напр., что обвиняемый В. Н. Соколов пришел во время обыска и был захвачен как бы случайно или что при нем оказалось четыре паспорта?

Оторванное от воздуха, которым живет социал-демократия,

от рабочей среды, судебное следствие не могло представлять большого интереса, и все эти разрозненные комитеты походили на рыбу, вытащенную из ее стихии — из воды.

Больший интерес, конечно, представляли собою объяснения, даваемые некоторыми из подсудимых, взявших на себя миссию защищать идеи партии и очистить их от грязи, которою пытался их забрызгать представитель обвинительной власти.

Видное место среди них принадлежит Николаю Александровичу Рожкову, бывшему тогда членом Центрального комитета партии (большевиком).

Н. А. Рожков. Рожков уже умер, его деятельность и личность принадлежат истории. И потому мы можем позволить себе сказать здесь о нем несколько слов и поделиться с читателями своими воспоминаниями об этом на редкость симпатичном человеке и преданнейшем революционере.

Н. А. Рожкова я знал давно. Он был редактором «Правды», легального большевистского ежемесячного журнала, выходившего в 1904 году. Я принимал в нем живейшее участие и как постоянный сотрудник, и как член редакционного собрания. Таким образом, мне приходилось с Николаем Александровичем встречаться вплотную.

У меня сохранились о нем воспоминания и как о редакторе, и как о человеке, и как о подсудимом. Это был прекрасный редактор, не стесняющий индивидуальности своих сотрудников, не старающийся все подстричь под одну гребенку; редактор, который умел до поры до времени сидеть за кулисами и появляться только в нужные минуты.

Он не лез назойливо вперед, но в то же время вы чувствовали, что, в случае серьезного отклонения от линии, принятой редакцией и общим собранием журнала, вы непременно встретитесь с его красным карандашом.

Всегда скромный, выдержанный, ровный и равный самому себе, Николай Александрович не любил выделяться и выпирать из общего фона. Мне приходилось наблюдать его в самых разнообразных положениях. Когда однажды И. И. Скворцов-Степанов метал громы против некорректного поведения нашего издателя, Рожков не повысил голоса. Это было при выходе нашем из редакции «Правды». Там, где Скворцов негодовал, Рожков смотрел сквозь свои подслеповатые очки с философским спокойствием.

Так же держал он себя и на скамье подсудимых. Это не был человек, старающийся смягчить судей и расположить их

в свою пользу; но в то же время это не был и человек, дерзостно бросающий им вызов. Это был философ, историк и экономист, читающий лекции своим судьям.

Лассаль в одной из своих защитительных речей сказал, что относится к происходящему на суде, как химик относится к процессу в реторте своей лаборатории. Кто знает Лассаля по его речам или по его биографии, не может отнестись к этим словам иначе, как к риторическому выпаду.

Но что было красивой фразой в устах великого немецкого агитатора с его кипучим темпераментом, то было голой правдой по отношению к Рожкову. Все его дело — судьи, отстаивающие классовые интересы феодально-буржуазного общества; прокуроры, делающие карьеру на особых услугах, оказываемых правительству помещиков; защитники, идущие пока сомкнутым строем, готовые «рушить вместе», чтобы «строить врозь», — все это в его мозгу представлялось так же просто и ясно, как химический процесс.

Рожков не негодовал, не волновался; он наблюдал элементы капиталистического правосудия в их действии.

Я уже упоминал, что мне приходилось близко сталкиваться с Рожковым, как с редактором «Правды», и у меня никогда не выходило с ним не только недоразумений, но даже ничтожных разногласий. Я питал к нему большую симпатию и, мне казалось, пользовался некоторым расположением с его стороны.

Н. А. Рожков, как мне казалось, был немного доктринер, немного отвлеченной натурой. Его мысль не всегда гибко и послушно шла за особенностями русской революции, в отдельные моменты которой пролетарская борьба за социализм переплеталась с крестьянскими войнами против феодального строя. Отсюда — его острое несогласие с партией еще в 1905 году по аграрному вопросу, когда, однако, он быстро уступил. Отсюда же — его более длительное расхождение с партией после Октябрьского переворота. Смерть скосила его в момент, когда расхождения стушевывались и Рожков был накануне полного примирения.

П о к а з а н и я Р о ж к о в а. Вернемся к показаниям обвиняемых, в частности к объяснениям Рожкова. Прежде всего, он стремится снять с партии социал-демократов обвинение в том, что она является партией утопической.

— Обвинительный акт, — говорит Рожков, — рисует нашу деятельность утопической. На самом же деле она глубоко реальна и жизненна.

С этой именно точки зрения он подходит к анализу программы-минимум.

— Было бы непростительной вульгаризацией марксизма, — говорит Н. А. Рожков, — и нашей партии считать программу-минимум минимальными требованиями, предъявляемыми нами к буржуазному обществу. Напротив того, наша программа-минимум есть в то же самое время программа максимальных требований, которые мы считаем возможным предъявить к капиталистической стране. Если же она носит название программы-«минимум», то исключительно в отношении к программе-«максимум», говорящей уже о полной ликвидации капиталистических отношений и построенного на них классового государства.

Впрочем, спор об утопичности социал-демократии, это — спор, «уже взвешенный судьбою». Октябрь показал, что программа-минимум была не только не утопична, но недостаточно смела в своих дерзновениях.

Возражает также Рожков против упрека, брошенного прокурором по адресу партии, — упрека в заговорщическом ее характере и конспиративных методах деятельности.

— Напротив того, — говорит Николай Александрович, — партия стремилась, стремится и будет стремиться к открытой и широкой деятельности. На то мы — массовая партия. Цель наша — сплотить рабочих и развить в них классовое самосознание. В зависимости от такой цели мы всегда старались выйти на широкую дорогу открытой работы. И не наша вина, если царский деспотизм и политика его правительства неизменно загоняют нас в подполье и конспирацию.

Далее Рожков протестует против обвинения во включении в тактические приемы партии — экспроприации. В доказательство брошенного им обвинения прокурор ссылался на постановления съезда и на цитату из Плеханова.

Кажется еще до объяснений Рожкова защитник Соколов просит огласить резолюцию Лондонского съезда. О Лондонском съезде мы уже говорили, и теперь к нему возвращаться не будем.

Мы видели, что Рожков взял на себя защиту партии от обвинения ее в заговорщическом характере. Исходя из массового характера партии, Н. А. Рожков самым решительным образом протестует против подобного обвинения:

— В рабочих массах, — говорил на суде Рожков, — замечались два течения: одно — «анархическое», питаемое, главным образом, безработицей и тяжелыми условиями труда,

другое — идейно-классовое. Социал-демократическая рабочая партия всегда поддерживала второе течение. Ее главной задачей было развитие классового сознания пролетариата. А потому партизанские выступления она признавала за дезорганизующие борьбу рабочего класса против своих угнетателей.[1]

Поэтому же партия и в аграрных движениях удерживала крестьянство от разгрома помещичьих усадеб.

Наконец, еще раз говоря о неправильности обвинения партии в утопичности, Н. А. Рожков в свою очередь обвиняет прокурора в допущении анахронизма. В дни слушания процесса — в середине 1909 года, — когда революция была временно загнана в подполье, лозунги и тактические средства, к которым прибегала партия в 1905 и 1906 годах, могут казаться утопией. Но, утверждая это, прокурор, очевидно, не считается с той обстановкой и тем общественным настроением, которые существовали несколько лет тому назад. И Н. А. Рожков положительно утверждает, что для своего времени лозунги, выброшенные социал-демократией, были вполне реальны и жизненны.

Обращаясь к своей личной ответственности, Н. А. Рожков признал себя членом Российской социал-демократической рабочей партии, но заявил, что готов нести уголовную ответственность за те организации ее, в которых действительно принимал участие. Он признает, что состоял членом литературной группы. В качестве такового он писал статьи, редактировал различные партийные органы печати, читал лекции. Все это он делал совершенно открыто, легально и за все это принимает на себя полную ответственность, как моральную, так и уголовную.

Таким образом, Н. А. Рожков признал себя принадлежащим к партии и к одной из ее организаций — литературной группе.

---

[1] Трудно, конечно, судить, насколько точно передает автор речь Рожкова на суде. Весьма возможно, впрочем, что так именно Рожков и говорил. Тем более, что на Лондонском съезде, на котором он присутствовал («Вячеслав»), сам Рожков занимал подобную примерно позицию. Не все, однако, большевики разделяли такое мнение. В частности, был очень далек от него Ленин. Фракция большевиков на съезде, как известно, по вопросу о партизанских выступлениях разбилась голосами, но за предложенную меньшевиками и принятую съездом резолюцию, на которую ссылается автор, не голосовал ни один большевик. Против (Ленин, Ярославский и др.) голосовало 35. Воздержалось (в частности Рожков, Зиновьев и др.) 52. Резолюция прошла, как известно (170 голосами) при поддержке национальных группировок и «болота». — *Ч.*

Как увидим позже, это дало возможность нам, защитникам, опираясь на общие положения теории права, отрицать ответственность перед судом Н. А. Рожкова за действия других организаций, хотя и входящих в социал-демократическую партию, но в которых он, Рожков, участия не принимал. Партия и организация составляют понятия различные.

Судебное следствие. Допрос свидетелей протекал вяло и монотонно. Многие подсудимые защищались по отдельным уликам. Другие признавали факты.

Между прочим, был к делу привлечен судебный следователь П. Спасский, которому, как кажется, самому приходилось вести следствия по политическим делам. Он защищался чисто уликовой защитой, устанавливая путем свидетельских показаний, что был слишком занят службой, чтобы заниматься еще революцией. Вызванный защитой, товарищ прокурора Лопухин подтвердил, что П. Спасский был всегда против вооруженного восстания.

Обвиняемый Соколов признал приписываемые ему документы, но объяснил, что они ему нужны были для отчета, который он составлял для комиссии совета рабочих депутатов. Он составил отчет, а документы остались у него.

Лаборант Прозин выставил в качестве свидетелей И. А. Каблукова и Реформатского, которые показали о симпатиях всех товарищей к обвиняемому.

Обвиняемая Старынкевич была захвачена во время работы на гектографе. Она признала открыто факт печатания, но категорически отказалась назвать лиц, для которых и по поручению которых выполняла работу. Для ее общей характеристики был вызван П. П. Лидов, ее родственник, известный политический защитник.

Единственным инцидентом, нарушившим ход следствия, было заявление защиты о том, что конвой мешает нам видеться и говорить с обвиняемыми; подобные свидания всегда составляли непререкаемую прерогативу защиты. Она никогда не нарушалась даже в таких острых процессах, как процесс Каляева. Здесь же конвой по собственному почину не разрешил нам во время перерывов видеться и говорить с подсудимыми.

Нарушение было тем существеннее, что процесс длился много дней; следовательно, все это время мы не могли обсуждать с подсудимыми систему защиты, правильность свидетельских показаний, значение оглашенных документов и многие другие вопросы, без своевременного разрешения которых

не могло быть и речи о выполнении защитою возложенных на нее поручений.

Сначала об этом сделал заявление присяжный поверенный Н. Д. Соколов в устной форме. Председатель присутствия, на котором, конечно, лежит охрана прав сторон во время слушания дела, предпочел, наподобие Пилата, умыть руки в этом щекотливом инциденте. Он ответил, что конвой подчинен не судебной власти, а своему начальству.

После инцидента режим был несколько смягчен, но во всяком случае наше неоспоримое право объяснения с обвиняемыми все время подвергалось стеснениям, так что мы сочли себя вынужденными вторично сделать заявление, на этот раз в письменной форме. Заявление было оставлено без рассмотрения.

Все обвиняемые, независимо от той роли, которую они играли в партии и революционном движении, держали себя с большим достоинством.

Прения сторон. Прокурор с особой тщательностью остановился на личности Н. А. Рожкова. До палаты дошли слухи, не фигурировавшие, впрочем, официально в деле, что в лице Рожкова она имеет дело с членом Центрального комитета партии большевиков. [1]

Свою речь прокурор начал с выпадов против партии за ее будто бы заговорщический и утопический характер, а также за партизанщину и допущение экспроприаций.

Здесь прокурор цитирует фразу, в пылу полемики сорвавшуюся у основоположника русского марксизма по адресу большевиков, которых Плеханов назвал «анархо-социалистами». Прокурор не преминул сделать из этой фразы вывод, что даже внутри рядов социал-демократии большевиков упрекают в анархических методах действия.

Далее прокурор старается разбить позицию обвиняемых и их защиты. Принадлежащий к партии должен считаться принадлежащим к организациям. [2] В частности, что касается Рожкова, то он сам признал свое участие в литературной группе и в редактировании «Светоча». А что «Светоч» является чисто партийным органом, прокурор стремится доказать фактом обсуждения его направления Московским коми-

---

[1] Большевиков, как отдельной партии, к этому времени не было. Не было и особого большевистского ЦК. В объединенном же ЦК Рожков, равным образом, не состоял. — *Ч.*

[2] Прокурор, конечно, правильнее истолковывал устав с.-д. партии, чем это делали отдельные защитники, не исключая, видимо, и автора. — *Ч.*

тетом партии. А именно: комитет нашел, что «Светоч», во-первых, ведется чересчур туманно, недоступно для средней рабочей массы и отвлеченно. А, во-вторых, что «Светоч» слишком увлекается борьбой с кадетами, благодаря чему оставляет в тени главного врага рабочего класса — самодержавие.

Такая резолюция могла относиться только к органу чисто партийному и, следовательно, по утверждению обвинителя. Рожков принимал участие в партийных организациях и подлежит ответственности по 102 ст. угол. ул.

Из защитников первым говорил Н. Д. Соколов, присяжный поверенный, приехавший на этот процесс непосредственно из Петербурга в виду того значения, какое придавалось делу в партийных кругах.

Речь Соколова состояла из двух частей: политической и юридической. В своей политической части Николай Дмитриевич доказывал, что социал-демократическая партия есть подлинная рабочая партия. В политической части Н. Д. Соколов не без юмора указал на то, что прокурор не ограничивается предъявлением к подсудимым уголовного или хотя бы морального обвинения, но идет дальше. Он обвиняет их в затемнении классового самосознания рабочего класса, даже в измене догме марксистского миросозерцания и в незнании основных положений социал-демократической партии. Заботливость трогательная!

Далее Н. Д. Соколов утверждает, что социал-демократическая партия есть подлинная рабочая партия и что каждый раз, когда рабочим представлялась возможность высказать свои убеждения (что случалось очень не часто), они неизменно голосовали за социал-демократов. Так было с комиссией Шидловского в 1905 году; так было и во всех трех государственных думах.

По нашему избирательному закону рабочие выбирали только выборщиков. Депутатов из среды выборщиков избирало губернское избирательное собрание, с колоссальным преобладанием помещиков и крупной буржуазии. Таким образом, депутатов рабочих из среды их выборщиков избирали помещики и капиталисты. Если бы во всей России был хоть один выборщик рабочий беспартийный, несомненно он и был бы выбран.

— Таким образом, то обстоятельство,— восклицает Н. Д. Соколов, — что в думе все делегаты рабочих оказались социал-демократами, доказывает, что на пространстве всего госу-

царства не нашлось ни одного выборщика от рабочих, который не был бы социал-демократом.

Во всех случаях, когда правительство желало фальсифицировать рабочее движение, как это было, например, при Трепове и Зубатове, всегда и всюду рабочие переходили под водительство социал-демократии.

В юридической части своей речи Н. Д. Соколов развивает точку зрения, что принадлежность к партии еще не составляет принадлежности к организации. Аргумент — несколько казуистический. Но некоторые внутренние противоречия решений 2 съезда дали повод к такому толкованию.

Вторым говорил я. Моя речь точно так же состояла из двух частей. В первой части я доказывал юридическое положение, что социал-демократическая партия должна привлекаться по 126 ст., как за смуту, а не по 102 ст., т. е. не как за организацию, которая создалась для поднятия непосредственного восстания.

И уже совершенно недопустимым я считал привлечение членов литературной группы по 2-й части 102 ст. Угол. уложения, предусматривающей такие организации, которые имели в своем распоряжении склады оружия или взрывчатые вещества.

— Никаких складов оружия, никаких бомб литературная группа не имела, — говорил я. — Единственное оружие, которым она владела, были перья, и единственным взрывчатым веществом, которым она располагала, была революционная мысль. А для меня совершенно несомненно, что каждый подсудимый может отвечать только за ту организацию, членом которой он был, а не за все организации, входящие или даже входившие в социал-демократическую партию.

Во второй части своей речи я касался отдельных улик, выдвинутых против обвиняемых, которых я защищал, в частности против Стефании Кондратенко.

Я доказывал, что при рассмотрении дел, возникших в революционные годы, надо принимать всю совокупность обстановки, что тогда власть отсутствовала, а нормы жизни были расшатаны. — По какой же логике, по какой системе справедливости, — воскликнул я, — вы всю разруху, бессилие права, шатание власти, весь падающий купол рушащегося здания хотите взвалить на плечи этой девушки!

П. Н. Малянтович и Н. К. Муравьев, кроме защиты своих клиентов, среди них первый — Рожкова, а второй — Мещерякова, еще раз возвращались к юридическим темам, затронутым процессом.

Приговор. Приговором Московской судебной палаты подсудимые: Будагова, Берковиц, Веселова, Водолацкий, Гаврилова, Грецова, Куликов, Матьесевич, Мещеряков, Мечникова, Покровский с сестрой, Покровской Н., Пржебаревский, Рожков, Соколов В., Соколова Е., Спорышев и Кантрев были приговорены к ссылке на поселение по лишении всех прав состояния.

Остальные подсудимые были приговорены к заключению в крепости на разные сроки. И только очень немногие были оправданы.

Так закончился один из самых значительных процессов социал-демократической партийной организации, охватившей как большевиков, так, отчасти, и меньшевиков.

Заключение. Первое, что бросается в глаза, это — отсутствие эффектных моментов в деле. Следует сказать, что оно составляет общее свойство всех социал-демократических процессов того времени. Все они носили будничный, чисто деловой характер до тех пор, пока на суд не врывались массы. Тогда картина быстро менялась.

Печатание, составление рукописи, доставка литературы — все это отступало на второй план перед живым подъемом революционной рабочей массы, в значительной степени явившейся следствием по внешности незаметной комитетской работы.

Во-вторых, в нашем процессе мы встречаемся с объединенными организациями большевиков и меньшевиков чисто партийного и комитетского характера. Позже раскол, раз начавшись, углублялся все больше и больше. Общая работа еще долго будет возможна, но общее руководство, как кажется, вскоре перестало существовать.

В-третьих, суды, как мы видели, снисходительно относившиеся к временным революционным организациям, в социал-демократии уже начали чувствовать своего непримиримого врага и начали с этим врагом борьбу на уничтожение. Сентиментальность первых лет смуты была отброшена. Социальная борьба обнажалась.

Наконец, в-четвертых. По крайней мере в первые годы после революции, несмотря на всю тяжесть свинцовой тучей нависшей реакции, социал-демократические организации продолжали функционировать более или менее правильно.

ПРОЦЕСС КОНДРАТЕНКО В ВОЕННОМ СУДЕ

Процесс Кондратенко в военном суде. В процессе социал-демократов, который я только-что излагал,

фигурировала, между прочим, С. Кондратенко. Ее роль в большом процессе ничем не выдавалась. Кондратенко была из тех самоотверженных, прекрасных, но скромных русских натур, которые готовы жертвовать собой, своим временем, итти в ссылку, на каторгу, иногда на эшафот за свои революционные идеи и в то же время стыдливо прячутся в толпе до тех пор, пока «божественный глагол до слуха чуткого коснется», пока не пробьет их час.

Я имел возможность наблюдать ее именно в одно из таких мгновений, когда от нее требовался весь героизм, и я видел, как скромно, красиво и просто она его проявляла. На этом процессе я считаю нужным остановиться, как на сценке с натуры, красочно рисующей наш военный суд, порядки, в нем царившие, и случайности решения вопроса жизни и смерти. Не говоря уже о том, что дело имеет интерес и само по себе.

Кондратенко, по излагаемому нами процессу, содержалась в июле 1906 года в Пречистенском полицейском доме вместе с многими другими политическими заключенными. Был задуман побег. Предположено было связать караул, состоявший из жандармских унтер-офицеров, и в то время, когда одна часть заключенных свяжет и обезоружит конвой, другая пустится бежать. Само собой разумеется, что С. Кондратенко была именно среди тех, кто должен был рисковать собой и бороться со стражей.

Далее предоставим слово одному из связанных жандармов, Николаю Каплину:

— Стоял в этом доме впервые. Камеры были открыты, и арестованные гуляли свободно. Сзади меня схватил толстый мужчина, а остальные напали вокруг, стали меня душить, стараясь повалить. Крикнули, чтобы помочить полотенце и мне в рот заткнуть. Действительно, одна из женщин стала мне совать в рот мокрое полотенце. Нападение было сделано с очевидной целью задушить меня....

Далее, при предъявлении, Каплин показал:

— Предъявленную мне Стефанию Кондратенко признаю за ту женщину, которая совала мне в рот мокрое полотенце.

Сама Стефания Кондратенко дала совершенно нелепое показание: будто бы она увидела жандарма в крови и плачущего. Тогда она бросилась утирать ему слезы.

Я много смеялся над этим показанием, говоря, что император Николай I дал шефу жандармов Бенкендорфу платок, чтобы утирать слезы вдов и сирот; но что ни один царь

не давал политическим заключенным полотенца, чтобы они утирали слезы жандармам.

Как бы то ни было, Кондратенко, единственная опознанная жандармом, была предана военному суду по знаменитой 279 ст. св. воин. постановлений. Ей грозила смертная казнь. Защищали Кондратенко в военном суде мы вдвоем: мой большой друг Яков Богданович Якулов, которому не один обвиняемый в военном суде обязан своей жизнью, и я. Председательствовать должен был один из самых суровых судей Милков. Якулов, всегда в военном суде действовавший за кулисами, так ему надоел беспрестанными просьбами за Кондратенко, что однажды генерал не выдержал и обратился к своему товарищу, судье Минину:

— Он мне так надоел со своей Кондратенко, что у меня пропала всякая охота возиться с этим делом. Прийми его к своему производству.

Генерал Минин хотел было отказаться, но Якулов, бывший с ним в самых лучших отношениях, сильно надавил ему ногу под столом, и Минин сдался.

Эта минута решила судьбу Кондратенко и спасла ей жизнь. Минин был до некоторой степени противоположностью Милкову. И если Милков перед делом Кондратенко ходил по суду и грозил «повешу», при чем делал ударение на «о», то раз дело поступило к Минину, можно было уже не опасаться за жизнь Кондратенко.

Долгосрочная, а, может быть, и пожизненная каторга все же ей грозила, в особенности, если бы Каплин явился на суд и в упор подтвердил показание, данное им на предварительном следствии, т.-е., что, во-первых, его хотели задушить, а, во-вторых, что душила его именно Кондратенко.

Надо было сделать так, чтобы Каплин не явился на суд, тем более, что к тому времени он уже демобилизовался. Тут опять положение спасла находчивость, а главное беззаветная смелость, чтобы не сказать сильнее, нашего общего любимца «Яши Якулова».

Сидя спокойно в кресле своего кабинета, он вызывает к телефону пристава той части, где проживал во время службы жандарм Каплин и где он теперь заведомо больше не жил. Тоном генерала, привыкшего приказывать, Якулов говорит приставу:

— С вами разговаривает председатель военного суда.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Я направил вам повестку для вручения Каплину. Вру-

чите ее немедленно. Если же его на прежнем месте жительства не окажется, немедленно же переправьте ее мне с надписью, что, несмотря на принятые меры, разыскать свидетеля не удалось. Сделайте это без всяких розысков, а то защита хочет сорвать дело.

— Будет исполнено, ваше превосходительство.

Все произошло как по-писанному.

За безвестным отсутствием свидетеля дело слушалось по его письменным показаниям, что, когда имеешь дело с благожелательным председателем, далеко не равносильно живому свидетелю. Разбить мертвый материал нам ничего не стоило, тем более, что действительно намерения задушить жандарма у Кондратенко не было.

И все-таки и я и Якулов сильно волновались, и час совещания судей стоил нам немало нервов. Единственный человек, который сохранял полное спокойствие, была сама Кондратенко. Я прямо поражался ее выдержке.

Кондратенко была оправдана.

После подобной встряски основной процесс об участии в социал-демократической партии, слушавшийся теперь в судебной палате, казался нам совершенными пустяками. И действительно, Кондратенко в принадлежности к партии была оправдана, а обвинена лишь в хранении или распространении литературы и была освобождена по зачете предварительного заключения.

ГЛАВА XIV

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Индивидуальность — психологическая основа партии социалистов-революционеров. — Михайловский. — Герои и толпа. — Противопоставление социал-демократам. — Отзыв члена палаты о Рожкове. — Внеклассовый характер социалистов-революционеров. — Общее и различное у них с «народной свободой». — Террор. — Спор Плеханова с Желябовым о терроре. — Короленко — противник террора. — Покушение на Александра III после разгрома «Народной Воли». — Изменение общественных отношений ко времени появления боевой организации. — Релятивное значение террора. — Гершуни и Ремянникова. — Характеристика Гершуни. — Уход Гершуни в подполье. — Арест Гершуни. — Предатели Кочура и Григорьев. — Их характеристика. — Роль Азефа. — Тщеславие Григорьева. — Рассказ Григорьева. — Покушение на Победоносцева. — Трусость Григорьева. — Инсинуации на революционеров. — Объяснения Гершуни. — Центральный комитет и боевая организация. — Защита и приговор. — Помилование Гершуни и его судьба. — Побег Гершуни. — Русская охранка в Париже.

Индивидуальность и массы. Основой партии социал-демократов были массы, даже в тот момент, когда масс в революции еще почти не существовало. Вся тактика, больше того, вся психология партийного работника строилась на предположении, что выявляться во-вне должны массы, а личность растворяется в этих массах. Такой характер партии из принципа переходил в психику работника социал-демократа и определял собой его поведение не только в жизни, но и на суде.

Напротив того, родоначальниками философии партии социалистов-революционеров, с их культом индивидуальности, несомненно, были Михайловский, Лавров. Там, у истоков их философии, в таких произведениях, как: «Борьба за индивидуальность», «Герои и толпа», «Что такое прогресс» и другие, на основе субъективного метода в социологии, формировался склад миросозерцания и всего характера социалиста-революционера.

Партия социалистов-революционеров не могла не базироваться на массах, но самые массы рисовались ей, как агломерат индивидуальностей, как совокупность «героев», конечно, в философском понимании этого термина.

Боевая организация партии социалистов-революционеров и боевая деятельность этой партии всецело были построены на «роли личности в истории».

Отсюда — глубокое различие в перводвигателях психики обеих партий. Отсюда же — разница их революционной тактики, всего характера деятельности, вплоть до поведения на скамье подсудимых.

Террористическая деятельность еще более культивировала преклонение перед личностью, перед героем. Она переносила центр тяжести с масс на индивидуальность. Действует террорист, личность; масса пассивно получает революцию в готовом виде. Мало этого, террорист действует на виду, на глазах у всего общества; на нем, как в фокусе, сосредоточиваются лучи внимания всего народа. Герой в философском смысле превращается в героя в буквальном смысле слова.

Этим определяется не только работа члена партии, социалиста-революционера в жизни, но и его поведение на суде. Сидя на скамье подсудимых, он смотрит на себя не как на каплю, почерпнутую из моря, а как на представителя морской стихии. Отсюда некоторая приподнятость его поведения на суде. Он — не инструктор кружка, не передатчик литературы, он — «народный мститель».

Это — психология слабости масс и потому — силы личности. Европейская социал-демократия изжила подобный период; наиболее блестящим его выразителем был Лассаль. Уже Карл Маркс при всей роскоши своих дарований входит в массовое движение. Мы не говорим об Энгельсе, Бебеле и других, которые, обладая не меньшими талантами, чем Лассаль, совершенно растворялись в массовом движении, были первыми из равных.

Возвращаясь с одного из заседаний по делу Рожкова после объяснений, которые давал Николай Александрович, я случайно слышал отзыв одного из членов палаты о том впечатлении, которое произвел на него Рожков. Судья был, видимо, разочарован. Он слышал, что Рожков является одной из крупнейших фигур партии, а между тем пред палатой предстал человек, ничем не выделяющийся из общей массы подсудимых.

— И ведь Рожков, говорят, у них член Центрального комитета! — говорил судья своему собеседнику.

Мне припомнилась по этому поводу фраза Бисмарка, брошенная им социал-демократической фракции в рейхстаге:

— Вы говорите о Лассале. Если бы Лассаль мог воскреснуть и появился здесь между вами, он чувствовал бы себя, как орел в курятнике!

Бисмарка, как и нашего члена палаты, вводило в заблуждение одно и то же обстоятельство в разных проявлениях. Лассаль был индивидуалист, герой; Рожков — член массовой партии. Лассаль, может быть, хотел, а, может быть, вынужден был вести за собой; Рожков желал итти вместе, нога в ногу, сомкнутым строем. Мы, конечно, не говорим здесь о разнице размеров дарований между тем и другим. Мы говорим о разнице их положения и их психики.

Эльбрус, помещенный в хребте, был бы самой высокой в нем горой; помещенный особняком, он становится «вершиной», героем соплеменных гор. То же и с человеком.

Мы остановились на разнице философского настроения двух социалистических партий, постепенно перешедшей в разницу их психического настроения: с одной стороны — «героев», с другой — «толпы», массы.

В н е к л а с с о в ы й х а р а к т е р п а р т и и. Теперь о социальном базисе. Верные учению о классовой борьбе, доводя это учение до его крайних пределов, социал-демократы отдали себя на служение одному классу — рабочих. Они строили партию чисто классовую.

Напротив того, партия социалистов-революционеров была даже не механическим соединением, а химическим сродством различных классов. Сознательно или бессознательно, это была партия блока для борьбы с монархией, как партия народной свободы была блоком для борьбы с самодержавием.

Один литератор сказал мне:

— Социалисты-революционеры — расплавленные кадеты, а кадеты — охлажденные социалисты-революционеры.

Мой собеседник был не совсем прав. Сущность разницы состояла в преданности социалистов-революционеров интересам мелкой буржуазии, по преимуществу крестьянства.

Субъективно убежденная в своем социализме, партия социалистов-революционеров была социалистична в современном европейском смысле слова, т. е. партией крайнего радикализма, с ударением на крестьянские интересы. Социализм, как противоположение рабочего класса всем другим классам, был ей совершенно чужд.

Т е р р о р. Террор, как орудие борьбы с царизмом, не был

изобретением социалистов-революционеров. Партия подхватила оружие, выпавшее когда-то из рук смертельно раненой «Народной Воли»:

Ни одно из тактических средств не порождало столько споров в революционной среде, как террор. Здесь, в мемуарном очерке, не место углубляться в эти старые дебаты. Но, во избежание недоразумений, которые могут возникнуть у читателя при чтении террористических процессов, изложим в нескольких словах нашу точку зрения.

По нашему мнению, когда старое общество уже беременно новым, если притом оно находится уже на восьмом или девятом месяце своей беременности, то всякое внешнее воздействие, направленное против старого строя и его представителей, может облегчить роды. В этом отношении террор ничем не отличается от всякого другого механического воздействия, напр., внешнего поражения, финансового кризиса, голода и пр. Все это, подобно хирургической операции, может дать толчок и срезать затвердевший покров, под которым уже не только образовалась, но и созрела новая жизнь. Этот свой взгляд, как читатель увидит, я изложил в своей речи по делу Каляева.

Этим на наш взгляд и исчерпывается значение террора. Придавать ему более серьезное значение возможности во всякое время и при всяких условиях воздействовать на правительство значит воображать, что любая сплоченная кучка террористов в любой момент может заставить правительство осуществить ее программу.

У входных и выходных врат римской свободы и республики стояли два Брута. Брут первый ударом кинжала освободил Рим от тиранов; Брут второй вместо Цезаря дал Августа. «Народная Воля», при всем своем героизме, революционном гении и жертвенности, не могла достигнуть цели потому, что переворот не назрел еще ни экономически, ни политически.

П л е х а н о в о т е р р о р е. Плеханов передавал мне, что он доказывал Желябову бесполезность террора.

— Предположим, — говорил Желябову Плеханов, — вам удастся убить Александра II, что вы этим достигнете? Александра с двумя палками вы замените Александром с тремя палками!

Увы, эти слова оказались гораздо более пророческими, чем даже думал сам Плеханов, когда их произносил. Если Александр II бил Россию двумя палками, то Александр III для такой цели не жалел всех трех.

К о р о л е н к о о т е р р о р е. Против террора были на-

строены и старые народники, никогда его не одобрявшие. Так, В. Г. Короленко рассказывал мне беседу с видным чиновником Департамента полиции еще в то время, когда Короленко сидел в тюрьме. Очевидно, чувствуя перед собою крупного человека, полицейский чиновник ударился в философию.

— Когда революционеры шли в народ безоружными, с одной только проповедью и пламенной верой, мы их не понимали, но как-то безотчетно боялись. Но когда они взяли в руки револьвер, наш страх прошел. Стреляем мы лучше, да и пороха у нас больше.

Не знаю, до какой степени был искренен полицейский чиновник в своем предпочтении невооруженного революционера вооруженному, но В. Г. был, конечно, искренен, доказывая бесполезность террора и даже вред его [1].

Следующий террористический акт крупного масштаба был задуман уже в 1887 году, т. е. после разгрома партии «Народная Воля», не сформировавшейся революционной партией. а группой учащейся молодежи с Ульяновым, Лукашевичем и Шевыревым во главе.

Мы говорим о так называемом втором «первом марта». Назвала себя эта группа террористической фракцией партии «Народной Воли» и отличалась от старой партии в идеологическом отношении значительным уклоном в сторону социал-демократии.

Лично я был очень близок к этой группе, работал вместе с ними в студенческих революционных делах, но был раньше арестован и выслан из столиц. По своим взглядам того времени мы были на рубеже народовольчества и марксизма.

Затем террор надолго замолкает, чтобы воскреснуть вновь в лице боевой организации партии социалистов-революционеров в конце прошлого столетия.

Различие революционных сил в эпоху террора «Народной Воли» и боевой организации с.-р. Террор всегда террор; не было большой разницы в террористической тактике социалистов-революционеров и партии

---

[1] Взгляды автора на террор нельзя не признать изрядно путаными. С одной стороны, он высказывается за допустимость террора при известных условиях. С другой стороны, он сочувственно ссылается на Плеханова, доказывавшего «бесполезность террора». Больше того, он ссылается и на Короленко, считавшего террор даже «вредным». При этом, его явно не интересует аргументация обоих. В то время, как Плеханов исходил из определенного принципа — революционной целесообразности, идеалист и гуманист Короленко был против террора, как «насилия вообще». — *Ч.*

«Народная Воля». Зато какая огромная разница в окружающей обстановке, в настроении общества, а главное — в активности масс.

Революционная волна начала вздыматься с последних лет прошлого столетия, и вплоть до 1906 года темп этого подъема все усиливался.

И в эту-то вздымающуюся волну революции врезался террор.

Правительство, теснимое со всех сторон, царь, утративший всякую популярность, напрасно ищут опоры в какой-либо части населения. Везде их встречает враждебное отношение, в лучшем случае равнодушие. Кучка своекорыстных слуг, всеми презираемых, выродившаяся часть дворянства, «жадной толпой стоящая у трона», неспособная никого поддержать и, напротив, в правительстве ищущая поддержки.

При таких условиях, в особенности, если принять во внимание слабую личность самого монарха, террор мог увеличить затруднения правительства. Царь после убийства Плеве бросается в объятия его антипода, Святополк-Мирского, чтобы после январских расстрелов призвать Трепова. Дальше — от Трепова к Витте и от Витте к Дурново, Столыпину.

Каждый раз угол колебаний в восемьдесят градусов.

В подобном сумасшедшем доме власти начали разрываться бомбы социалистов-революционеров. Террор был и центральный: убийство Плеве, Боголепова, Сипягина, великого князя Сергея Александровича, Римана и др., и местный: убийство губернатора Богдановича, как ответ на златоустовскую бойню, покушение на князя Оболенского, харьковского губернатора, перепоровшего крестьян, на Луженовского, выстрел Спиридоновой...

Кульминационной точкой успеха террористической деятельности следует считать убийство Плеве и Сергея Александровича.

Удача этих актов в значительной степени может быть объяснена тем двойным предательством, которым отличалась деятельность Азефа, с одной стороны, главы боевой организации социалистов-революционеров, а с другой — видного сотрудника охранного отделения и Департамента полиции.

Конечно, деятельность партии социалистов-революционеров не ограничивалась одним террором. Партия вела пропаганду, которая в рабочей среде по влиянию уступала социал-демократической, но зато имела успех в деревне и среди мелкой буржуазии городов. Мы уже приводили процесс саратовской

манифестации, в значительной степени устроенной социалистами-революционерами; мы могли бы привести много других процессов, как комитетов, так и пропаганды среди крестьян и военных, но так как главную свою популярность партия приобрела террором, то мы изложим в качестве характерных для нее два процесса: Гершуни и Каляева.

ПРОЦЕСС БОЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Процессы боевой организации партии социалистов-революционеров всегда проходили при повышенном интересе как правительственных, так и общественных кругов. Правительственных — потому, что террор, независимо от того, содействует или нет он революции, во всяком случае угрожает персонально лицам, занимающим высокие посты. Общественных — потому, что люди, не желающие или не могущие бороться сами, всегда рады свалить это бремя на другие плечи.

Этим отчасти объясняется интерес широких общественных и правительственных кругов к процессу Гершуни.

Гершуни и Ремянникова. Из всех лиц, преданных суду по делу боевой организации, особенное внимание обращал на себя, конечно, Гершуни. Это был несомненно крупный человек твердого и сильного характера.

Очень симпатичное впечатление производила Ремянникова. С большой похвалой отзывался о ней даже один из временных военных судей, князь Трубецкой, флигель-адъютант царя. Я помню, он все спрашивал у меня, каким образом обвинительный акт предъявляет к ней обвинение в участии в боевой организации, когда ее в этом «никто не упрекает». Подлинные слова Трубецкого, сказанные им мне в перерыве заседания.

Ремянникова, защитником которой я являлся, была из тех скромных, незаметных тружениц революции, которые тихо, покорно выполняют свой долг, идут на каторгу, всходят на эшафот, если это нужно, но которые не бросаются в глаза и сами не ищут эффектных поз и положений.

Мельников, один из сподвижников Гершуни, на процессе не выявился с достаточной ясностью. Держал он себя хорошо, но производил какое-то немного сумбурное впечатление. Впрочем, может, это была намеренная маска.

Таким образом, на скамье подсудимых две фигуры сосредоточивали на себе внимание, хотя по диаметрально противоположным причинам. Это, во-первых, Гершуни, о котором мы сейчас говорили, и, во-вторых, — предатель Григорьев.

Сдержанный и сосредоточенный, Гершуни производил впечатление очень умного человека. Он не был оратором, но то, что он думал и чувствовал, он умел передать в связной, логически-последовательной форме. Логика его мысли невольно захватывала слушателя. Свои объяснения Гершуни давал методически, не торопясь и не волнуясь, точно он делал доклад на заседании ученого общества, а не говорил перед судом, от которого зависит его жизнь или смерть.

К Гершуни, как и к другим обвиняемым, было предъявлено обвинение в принадлежности к сообществу, поставившему себе целью ниспровержение существующего строя, которое имело в своем распоряжении бомбы и взрывчатые вещества, совершило целый ряд террористических актов, а именно: убийство губернатора Богдановича, виновника златоустовской бойни рабочих; покушение на харьковского губернатора Оболенского, перепоровшего крестьян в Валках, Полтавской губернии; убийство министра внутренних дел Сипягина и целый ряд других террористических актов.

Гершуни не отрицал ни своего участия в партии, ни участия во всех приписываемых ему преступлениях. Защита его носила не фактический, а политический и отчасти моральный характер. Последнее было тем более необходимо, что предатель Григорьев, стремясь смягчить гнусность своего поступка, старался очернить Гершуни, как человека, любящего в огонь посылать других, самому же прятаться за чужие спины.

У Гершуни не было яркости Желябова или энтузиазма Каляева, но за его спокойной речью чувствовалась несокрушимая последовательность действий.

По большей части люди втягиваются в революцию и в особенности в подполье постепенно, спускаясь туда со ступеньки на ступеньку. Совершенно иначе поступил Гершуни. Живя и работая в провинции, он задумывается над несправедливостью социального и политического строя и приходит к непоколебимому убеждению, что легальной деятельностью их устранить нельзя.

Гершуни решает перейти на нелегальное положение. Он не втягивается в революцию силой событий, — сознательно и твердо он идет в подполье. Здесь он обнаруживает недюжинный организаторский талант и выдвигается в первые ряды партии. Для себя он выбирает деятельность, связанную с наибольшим риском. Он вступает в ряды боевой организации. Скоро он становится ее главой.

Ряд удачных покушений, смело задуманных и талантливо

выполненных, окружают его имя ореолом у одних, ненавистью и проклятием у других. Правительство долго и напрасно старается его схватить.

В конце-концов Департаменту полиции это удается. Он впоследствии тщательно заметает следы, приведшие его к аресту Гершуни. Выдвигается официальная версия, специально предназначенная для завуалирования истинного предателя.

Арест Гершуни. По официальным данным, Департамент полиции получил сведения, что в Киеве ожидается приезд видного государственного преступника. За поездами, прибывающими в Киев, устанавливается усиленная слежка, и один из агентов наружного наблюдения случайно по фотографической карточке узнает Гершуни.

Уже много спустя после процесса, когда Азеф был разоблачен, мы узнали, как происходили события в действительности. Гершуни был предан своим ближайшим товарищем по партии и работе Азефом. Что же касается до слежки в вагоне, то она была лишь декорацией.

Слежка происходила настолько декоративно, что Гершуни ее прекрасно заметил перед самым Киевом и спрыгнул с вагона. Тщетная предосторожность. Вслед за ним спрыгивает и агент. Гершуни арестован. Его заковывают в кандалы и отправляют в Петербург.

Предатели Кочура и Григорьев. Там начинается следствие. Гершуни говорил мне в перерыве заседания, что он был несказанно изумлен осведомленностью охранного отделения. Но источник осведомления от него тщательно скрывают. Ссылаются на предательство рабочего Кочуры и Григорьева.

Оба последние являются настолько интересными фигурами, что несколько слов посвятить им во всяком случае стоит.

Кочура — рабочий. Когда-то твердый революционер. Организуя покушение на князя Оболенского, Гершуни остановил свой выбор именно на Кочуре, как человеке с железными нервами.

Кочура долго упражнялся в стрельбе и готовился к своей роли физического выполнителя покушения. Тем не менее он промахнулся.

Вскоре он был арестован. Что произошло потом, это тайна самого Кочуры и охранного отделения. Известно одно: старый, заслуженный революционер Кочура на дознании не только сознался сам, но и выдал своих друзей.

На заседание суда он был вызван в качестве свидетеля.

Помню то нервное напряжение, с которым и мы, защитники, и обвиняемые, в особенности Гершуни, ожидали появления Кочуры на месте для свидетелей.

Как? Что? Почему? Почему твердый и, казалось, закаленный революционер стал вдруг, если не провокатором, то во всяком случае предателем? Как «дошел он до жизни такой»? Как будет держать себя на суде? Поддержит ли оговор, смотря прямо в глаза своим былым друзьям, или отречется от него?

В зал вошел или, вернее, был введен конвоем человек с низко опущенной головой, с упорным, смотрящим в сторону взглядом. Он угрюмо насторожился, явно избегая смотреть в сторону Гершуни. Голос глухой. На все вопросы отвечает крайне неохотно. Видимо, сильно страдает, но все-таки поддерживает все показания, данные на дознании.

Таким образом, наша надежда, что в последнюю минуту, лицом к лицу со своими товарищами, Кочура дрогнет, не оправдалась. Страдал не один Кочура. Я взглянул на Гершуни: его лицо было искривлено от боли. В перерыве Гершуни сказал мне, что Кочура все-таки не все выдал, что знал. Он искал хотя какого-либо утешения. Кочуру увели. Настала очередь другого предателя, сидевшего на скамье подсудимых. Этот был гораздо хуже и опаснее. Он выдавал с какой-то бравадой сознания своей правоты. Речь идет об офицере Григорьеве.

Там, где для Кочуры была драма, там для Григорьева была простая перемена позиции. Один был подлинный революционер, пошедший в революцию вследствие классового самосознания. Другой пошел туда под влиянием даже не честолюбия, а мелочного тщеславия. Захотелось играть роль. Один боролся за класс, другой — за проявление своей великолепной личности. Один пал после борьбы с собой и жандармами, другой даже не пытался бороться. В день ареста Григорьев уже дает свои показания.

Р о л ь А з е ф а. В свое оправдание Григорьев рассказывает, что на первом же допросе жандармы обнаружили полную осведомленность во всем деле и что именно это и заставило его дать «откровенные» показания. От Григорьева будто бы требовалось одно: подтверждение того, что известно и без него.

Во время процесса я был убежден, что Григорьев нагло врет. Но после разоблачения роли Азефа в партии и Департаменте полиции я сильно изменил свое мнение. Несомненно, что Департамент полиции был осведомлен обо всем через Азефа. Но жандармы не могли и не желали проваливать такого крупного провокатора, каким был Азеф. Им надо было во что бы

то ни стало сведения, полученные агентурным путем, провести через показания свидетелей и подсудимых. Кочура, а затем Григорьев оказали именно такую услугу. Участие в этом деле Азефа становится тем очевиднее, что Григорьеву в первый же день были предъявлены факты, о которых Кочура не имел никакого понятия.

Мы уже говорили, что Григорьева в революцию толкнуло чувство тщеславия. «В чине поручика Наполеоном не сделаешься», пишет он любимой женщине. А сделаться Наполеоном ему очень хочется! Он читал, что Наполеон был поклонник Робеспьера и выдвинулся благодаря революции. Он не понял разницы между той стадией французской революции, в которой ее застал молодой артиллерийский поручик, и той стадией, которую тогда переживала Россия. Тщеславный и легкомысленный, Григорьев очертя голову бросается в пучину революции, рассчитывая вынырнуть из нее Наполеоном.

Это был авантюрист чистой воды. Поэтому его влечет террористическая деятельность, по самой своей природе связанная с авантюрой. Но даже у таких людей, как Савинков, я уже не говорю о Каляеве или Гершуни, в душе было кое-что крупное. У Григорьева же ничего за душой не было.

Он мечтает о лаврах, а революционера того времени ждали тюрьма, каторга и эшафот.

Арестовали Григорьева по какому-то пустому поводу, и если бы он все отрицал, то весьма вероятно, что скоро очутился бы на свободе. Но с этой слякотью опытным жандармам легко было добиться «чистосердечных» показаний. Немного угроз, немного хитрости, несколько сведений, почерпнутых от Азефа, и — до смерти перепуганный Григорьев все выдает.

Он рассказывает не только свои дела, но и помышления.

Рассказ Григорьева. Покушение на Победоносцева. Григорьев рассказывает не только дела свои, но и помышления.

Рассказывает он, между прочим, как он готовился убить обер-прокурора святейшего синода Победоносцева, когда-то бывшего центральной фигурой реакции.

Григорьев познакомился с главой боевой организации Гершуни. До этого он был рядовым членом партии. Он настойчиво просит Гершуни поручить ему совершение террористического акта, но Гершуни упорно не соглашается. Ему жаль Григорьева, и он не считает молодого офицера, только недавно вступившего в партию, достаточно подготовленным для ответственного поручения.

Но вскоре настойчивыми просьбами Григорьев добивается своего. Гершуни согласился поручить Григорьеву убийство Победоносцева.

Эту интимную сторону дела я знаю от Гершуни; Григорьев на суде не только не рассказал ее, но, напротив, создал прямо противоположную версию. Впрочем, об этом после.

Убийство Победоносцева должно было совершиться на похоронах павшего от боевой организации министра (кажется, Сипягина).

И вот Григорьев с бомбой в руках — на похоронах. Он идет в процессии и видит Гершуни одетым с иголочки в цилиндре. Гершуни шел за гробом.

Григорьев пробирается к карете Победоносцева, приближается к ней. Еще минута, и роковая фигура правительства Александра III и Николая II взлетит на воздух. Григорьев внезапно поворачивает и идет... в ресторан выпить бутылку пива.

Наш герой, идя в процессии, видел себя уже на эшафоте, а, может быть, и в гробу. По крайней мере, по его словам, здесь, за бутылкой пива, он почувствовал себя воскресшим из мертвых и снова вернувшимся к жизни.

Картина этого неожиданного воскресения была так ярко зарисована на суде Григорьевым, что его защитник именно ею аргументировал правдивость показания обвиняемого.

— Для того, чтобы сочинить такую картину переживаний, надо быть Достоевским! — воскликнул защитник.

Таким образом, покушение не состоялось. Оправдываясь потом перед Гершуни, Григорьев, по его словам, сказал, что был оттерт толпой.

Так печально кончилась карьера кандидата в Наполеоны.

Хуже всего было то, что он не остановился не только перед предательством, но и перед инсинуациями по адресу революции вообще и по адресу Гершуни в частности.

Инсинуации на революционеров. Григорьев подчеркнул, что когда он шел на убийство и смерть, Гершуни «разгуливал в великолепном туалете» и в цилиндре. Тему эту до конца использовала защита Григорьева. Она была, видно, очень удобна для обстрела вождей революции вообще и сидящих на скамье подсудимых в частности. Бульварная картинка революционных верхов, разгуливающих в смокингах и цилиндрах, в то время как подстрекаемая молодежь гибнет в тюрьмах, была полностью использована Григорьевым и его защитой.

Они обрушились на Гершуни не только с уголовной точки

зрения, даже не только с политической, но, что было очевидно для него больнее всего, с точки зрения морали.

Григорьева может всякий обвинять в предательстве, но только не партия социалистов-революционеров, только не революционеры вообще и в особенности только не Гершуни. Григорьев пришел к ним с чистой душой и открытым сердцем, неопытным молодым человеком, а что они с ним сделали? Если бы Победоносцев был убит, то Григорьев прямо с похорон попал бы в крепость, двери которой для него открылись бы только перед эшафотом. А Гершуни в это время преспокойно в своем цилиндре разгуливал бы по Невскому и Морской.

Гершуни, не дрогнув, выслушал свой смертный приговор; но возражая на это чисто моральное обвинение, он разрыдался. Потребовался перерыв заседания, чтобы он мог окончить свою речь.

— Возмутительнее всего, — говорил мне во время перерыва Гершуни, — что Григорьев инсинуирует, сознательно лжет. Не я втягивал его в революционную деятельность, а напротив, он буквально осаждал меня своими домогательствами. Зная семейное положение Григорьева, я его щадил и уступил только самым настойчивым его просьбам.

На меня вся эта сцена обливания помоями революционера, идущего на смерть, подействовала очень сильно, и в страшном волнении, говоря об инсинуациях, в защитительной речи я ответил:

— Не всегда комок грязи, брошенный из-за угла, попадает в цель, зато руку, бросившую его, он марает всегда.

Объяснения Гершуни. В своих объяснениях Гершуни меньше всего занимался собой и своей участью. Он старался по возможности смягчить ответственность своих товарищей по скамье подсудимых, при чем с особой заботливостью относился к Ремянниковой, которую я защищал. Затем он развивал тактику боевой организации и партии социалистов-революционеров.

Между прочим, зашла речь об отношении боевой организации партии к ее Центральному комитету. Гершуни разъяснил, что боевая организация пользуется полной автономией. По его словам, Центральный комитет лишь определяет границы объектов для действия боевой организации, т.-е. указывает круг лиц, на которых могут быть совершаемы покушения. Персональный выбор жертвы в лимитах, очерченных Центральным комитетом, составляет прерогативу самой боевой организации, которая решает его в зависимости от своих средств и возможностей. Тот же

Центральный комитет определяет момент, когда боевая организация должна приступить к террористической деятельности или, напротив, когда она должна ее прекратить. В остальном боевая организация автономна.

Председатель поинтересовался лимитами, установленными в то время Центральным комитетом партии, и Гершуни пошел навстречу его любознательности.

— На всех лиц, кроме членов царской фамилии, — ответил он.

Вскоре после этих слов было совершено убийство великого князя Сергея Александровича, и таким образом единственное ограничение, очевидно, было снято.

Защита и приговор. Защищали подсудимых Карабчевский, М. Бернштам, старик Турчанинов, принимавший участие в политических процессах еще на заре судебных учреждений, и я.

Карабчевский произнес прекрасную речь в примирительном, мягком тоне, отнюдь, однако, не снижая революционной позиции партии социалистов-революционеров. Но общий тон его защиты создал атмосферу, в которой можно было поднять вопрос о замене для Гершуни смертной казни пожизненной каторгой.

Я стоял на юридической позиции, доказывая, что к Ремянниковой может быть предъявлено лишь обвинение в хранении нелегальной литературы, найденной у нее в большом количестве, но никак не в участии в сообществе. Для последнего обвинения в деле не было никаких оснований, кроме оговора, и то очень неопределенного, Григорьева.

Из речей подсудимых выделялись речи Гершуни своей стройной логикой и Ремянниковой своей задушевной простотой.

После довольно продолжительного совещания суд вынес свой приговор. Гершуни был приговорен к повешению, при чем суд не вынес определения о ходатайстве относительно смягчения его участи. Ремянникова была приговорена к трем месяцам ареста. Григорьев формально был приговорен тоже к смертной казни, но суд постановил ходатайствовать о смягчении его участи, Мельников — к казни, с ходатайством о замене пожизненной каторгой.

Смягчение для Григорьева по высочайшему повелению произошло гораздо более значительное, чем то, о котором ходатайствовал суд.

Помилование Гершуни и его судьба. Гер-

шуни выслушал свой приговор совершенно спокойно. Начальник Дома предварительного заключения, где содержался Гершуни во время суда, как мне передавали, поинтересовался узнать, что будет делать Гершуни непосредственно после выслушания приговора. С этой целью он следил в «глазок».

Гершуни вошел в камеру, раз или два прогулялся по ней, лег и заснул крепким сном.

Родственники Гершуни бросились хлопотать, чтобы спасти ему жизнь. Один из судей, князь Трубецкой, о котором нам приходилось уже упоминать, был флигель-адъютантом Николая II. Стоящий далеко от всяких способов борьбы с революцией, он был настроен по-человечески мягко.

Сговорившись с ним, родственники Гершуни пришли во дворец в день его дежурства и, помимо установленных форм, передали прошение непосредственно ему. Трубецкой лично отнес прошение царю и поделился с ним своими впечатлениями, вынесенными из процесса. Гершуни был помилован. Смертная казнь для него была заменена пожизненной каторгой.

Рассказывали, что таким исходом ходатайства родственников Гершуни был отчасти обязан и великому князю Андрею Владимировичу. Этот последний кончил училище правоведения и вместе со своим профессором посещал все заседания процесса.

Любопытно отметить курьезный этикет. Лишь только князь входил в зал заседания, все, не исключая и суда, вставали и продолжали стоять, пока тот не усаживался на свое место.

Побег Гершуни. Если не ошибаюсь, Гершуни первое время содержался в Шлиссельбургской крепости, но потом он был отправлен в Сибирь на каторгу.

Случилось чудо: Гершуни удалось бежать с каторги. Непосредственно после побега рассказывали, что один из товарищей по партии приехал в место, где содержался Гершуни, подкупил сторожей и подрядчиков, и Гершуни был вывезен в кадке с капустой.

После разоблачения Азефа мне говорили, что побег был организован Азефом с ведома Департамента полиции для поддержания авторитета Азефа, относительно которого уже начали циркулировать неблагоприятные слухи.

Просматривая теперь переписку Департамента полиции, я в ней не нашел подтверждения этой версии. Так что, если поверить участию Азефа, то нужно удивляться уменью Департамента полиции законспирировать свои действия даже от подчиненных ему органов, жандармов, тюремной стражи и пр.

Напротив, если верить переписке, то побег был для Департамента полиции неожиданностью и, притом, неожиданностью очень неприятной. Боялись с побегом Гершуни оживления террористической деятельности.

Русская охранка в Париже. Вскоре после побега Гершуни умер в Париже. Но и после смерти он был для русских властей источником многих неприятностей. Русская эмиграция вместе с французскими социалистами решили устроить Гершуни торжественные похороны, превратив их в манифестацию против русского правительства.

Нужно читать донесение русской охранки в Париже, чтобы составить себе представление о ее аппетитах.

Агентура прямо в бешенстве, что на ее глазах будет происходить манифестация, а она не в силах употребить излюбленный прием: «тащить и не пущать».

Охранка до того не признает никаких границ, что доносит на . . . Клемансо, тогда министра внутренних дел. По ее словам, Клемансо обещал социалисту-революционеру Рубановичу не препятствовать манифестации.

Охранка по этому поводу предлагает не более, не менее. как создать дипломатический инцидент. Если бы Франция позволила себе что-либо подобное по отношению к Англии или Германии, то они показали бы Франции кузькину мать, думает и пишет парижская агентура.

Этому безграмотному проекту, очевидно. был дан ход, потому что посольству пришлось отписываться и доказывать всю неуместность создания инцидента по подобному поводу.

Манифестация состоялась, и громадные толпы народа, русских и французов, шли за гробом русского революционера.

Французы и эмигранты произносили речи, полные негодования по поводу деспотизма русского правительства.

ГЛАВА XV

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Первое свидание. — Настороженность Каляева. — Его решение добиться казни. — Свидание Каляева с Елизаветой Федоровной. — Излишняя подозрительность Каляева. — Характеристика Александры и Елизаветы Федоровны. — Принятие Каляевым от последней креста и евангелия. — Раскаяние Каляева и его письмо к Елизавете Федоровне. — Решение убить Сергея Александровича. — Каляев опускает уже занесенную руку. — Убийство великого князя. — Сочувствие московской буржуазии этому убийству. — Процесс и его обстановка. — Удаление Каляева из залы заседания. — Уход его защитников. — Возвращение. — Прения сторон. — Революционная речь Жданова. — Моя речь. — Последнее слово Каляева. — Приговор и кассационная жалоба. — Причины подачи последней: выправление партийной линии. — Отрицание им своей жестокости. — Каляев — романтик. — Кассационные речи. — Доклад министром царю приговора. — Молчаливый ответ последнего. — Мужество Каляева при казни.

ПРОЦЕСС КАЛЯЕВА

Я вернулся из Петербурга с адвокатского съезда. Дома меня ждал пакет из Сената. Не без некоторого изумления распечатал я его. Сенат уведомлял меня, что, согласно заявлению Каляева, допустил меня к его защите. Дело должно слушаться в Москве, в заседании Сената, с участием сословных представителей. Одновременно мне разрешалось иметь с подсудимым свидания наедине.

Лишнее говорить, что убийство столпа и вдохновителя реакции, одного из самых злобных и тупых великих князей, кулака и эксплоататора крестьян, и притом «дяди и друга государя» произвело на общество потрясающее впечатление, — и потому станет совершенно понятным тот повышенный интерес, с которым я ехал на первое свидание.

Иван Платонович Каляев содержался в Бутырской тюрьме, в отдельной башне, с соблюдением строжайшей изоляции. Но

мне, как защитнику его, должны были по закону дать свидание наедине.

Ввели Каляева. Нервное, очень подвижное лицо. Быстрая смена впечатлений, живо отражающихся на нем, и некоторая экзальтация — таково первое впечатление, произведенное на меня Иваном Платоновичем.

Каляев отдавал себе отчет в той роли, которую он занимает теперь в общественной жизни, и в интересе, который проявляет к нему правительство. На каждом шагу он нервно ожидает западни. В последнем отношении он даже преувеличивал.

С чрезвычайной деликатностью, ежеминутно перебивая сам себя и извиняясь, но твердо и настойчиво, Каляев потребовал, чтобы я представил ему какое-либо доказательство своей самоличности.

— Вы понимаете, — говорил мне Иван Платонович, — Мандельштаму я, конечно, верю. Но я окружен такой сетью провокации и шпионажа, в которых я буквально задыхаюсь. И я боюсь, что жандармы, не добившись от меня ничего в открытой борьбе, на допросах, прибегнули к низкому приему и под видом защитника послали кого-либо из своих агентов.

У меня были общие знакомые по вологодской ссылке Каляева, и мне ничего не стоило, рассказав некоторые никому неизвестные эпизоды, успокоить эту несколько обостренную настороженность Ивана Платоновича.

Каляев чрезвычайно, как-то немного по-детски, обрадовался. Вся его фигура потеряла нервную напряженность. Видно было, что у него гора свалилась с плеч. Ему стало легко.

Здесь кстати сказать, что Владимир Анатольевич Жданов, мой приятель и товарищ Каляева по вологодской ссылке, которому очень хотелось защищать Ивана Платоновича, просил меня переговорить об этом с ним. Я исполнил просьбу Жданова.

— Знаете, — ответил мне Каляев, немного подумав, — в смысле общественной перспективы дела это будет даже хорошо. По матери я происхожу из поляков; вы из евреев. Правительство может этим воспользоваться и извратить перспективу дела, представить убийство великого князя как инородческую интригу. Присутствие в составе защиты чисто русского человека лишит правительство этой возможности.

Таким образом было решено, что защищать Каляева в Сенате будем мы вдвоем со Ждановым.

Решение Каляева добиться казни. Начали

говорить по поводу предстоящего процесса. С первых же слов Каляев мне сказал, что твердо решил умереть и не примет помилования даже в том случае, если бы оно произошло помимо его воли и инициативы.

— Я твердо и бесповоротно решил умереть, — сказал он мне. — Моя смерть так же нужна для партии и революции, как смерть великого князя.

Никакие мои доводы не помогали. Они скользили как-то мимо сознания Каляева. Мне не удалось даже уговорить его предоставить событиям течь своим чередом. Он решил добиться казни во что бы то ни стало.

— Мое помилование превратит террористический акт, совершенный мною, во взрыв бомбы в глухом погребе. Звук взрыва получится приглушенным и ослабнет эффект всего дела.

Были и другие причины, но о них позже, когда будем говорить о визите великой княгини и о письме, которое Каляев отправил после ее визита государю.

На первый раз деловой разговор закончился, и мы перешли к простой беседе. Мы условились, что я буду очень часто к нему заезжать. Наш разговор принял быстро непринужденный характер двух давно знакомых собеседников. Благодаря подвижности и легкой возбудимости Каляева, стены тюрьмы как бы раздвинулись и перестали существовать, точно в сказке

Странно было наблюдать, как сочетались в нем фанатизм революционера с многогранным, я бы сказал, пантеистическим интересом ко всем переливам жизни: аскетическое решение умереть — с исключительной жизнерадостностью; подполье — с жадным впитыванием в себя всей радуги красок. Жажда жизни и смерти сочетались в натуре Каляева, не нарушая ее целостности.

Наша беседа легко перескакивала с темы на тему. Театр, поэзия, искусство, общественная жизнь — все его интересовало, обо всем я должен был давать самые подробные отчеты.

Сам Каляев не обладал чувством юмора. Скорее это была натура лирическая. Но при своем лиризме жизнерадостный и легковозбуждаемый интересной для него беседой, Иван Платонович заразительно громко и весело смеялся. Слышавший нас во время беседы никогда не поверил бы, что один из собеседников только-что заявил о непреклонном намерении погибнуть.

Звуки веселого смеха как бы поразили самого Каляева. Эстетическое чувство, так сильно в нем развитое, было оскорблено несоответствием веселого тона беседы той исторической роли, которая теперь ему предопределена. По крайней мере

Иван Платонович вдруг одернул меня и себя и со словами: «Нас видят, надо быть серьезнее», принял более сдержанный вид.

Свидание с великою княгинею Елизаветой Федоровной. Я спросил Каляева, насколько верны слухи, циркулировавшие тогда в городе, что великая княгиня Елизавета Федоровна, вдова убитого Сергея Александровича и сестра императрицы Александры Федоровны, приезжала к нему в тюрьму и имела с ним свидание.

Нервное лицо Ивана Платоновича при моем вопросе преобразилось, стало вдруг грустным, и на нем появилось выражение непритворного страдания.

— О, это ужасная история! — начал возбужденно и взволнованно Каляев. — Я попал в ловушку, в ужасную западню!

И нервничая, крайне волнуясь, поминутно перебивая сам себя, Каляев начал свой рассказ:

— Правительству было мало подвергнуть меня смертной казни. Оно прекрасно понимало, что, создавая мучеников, оно только усиливает ореол революции. Правительство решило не только убить меня, но и скомпрометировать как меня лично, так и ненавистную ему за террор и аграрные беспорядки партию. Оно хотело показать, что революционер, отнявший жизнь у другого человека, сам боится смерти и готов ценой унижения, ценой измены своим самым заветным убеждениям купить себе дарование жизни и смягчение наказания. Именно с этой целью Департамент полиции подослал ко мне вдову убитого. Она говорила со мной не только приветливо, но прямо униженно, подействовала на мою чувствительность, разжалобила меня и поднесла мне крест и образок (Я не помню точно, говорил ли Иван Платонович про образок или же про евангелие. — *М.).* Теперь, вероятно, правительство постаралось как можно шире распространить этот факт, чтобы одновременно унизить меня, партию и революционеров вообще.

Для того, чтобы парализовать возможно неблагоприятные для него толки в обществе, Каляев написал Николаю II письмо, в котором заранее отказывался от помилования и объявлял, что «из рук убийцы рабочих 9 января он не примет жизни».

Для меня все объяснилось. Я понял, почему Каляев чуть не с первого слова заявил мне, что он будет требовать казни и чтобы я не старался о смягчении грозящего ему наказания.

Опять сказалось преувеличенно настороженное отношение Каляева к окружающей его действительности.

Я стал разубеждать его. Елизавета Федоровна, сестра импе-

ратрицы, великая княгиня, на службе у Департамента полиции, исполняющая поручения его агентов! Она занимает слишком высокое положение, чтобы охранка какого угодно ранга осмелилась впутывать ее в свои интриги. У полиции есть другие лица и другие возможности.

— Зачем же она приезжала ко мне? Зачем она передала мне крест? — недоуменно спрашивал у меня Каляев.

Чтобы рассеять окончательные сомнения, я нарисовал Ивану Платоновичу образ Елизаветы Федоровны таким, как он мне самому представлялся. Недалекий, но в противоположность сестре своей, императрице, по существу не злой человек, Елизавета Федоровна, подобно императрице, впала в мистицизм. В мистике, как вообще в религии, каждый человек «находит самого себя», «творит бога по своему образу и подобию».

Злая, ограниченная, тупая и самонадеянная Александра Федоровна — в религии искала санкции своей безграничной власти, оправдания бесконечной тирании и беспредельного самовластия. Ее самоуверенность могла равняться только с ее злобой.

Напротив того, Елизавета Федоровна, тоже ограниченный, и тоже дегенеративный тип, хотя и не в такой степени, как ее венценосная сестра, но была благожелательным человеком; в мистике она искала отрешения от мира с его злом, которое она так близко могла наблюдать. Утопию христианства она принимала за подлинный мир. А подлинный мир казался ей сновидением.

Выход из всех моральных противоречий она находила в мистике и в благотворительности. В общем и целом, великая княгиня Елизавета Федоровна представляла собою в моральном отношении ту дестиллированную воду, которую представляет христианство, очищенное от воздействия на него казенной церкви.

По мере того как я говорил, лицо Каляева постепенно прояснялось. Казалось, он возвращается к тому первоначальному впечатлению, которое на него произвел эксцентричный визит великой княгини. Но, прочтя воспоминания о Каляеве В. Беренштама, я увидел, что время от времени прежние сомнения возникали в душе Каляева.

О самом свидании Каляев мне сравнительно спокойно рассказал следующее.

Однажды Иван Платонович сидел у себя в камере и писал стихи. Явились жандармы и велели одеваться. Каляев подумал, что его ведут для предъявления. Куда его повезли, он не знал. По приезде его поместили в отдельную комнату, где неко-

торое время оставили одного. Очевидно, думал Каляев, в соседней комнате помещен кто-либо для опознания.

Внезапно дверь распахнулась, и на ее пороге появилась стройная женщина, с опущенной головой, в глубоком трауре. Таинственную незнакомку сопровождала свита, которая по мановению руки ее моментально исчезла. Точь-в-точь как во французских романах.

Каляев наблюдал с величайшим недоумением всю эту постановочную сцену.

— Я вдова убитого вами человека, — произнесла наконец незнакомка и с этими словами опустилась на колени.

Взволнованный и потрясенный, Иван Платонович, нервы которого были вообще взвинчены, бросился поднимать свою гостью.

— Зачем же вы пришли к убийце своего мужа? — задал он вопрос.

Вопрос повис в воздухе и остался без ответа.

— Ну, зачем, зачем вы это сделали? — в свою очередь спросила великая княгиня.

Каляев с минуту помолчал. «Говорить или нет? Стоит ли? — пронеслось с быстротой молнии в его голове. Колебания его продолжались не долее минуты. Он решился и стал говорить, сначала спокойно, потом все более и более оживляясь. Говорил он о том, что в России знал каждый грамотный человек и чего члены царствующей династии, умные, не хотели знать, а глупые не знали цействительно.

Говорил Каляев о страданиях народа, о тирании, свинцовой тучей нависшей над всей страной, говорил о гнете цензуры, удушающей живое слово; рассказывал о ссылке и каторге для лучших сынов России; о произволе администрации, неслыханном и диком, об избиениях учащейся молодежи вообще и о том избиении, которое было произведено Треповым в Москве, избиении беззащитных девушек и подростков. Кстати сказать, Москва возлагала ответственность за это последнее кровавое побоище на Сергея Александровича, бывшего тогда московским генерал-губернатором. Рассказывал о систематическом голодании крестьян, об ужасающих условиях труда рабочих на фабриках, где гибнут целые поколения от ужасных антисанитарных условий и переутомления...

Много и долго говорил Каляев. Наконец, когда он кончил, наступила продолжительная пауза. Великая княгиня, очевидно, находилась под впечатлением только-что услышанного.

— Но почему же вы не пришли и не рассказали всего этого

великому князю? — прервала, наконец, она свое молчание. — Я верю, что, расскажи вы ему все это, он все бы изменил...

О, святая простота! Она обезоруживает. Что мог ответить ей Каляев? Что великий князь все знал, понимал и сам приказывал это делать?

Принятие креста и евангелия. Каляев промолчал и был прав. Всякие разговоры на эту тему, очевидно, ни к чему бы не привели.

— Вы, вероятно, много страдали? — спросила княгиня.

— Это неважно, — отвечал Каляев. — Миллионы страдают, вот в чем дело.

Разговор перешел на мистические темы, столь близкие душе и сердцу Елизаветы Федоровны и не чуждые самому Каляеву. Для него непознаваемое рисовалось в каком-то мистическом тумане.

Каляев с его несколько сентиментальной и поэтической душой вышел из своей роли революционера. Он забыл, что перед ним сестра императрицы и вдова великого князя Сергея Александровича, двух злых гениев тогдашней России. Он видел перед собой только страдающую женщину, невольным виновником горя которой он был, мужа которой он должен был убить. Он чувствовал себя без вины виноватым перед этой женщиной.

Иван Платонович растрогался.

И вот, в заключение несколько мелодраматической и нелепой сцены — свидания революционера с вдовой убитого им великого князя — Елизавета Федоровна просила Каляева, в знак того, что он не питает к ней злобы, принять от нее крест и образок.

— Великий князь вас прощает, — сказала она, передавая крест.

Растроганный Каляев, по его признанию, не мог отказать женщине в этой, показавшейся ему тогда невинной, просьбе. Притом Каляев вообще любил не только человечество, но и людей; не только «дальних», но и «близких»; не только будущее, но и настоящее.[1]

---

[1] Объясняя тип и поведение Каляева, автор забыл упомянуть о политической обстановке тех времен, которая, наряду с закаленными пролетарскими борцами, все еще питала издерганных Каляевых, с их христианственной по существу теорией «мученичества».

Впавшие в отчаяние от политического безвременья, хорошие народнические индивиды все еще, по традиции, не просто боролись, а «шли на страдания и муки» за «народ» (как нечто неделимое), даже за целое вне-

Великая княгиня ушла, а Каляев вернулся к своему одиночеству. Его поместили в ту же башню, за теми же решетками. Там мистика витает поверх действительности. Угасли эмоции, и Каляев остался наедине со своим рассудком. После опьянения наступило ужасное похмелье.

Бичуя себя, Каляев пишет Елизавете Федоровне несколько писем, одно резче другого.

Приведем здесь одно из этих писем в извлечении:

«Вы сами пришли ко мне из вражеского стана. Я был рад, что вы остались живы, и принимал это, как благодарность. Я был к вам сострадателен».

И далее Каляев возвращается к навязчивой идее, что сделался жертвой интриги.

«Вы не побоялись принять участие в интриге и не оправдали моего к вам доверия. Для меня ясно, что вы — источник всех разговоров обо мне. Вы разгласили нашу беседу в ложном свете. Почему же вы умолчали обо всем неприятном, что я вам говорил? . .».

Так писал Иван Платонович великой княгине, не подозревая даже, что ее визит страшно скандализировал двор и что всем административным лицам, допустившим это свидание, сильно досталось.

В делах Департамента полиции имеется рапорт бывшего тогда директором Департамента полиции Лопухина министру внутренних дел, очевидно, для дальнейшего доклада. Лопухин доносит, что Елизавета Федоровна пожелала видеть Каляева, чтобы сказать ему, что прощает его, как женщина, и что сам великий князь простил бы его.

«Для этого свидания, — прибавляет рапорт, — Каляев был перевезен в Пятницкий полицейский дом».

Во всяком случае, я старался сделать все от меня зависящее, чтобы доказать Каляеву всю неосновательность его подозрений. Я говорил ему, что ни в партии, ни в обществе не циркулирует никаких неблагоприятных для него слухов.

классовое «человечество», — не видя или не умея разглядеть тех выходов, которые уже тогда несла с собой единственно революционная, а значит, и единственно полнокровная — классовая борьба, чуждая всяких упадочнических и мистических вывихов.

Ведь, как это ни странно, а какое-то противоестественное «сродство душ» между идеалистом-революционером-народником и истеричкой великой княгиней даже и в этой вот истории с визитом невольно сказалось.

Общим между ними неожиданно оказалась «стыдненькая» жажда самоущемления и «юродствующего во Христе» святительства, и — это больше всяких Азефов компрометирует. — *Ч.*

— А я так страдал, так страдал! — повторил еще раз мне Каляев при конце нашего первого свидания.

Решение убить Сергея Александровича. В дальнейшем нам приходилось часто видеться и беседовать на самые разнообразные темы. Каляев оказался человеком общительным. Голова его всегда горела целым сонмом идей и впечатлений в самых разнообразных областях.

Однажды Иван Платонович рассказал мне, каким образом было решено убить великого князя Сергея Александровича. Первоначально боевая организация наметила другое лицо. Как-раз в это время происходит демонстрация учащейся молодежи в Москве. По приказу Сергея Александровича, как московского генерал-губернатора, обер-полицеймейстер Трепов взял молодежь в шашки и нагайки. Не щадили никого — ни пола, ни возраста. Молодые девушки были избиты в кровь и изувечены.

Вопль негодования пронесся тогда по Москве. Возмущенный Каляев решил, что такое злодеяние не может, не должно остаться безнаказанным. А так как, помимо всего, великий князь Сергей был опорой и столпом реакции в общероссийском масштабе, то предложение Каляева о перемене объекта покушения упало на благодарную почву и было принято.

Строго говоря, решив направить террор против члена царствующего дома, партия социалистов-революционеров тем самым отказалась от принципиальной установки, данной Центральным комитетом — не трогать царской фамилии. Об этой директиве, как мы помним из процесса боевой организации, говорил на суде Гершуни.

Таким образом, если Центральный комитет партии социалистов-революционеров дал свою санкцию террористическому акту, направленному против Сергея Александровича, то не потому, что он принадлежал к царской семье, а несмотря на это.

Рассказывая дальше подробности самого факта покушения, Каляев был откровенен во всем, что касалось лично его; но в то же время более чем сдержан и конспиративен в том, что касалось партии, других лиц или тех путей, которыми было подготовлено и выполнено покушение.

Рассказал мне Иван Платонович, между прочим, один эпизод, имевший место за несколько дней до убийства великого князя. Это было 2 февраля. Каляев стоял с бомбой в руках и поджидал свою жертву в хорошо выбранном месте.

Каляев опускает уже занесенную руку. Сергей Александрович был не только озлобленным и тупым гони-

телем мысли, не только беспощадным кулаком, выжимавшим из своих крестьян свыше 12% годовых, но еще и трусом.

Избивая беззащитную молодежь, он рассчитывал на полную безнаказанность. Когда же получил приговор, грозящий ему смертью за подлое избиение, наш столп реакции до того перетрусил, что вышел в отставку и даже переехал из генерал-губернаторского дома, расположенного в центре города, где теперь помещается Совет, в Кремлевский дворец. Там было легче организовать охрану.

На суде свидетели показывали, что вся дорога, по которой должен был проезжать великий князь, охранялась цепью шпионов и полицейских охранников и что при таких условиях организовать покушение было делом необыкновенной трудности.

И вот, наконец, все трудности преодолены. Террорист и революционер с бомбой в руках добился встречи с намеченной жертвой. Каляев в двух шагах от кареты главного палача... Рука занесена... Еще мгновение, она опустится, и от этого блудливого и трусливого спрута удушливой реакции останется прах, который, по выражению Шекспира, будет годен только для замазывания печей.

Неожиданно Каляев замечает в карете рядом с великим князем жену его, Елизавету Федоровну, и детей великого князя Павла Александровича.

Уже занесенная рука опустилась.

— Не мог я, понимаешь, не мог, — говорил он потом своему другу и сподвижнику Савинкову, оправдываясь в том, что не подчинил «холодному рассудку» волю сердца.

Уже после, получив мотивированный приговор, в котором Каляев рисовался, как жестокий человек, не пощадивший даже ни в чем не повинного кучера, он страшно негодовал на эту глупую и гнусную клевету. От себя мы можем добавить, что она не только гнусна, но и лицемерна. Стреляя в мирные демонстрации молодежи и рабочих, правительство очень мало заботилось не об одном, а о десятках случайных прохожих, которые падали от шальных пуль.

— Пусть Сенат мне укажет способ напасть на великого князя, когда около него не будет ни одного человека, — говорил мне с негодованием Каляев.

В своей кассационной жалобе Иван Платонович опять возвращается к упреку в жестокости, брошенному ему профессиональными палачами из лакейской угодливости перед сильными мира сего.

На упрек в жестокости он отвечает указанием на свой по-

ступок 2 февраля. И действительно, всякий, отдающий себе отчет в тех трудностях, которые пришлось преодолеть организации, чтобы Каляев мог с бомбой в руках встретить великого князя, поймет, чем он рисковал и что ставил на карту из чувства жалости к женщине и детям.

Убийство великого князя Сергея. Однако, на этот раз счастье благоприятствовало Каляеву. Через несколько дней он, уведомленный организацией о проезде великого князя, опять стоял в амбразуре здания судебных установлений в Кремле (где ныне помещается Совнарком). Одет Каляев был в поддевку, скрывающую его интеллигентский вид, тогда внушавший наибольше подозрений.

Он стоит в углублении и ждет. Вдали появляется хорошо изученная, знакомая карета. Точным глазомером охватив движение кареты, рассчитав свое собственное, Каляев бросается вперед.

— Я ясно видел, — рассказывал Каляев, — как меня заметил великий князь. Казалось, в одно мгновение он понял все... Беспредельный ужас отразился на его лице. Зрачки глаз невероятно расширились. Инстинктивно он откинулся в противоположный угол кареты. Заслонился рукой.

Последовал ужасный взрыв.

Елизавета Федоровна в это время сидела в Кремлевском дворце, откуда взрыв был отчетливо слышен. Сразу она поняла все и побежала к месту взрыва.

Каляев, бросая бомбу, был убежден, что при ее страшной разрывной силе он сам не уцелеет. К его изумлению, он услышал взрыв бомбы и осознал все происходившее при этом. Он остался жив. Очевидно, сила взрыва направилась в сторону наибольшего сопротивления, в направлении противоположном тому, где находился бомбометатель.

Первое ощущение прошло. Каляев оправился от оглушительного взрыва, он огляделся и оглядел себя.

Кто-то стоял, кто-то подбегал. На нем изорванный полушубок. Сам окровавлен. И тем не менее растерянность и испуг окружающих были так велики, что был момент, когда можно было скрыться... Каляев сознательно этого не пожелал сделать. Он считал свое дело незаконченным...

Зато, как только прошел испуг у охранников, нашлось сразу несколько «личностей из народа», и каждый из них приписывал себе честь первого задержания Каляева.

Каляев был схвачен.

Само собою разумеется, что ни при нем, ни в его жилище не

было найдено ничего, что могло бы навести жандармов не только на следы организации преступления, но даже дать намек на личность убийцы великого князя. Каляев решил судиться и взойти на эшафот анонимом.

И только слепой случай помог полиции установить личность Каляева.

По всем полицейским участкам была разослана фотографическая карточка, снятая с Ивана Платоновича. Его отец, по злой иронии судьбы, служил в Польше в качестве околоточного надзирателя. В присланной в участок карточке он не мог не узнать своего сына; таким образом личность Каляева была разоблачена.

Сочувствие буржуазии убийству великого князя. Московская буржуазия ненавидела Сергея Александровича. Высокомерный, ограниченный и самовластный, он держался вдали от московского общества, в тесном кругу своих приближенных из аристократии и военщины. К фабрикантам и купцам он питал презрение аристократа к плебсу. Для него даже Морозовы и Третьяковы все еще были «аршинниками» и «распротоканалиями» времен городничего.

Московская буржуазия на презрение отвечала ненавистью. Я лично имел случай в этом убедиться.

Как я уже говорил, в числе обязанностей политического защитника, на наш взгляд, входило всеми доступными средствами давать самую широкую огласку процессам, слушавшимся при закрытых дверях.

Я всегда придавал большое значение этой стороне деятельности политической защиты. А потому, кроме передачи части материала в нелегальную печать, я читал о политических процессах целый ряд рефератов как в столицах, так и в провинции в самых разнообразных слоях общества: среди рабочих, интеллигенции и всякого рода буржуазии.

Однажды я читал реферат о деле Каляева в училище Фидлера. Туда приехали просить меня прочесть доклад вечером того же дня в доме у известной либеральной деятельницы Варвары Морозовой, где тогда собиралась интеллигенция Москвы.

По окончании реферата Варвара Алексеевна Морозова вручила мне пакет с довольно значительной суммой для передачи матери Каляева, что мною и было исполнено.

Из этого видно, что царское правительство, правительство дворян и крупных промышленников, от имени и в интересах которых оно «решало и вязало» своим деспотизмом, реакцион-

ностью и глупостью, умудрилось сделаться ненавистным даже для привилегированных классов. Убийство члена царской семьи встречалось явным сочувствием.

Прокуратура собирала сведения о моих рефератах процессов, шедших при закрытых дверях, но так как закон воспрещал только печатание их, то не могла возбудить процесса. А жандармы свели со мной впоследствии счеты по совокупности.

Процесс. — Его обстановка. Приближался день процесса. Мы обсудили план защиты и общие ее тезисы.

Дело слушалось в овальном зале здания судебных учреждений при строго закрытых дверях. Но это только так писалось, читалось же иначе. Зал, несмотря на свои размеры, был переполнен до отказа.

Но что это была за публика! Мундиры и эполеты повсюду. Казалось, что в зале не было никого чином ниже генерала военного или штатского. Весь старый «дряхлый мир», доживавший свои последние «пятилетки», был здесь налицо, пришел на собственные похороны.

И в то время, когда этот обреченный мир судил здесь революцию, «рука роковая» не только чертила, а уже дочерчивала на стене последние «грозные буквы».

Само собой разумеется, что состав Сената, которому было доверено такое ответственное дело, как суд над убийцей дяди государя, был подобран с особой тщательностью, хотя, повидимому, надобности в этом особенной не было. Председательствовал уже сданный в архив бывший когда-то грозой политических процессов Дрейер, для столь торжественного случая вытащенный из нафталина. В составе Сената был известный мракобес, бывший обер-прокурор синода Ширинский-Шахматов, бывший директор Департамента полиции и др. Обвинение поддерживал тогда обер-прокурор Сената, впоследствии министр юстиции, И. Г. Щегловитов, о котором нам уже не раз приходилось говорить. Защищали В. А. Жданов и я.

Дело слушалось 5 апреля 1905 года.

Защита скоро могла убедиться, что сенатор Дрейер нисколько не изменился, но зато сенатор Дрейер имел возможность так же быстро убедиться, что с того времени, когда он в последний раз председательствовал в политическом процессе, изменились силы революции, характер защиты, отношение общества...

Дрейер распорядился ввести подсудимого. Перед сановной публикой предстал человек, хрупкий по внешности, с нервным

лицом, выдержанный, воспитанный во всяком случае лучше Дрейера.

Читается обвинительный акт. Ничего нового. Те же слезы крокодила над судьбой кучера.

А еще говорят, что у политической прокуратуры не было сердца!

Далее — юридическая квалификация, и в заключение обвинение в убийстве великого князя, в принадлежности к сообществу, имевшему взрывчатые вещества и поставившему себе целью ниспровержение строя, и, наконец, в том, что, хотя и без цели на убийство, но зная, что подвергает жизнь кучера опасности, Каляев бросил бомбу.

Здесь будет кстати отметить курьезную мотивировку определения о закрытии дверей заседания — «в виду неприличного поведения обвиняемого как на предварительном следствии, так и при вручении обвинительного акта».

Удаление Каляева. Первый же блин вышел комом. Процесс едва начался, а Дрейер уже приказал вывести подсудимого из зала суда. Удаление Каляева последовало после того, как на вопрос председателя о виновности он ответил:

— Счастлив, что выполнил долг, который лежал на всей России.

Сенат, оставшийся недоволен «неприличием» Каляева и закрывший двери во избежание новых невоспитанных выпадов со стороны подсудимого, оказался совершенно прав. Лишь только Дрейер открыл рот и произнес:

— Подсудимый, признаете ли... — как был прерван Каляевым.

— Я не подсудимый, а ваш пленник. Мы — две воюющие стороны. Вы — наемные слуги капитала, а я...

Дальше Каляеву не удалось продолжить свою речь. Он был выведен молниеносно по распоряжению председателя из зала заседания.

Уход защиты. Вот тут-то Дрейер и не учел разницы между восьмидесятыми годами, когда он мог свободно хозяйничать в процессе, и 1905 годом. Лишь только подсудимый был выведен из зала заседания, мы с Ждановым поднялись и потребовали перерыва для обсуждения создавшегося ненормального положения.

Председатель, еще не понимая, чем это грозит и незнакомый с традициями, уже начинавшими складываться среди политических защитников, нам в перерыве отказал. Тогда мы с Ждановым встали и покинули зал заседания, при чем Жданов

отказался от дальнейшей защиты, а я ушел, не складывая с себя обязанностей, чтобы иметь право видеться с Каляевым и говорить с ним.

Дрейер, таким образом, остался без подсудимого и без защиты. Даже этот старый заплечных дел мастер почувствовал все неудобство такого положения, в особенности в процессе, который, несомненно, появится в европейской печати.

Он распорядился об обратном приводе Каляева. Вместе с ним вернулись и мы, при чем Жданов был вновь допущен к защите.

Это был первый предметный урок, полученный Дрейсром. Пришлось его принять к сведению и предоставить подсудимому выяснить мотивы убийства. Обычно это бывает самая трудная задача, потому что председатель не позволяет расширять рамок объяснений, но тут Дрейер, как всякий самодур, встретивший резкий отпор, что называется, «смяк» и не вмешивался более в показания Каляева.

Подсудимый Каляев объяснил, что целый ряд причин заставил его решиться на убийство. Прежде всего, великий князь Сергей был опорой реакции во всероссийском масштабе, ближайшим советником государя. В качестве такового он воздвиг гонение на всякие культурные начинания. Легальная деятельность в стране стала совершенно невозможной. Вся Россия сделалась ареной провокации ставленника великого князя, Трепова, который стремится развратить рабочих зубатовскими организациями. Крестьянство голодает, но печать вынужденно молчит...

На этом месте председатель прерывает обвиняемого, чтобы задать ему вопрос.

— Если бы вам удалось избежать наказания, стали ли бы вы продолжать прежнюю деятельность?

Вопрос провокатора, который я в своей речи только из судебного приличия назвал вопросом исповедника. Провокатора или исповедника, но во всяком случае не судьи. Он получил ответ, который и следовало ждать.

— Я исполнил свой долг и думаю, что и впредь исполнял бы его.

Судебное следствие протекло тягуче и вяло, никого не интересуя. Дело с внешней стороны было ясно.

Прения сторон. Суха и безнадежно бесцветна была речь прокурора Щегловитова. Еще было неизвестно, какой курс победит окончательно в сферах и яркой речью в ту или иную сторону можно было скомпрометировать свою карьеру.

Само собой разумеется, что в заключении Щегловитов потребовал смертной казни.

Слово получила защита. По нашему соглашению, первый должен был говорить В. А. Жданов. Речь его, тогда большевика, была ярко революционной. Через головы судей он говорил с народом и революцией. Сенат для него не существовал: необходимые и докучливые декорации.

Административный гнет, экономическое разорение, по словам Жданова, привели всю Россию к крайней гибели. Столкнулись два мира, и все более теряется надежда на мирный исход.

— На чаше весов, которою будет меряться все прошлое, — обратился в заключение Жданов к Сенату, — не последнее место займет и ваш приговор. Не отягчайте же им чаши! Крови в ней и без того достаточно.

В противоположность В. А. Жданову, я говорил не от имени революции, а от имени освободительного движения. Я указал на то, что террористический акт совершен вопреки директиве, о которой год тому назад говорил на своем процессе Гершуни: не направлять террора против лиц царствующей династии.

Директива не отменена, и великий князь погиб не потому, что он принадлежит к царской фамилии, а несмотря на это.

— Не боевая организация взбежала по ступеням трона, чтобы там, почти у самой ее вершины, настигнуть Сергея Александровича; он сам сошел с подножья трона в гущу жизни, где слышатся клики борьбы и стоны побежденных.

Далее я изложил свою релятивную теорию террора.

— Политические убийства были везде и всегда: Карно, Кливеленд. Но там, где террор не опирается на всеобщее недовольство, он гниет на корню.

— Крамола, не опирающаяся на смуту, — заговор. Крамола, в смуте находящая свою высшую санкцию, — революционная партия.

Правительство само толкает людей на террор. Каляев в прошлом социал-демократ. Социал-демократия — партия, признанная во всем мире, это великое историческое движение нашей эры. И только у нас в России за принадлежность к социал-демократической партии людей бросают в тюрьму. Каляев был схвачен в Силезии и выдан нашему правительству, арестован им и выпущен с воспрещением на пять лет селиться в наиболее культурных городах. Он едет за границу, там становится террористом и возвращается в отечество членом боевой организации.

Кто же виноват в этом превращении легального, с европейской точки зрения, социал-демократа в члена террористической организации? Правительство или сам Каляев?

Закончил я свою речь утверждением, что безответственные лица, как великие князья, которые фактически стоят вне закона и над законом, которые при наших нравах не подчинены нормальным властям и не входят в нормальную иерархию, не должны занимать ответственных постов.[1] Власть на местах необходима, самодержавие на местах губительно. Отсюда — ходынская катастрофа, зубатовщина, избиение молодежи. На все это в Петербурге один ответ: «У вас в Москве удельное княжество. Мы ничего не можем сделать!».

Эта часть речи, в которой я восставал против предоставления ответственных постов безответственным лицам, великим князьям и старался восстановить общественное мнение против их бесконтрольного хозяйничанья, вызвала сочувствие широких кругов общества.

У всех были на памяти авантюры великого князя Александра Михайловича, стоившие России японской войны, позора, крови и денег. Были на памяти и хищения во флоте, где фактически командовала любовница великого князя Алексея Александровича, французская балерина.

Таким образом, мои стрелы попали в цель, но они создали мне влиятельных врагов.

Все с понятным интересом ожидали последнего слова самого обвиняемого.

Последнее слово подсудимого. Каляев свое последнее слово произнес каким-то отрывистым голосом, по временам выкрикивая отдельные фразы и даже слова. Очевидно, он страшно волновался.

Начал Каляев с того, что он не признает над собой суда, так как судьи назначены правительством и являются стороной в деле.

— Оглянитесь кругом, — обратился он к судьям. — Всюду кровь, стоны, война внутренняя и внешняя.

По мнению Каляева, два мира пришли в столкновение, и между ними нет и не может быть перемирия: «Эти два мира — насилие и свобода».

Здесь, конечно, не место полемики с Каляевым. Мы передаем его взгляды и его слова. Охарактеризовав революцион-

---

[1] Как-будто в этом только дело! Скудость аргументации автора в данном случае очевидна. Скат от марксизма к либерализму не проходит даром. — Ч.

ную борьбу, как борьбу насилия со свободой, [1] Каляев приглашает судей посмотреть вокруг себя. Что принес с собой царизм? Банкротство, поражение. Ошибка прокурора заключается в том, что он думает, будто против самодержавия — партии социалистов, тогда как против самодержавия — вся Россия.

Партия социалистов-революционеров — не партия убийц. К террору она прибегает в исключительных случаях; она признана социалистическим миром, как его составная часть, и в качестве таковой входит во второй Интернационал.

Мы должны сознаться, что речь Каляева не произвела впечатления на ту чиновничью аудиторию, которая ее слушала; но ведь не для сановников революционер и произносил свое последнее слово. Он обращался к тем, кому стоустая молва донесет его слова: к народу, к товарищам, к революционерам вообще. [2]

Мы говорили, что Каляев хотел непременно умереть. В той части моей речи, где я говорил о покушении, направленном не против члена царствующего дома, а против московского

---

[1] Как борьбу вообще «насилия» со «свободой» вообще? Куда же делась борьба классов? — *Ч.*

[2] Интересно, как один из «революционеров вообще», В. И. Ленин, рассматривал акт Каляева. Вл. Ильичу не приходилось писать о нем специально. Только в сентябре 1905 года ему случилось попутно коснуться убийства Сергия, в коротенькой статейке, посвященной удачному нападению вооруженной группы в 70 человек на Рижскую центральную тюрьму. И вот что Ленин тогда писал (женевский «Пролетарий», 1905, стр. 18):

«Итак, дела подвигаются все же вперед! Вооружение, несмотря на неимоверные, не поддающиеся никакому описанию трудности, все же прогрессирует. Индивидуальный террор, это порождение интеллигентской слабости, отходит в область прошлого. Вместо того, чтобы тратить десятки тысяч рублей и массу революционных сил для убийства какого-нибудь Сергея (который революционизировал Москву едва ли не лучше многих революционеров), для убийства «от имени народа», — вместо этого начинаются военные действия вместе с народом. Вот когда пионеры вооруженной борьбы не на словах только, а на деле сливаются с массой, становятся во главе дружин и отрядов пролетариата, воспитывают огнем и мечом гражданской войны десятки народных вождей, которые завтра, в день рабочего восстания, сумеют помочь своим опытом и своей геройской отвагой тысячам и десяткам тысяч рабочих».

И далее:

«Это уже не заговор против какой-нибудь ненавистной персоны, не акт мести, не выходка отчаяния, не простое «устрашение», — нет, это обдуманное и подготовленное, рассчитанное с точки зрения соотношения сил, начало действий отрядов революционной армии».

Вот — в какую сторону, в сторону от индивидуального террора к непосредственному вооружению масс и организованному руководству ими подталкивал события Владимир Ильич. — *Ч.*

генерал-губернатора, он усмотрел желание смягчить его судьбу и вырвать у эшафота жертву.

Поэтому в своем последнем слове он считает нужным заявить:

— Я стрелял в Сергея Александровича и как в великого князя, и как в московского генерал-губернатора.

Каляев шел навстречу смерти с каким-то мистическим упоением, с восторгом, с которым влюбленный жених встречает свою невесту.

— Мне хотелось бы умереть на месте совершения покушения, — говорит он своему другу, — отдаться ярко, вспыхнуть и сгореть без остатка. Смерть упоительна.

Приговор и кассационная жалоба. Сенат удалился для совещания. Войдя в комнату, где находился Каляев, я застал его в крайне удрученном настроении.

— Что я наделал! Что я наделал! Партия действительно постановила не трогать членов царской фамилии. Опровергая ваше заявление, я нарушил партийную дисциплину.

Отчаянию Ивана Платоновича, казалось, не было границ. Я успокаивал его, как мог, доказывая, что дело поправимо.

Тогда мы решили, чтобы исправить ошибку, подать кассационную жалобу, в которой выяснить недоразумение и выправить партийную линию.

Каляев, видимо, успокоился.

Такова была причина подачи Каляевым кассационной жалобы, вызвавшей в широких кругах общества некоторое недоумение: зачем человек, сам рвущийся на эшафот, считающий, что только его казнью будет завершено дело, которому он служит, подает жалобу на смертный приговор? Ведь не для того, чтобы вырвать у судьбы лишний месяц жизни, которую он так красиво и легко бросает.

Кассационная жалоба Каляева ничего кассационного в себе не заключала. Это политический, а не юридический документ. Поправка к последнему слову.

Начинает Иван Платонович с того, что, несмотря на польское происхождение, горячо любит Россию. Все та же мнительность и боязнь, чтобы покушение не было сочтено за польскую интригу.

Далее он излагает свою биографию. В 1901 году был социал-демократом, принял участие в рабочей демонстрации и должен был выехать за границу. Там, по проискам русской полиции, арестован и выдан России. Побывав в ссылке, решил, что легальная работа невозможна и что надо обратиться к террору.

Придя к такому заключению, вступил в партию социалистов-революционеров, в ее боевую организацию.

Щекотливый вопрос, заставивший его подать жалобу, Каляев разрешил с большой тонкостью:

«Партия решила убить Сергея Александровича, не как великого князя, но я, исполняя приговор, не мог не знать, что убиваю члена царствующего дома».

Таким образом, кесарю было воздано кесарево.

Далее Иван Платонович еще и еще раз с негодованием отвергает обвинение в жестокости, брошенное ему приговором палачей и холопов двора:

«Я не зверь, — пишет он, — я — романтик».

Лучшей характеристики, чем сделал сам себе Каляев, трудно было сделать. Он — «романтик», романтик с ног до головы. Революция, партия социалистов-революционеров, террор, покушение, эшафот — все воспринимает он сквозь призму романтики.

Пока мы с Каляевым совещались по поводу этой его жалобы, Сенат совещался о приговоре, который должен был быть обжалован. Звонок. Выходит Сенат. Чтение резолюции. Смертная казнь.

Несмотря на грозные окрики Дрейера, Каляеву удалось после чтения резолюции прокричать в догонку быстро удаляющемуся Сенату:

— Я счастлив вашим приговором. Я надеюсь, что вы исполните его надо мной так же открыто и всенародно, как я исполнил приговор партии. Учитесь мужественно смотреть в глаза революции!

Рассмотрение дела в кассационной инстанции. Каляева перевезли в Петербург, где я не мог его часто навещать; поэтому я обратился к петербургскому присяжному поверенному Бернштаму с просьбой навещать Каляева и быть посредником между ним и волей. Мой выбор оказался как нельзя более удачным. В. В. Бернштам отдал Каляеву много времени, внимания и любви.

Само собой разумеется, что при слушании кассационной жалобы В. В. Бернштам выступал вместе со мной, тем более, что В. А. Жданов не мог поехать на заседание.

С Иваном Платоновичем я встретился уже в самом здании Сената, непосредственно перед слушанием дела. На мой взгляд, он совсем не изменился. Только еще ярче горело пламя энтузиазма в его глазах.

Прения ничего не прибавили к тому, что уже было сказано

в первой инстанции и написано в жалобе. Само собой, приговор был утвержден.

В ожидании решения Сената мы беседовали с Иваном Платоновичем, как старые друзья беседуют после долгой разлуки. Обо всем, кроме предстоящей казни. Все было для него давно и бесповоротно решено, зачем же об этом еще говорить? Да и что можно было сказать?

Простились мы с Иваном Платоновичем уже в самом заседании Сената немедленно по произнесении приговора. Бернштам, не обращая никакого внимания на негодование оскорбленных в своих лучших, верноподданнических чувствах сенаторов, обернулся к Каляеву, заключил его в свои объятия и горячо расцеловал. То же самое сделал и я.

Конечно, Каляев не подал прошения о помиловании. Его сестра рассказывала мне, что он взял и с матери слово не делать этого.

Мне потом передавали из достоверных источников, что министр юстиции Муравьев после обычного доклада у государя обратился к нему со словами:

— В заключение я принес вам смертный приговор Каляеву. Как прикажете поступить? Суд сказал свое слово. Теперь дело за вашим величеством.

Верный себе, царь не дал ответа прямого. Он подошел к окну, несколько мгновений побарабанил по стеклу и, обратившись к Муравьеву, спросил:

— Других дел для доклада у вас нет?

Аудиенция была окончена, и участь Каляева решена.

Казни в царское время, т. е. в его последний период, совершались не публично. В числе лиц, имеющих право присутствовать при смертной казни, закон упоминал защитника, но мы никогда не пользовались этим правом. Жданов, товарищ Каляева, очень его любивший, обещал Каляеву явиться на казнь, чтобы там проститься. Верный слову, он отправился в Петербург и потребовал пропуска. Департамент полиции был необыкновенно смущен такой необычной просьбой и прибегнул к хитрости. Разрешение было выдано, но одновременно было отдано распоряжение задержать под разными предлогами свидание вплоть до исполнения казни.

Казнь. Возвращался Жданов в Петербург с тем же пароходом, с которым ехал и барон Медем, жандарм, приводивший приговор в исполнение. Он вез с собой веревку, на которой Каляев был повешен: «для счастья», — как объяснял этот будущий градоначальник и палач Москвы

в момент вооруженного восстания. Его счастье состояло в том, что он умер до революции. Веревка Каляева ему помогла.

Мецем в разговоре со Ждановым говорил ему, что Каляев умер с большим мужеством. То же самое напечатал потом товарищ прокурора, присутствовавший при казни. Иван Платонович большую часть дня 5 мая (день казни) сидел и писал. Его знобило.

— Не подумайте, что я дрожу от страха, — обратился он к окружающим.

В 9 часов вечера прокурор сообщил Каляеву, что в предстоящую ночь казнь будет приведена в исполнение. Каляев спросил, не приехал ли его защитник Жданов? Само собой разумеется, последовал отрицательный ответ, хотя Жданов томился за стенами крепости в ожидании момента, когда его туда пустят.

Вошел священник, предложил исповедываться и приобщиться.

— Я человек верующий, — сказал Каляев, — но обрядов не признаю. Вы на меня производите впечатление доброго, хорошего человека. Позвольте, я вас расцелую.

И расцеловав священника, Иван Платонович его отпустил.

Далее он написал матери письмо, последнее письмо-прощанье следующего содержания:

«Итак, я умираю. Я счастлив за себя и с полным самообладанием могу отнестись к моему концу. Пусть же ваше горе, дорогие мои вы все: мать, братья, сестры, потонет в том сиянии, которым светит торжество моего духа. Прощайте. Привет всем, кто меня знал и помнит. Завещаю вам, храните в чистоте память нашего отца. Не горюйте, не плачьте! Еще раз прощайте».

Во втором часу ночи Каляев взошел на эшафот. К нему еще раз подошел священник с предложением приготовиться к смерти.

— Я уже сказал вам, что к смерти я готов!

Это были последние слова Каляева.[1]

---

[1] В нашей мемуарной литературе прочно укоренился, мы бы сказали, экзальтированно-влюбленный подход к «героям». Особенно — такого типа, как лейтенант Шмидт или Каляев. Старые мемуаристы явно пытаются создать из них легенду. Отдал некоторую дань такому обывательскому подходу и автор настоящей книжки.

Каким должен быть революционер — на взгляд восторженного обывателя, пусть даже из ученых? Простые, деловые персонажи его мало удовлетворяют. Слишком «будничны» они и непременно «серы». Настоящий обы-

вательский герой должен гореть. «Отдаться ярко, вспыхнуть и сгореть без остатка; смерть упоительна».

Кроме того, он должен быть «с трещинкой», т.-е. метаться, сомневаться, рвать на себе волосы, если они еще сохранились, и непрерывно отчаиваться. «Отчаянию Ивана Платоновича, казалось, не было границ. Я успокаивал его, как мог. Каляев, видимо, успокоился».

И, наконец, он должен быть, что называется, «человеком». Человеком — по образу и подобию обывателя, конечно. То-есть путаником, размагниченным и бесхребетным. Любить папу и маму, верить в господа-бога и лобзать руку, карающую тебя, как полагается всечеловеку.

Посмотрите, в самом деле, каким типичным «человеком» подан автором Каляев. (Таким он, нужно думать, и был, но посмотрите, как любовно здесь он выписан!).

Иван Платонович и верит и не верит в свое дело. И жертва и палач одновременно, он мечется между партийным долгом и «жалением». Так, занеся уже однажды руку над великим князем, он шарахается от кареты Сергия, заметив в ней княгиню и детей. Но он успешно подавляет в себе жалость во второй раз, убивая вместе с князем... кучера. В чем дело? Почему такой отбор?

А ведь всего несколькими строчками выше описания сцены с княгиней и детьми мы читали:

«По приказу Сергея Александровича, обер-полицеймейстер Трепов взял молодежь в шашки и нагайки. Не щадили никого: ни пола, ни возраста. Молодые девушки были избиты в кровь и изувечены».

Да, слуги реакции — не краснобаи!

Дальше — эти истерические психо-выверты с той же княгиней в тюрьме. Простите, но ведь это же прототип Керенского!

Покончив, наконец, с княгиней, Иван Платонович «заглядывает в глубь себя»; он уже целиком во власти «потустороннего», и автор не без почтительности добавляет:

«Каляев шел навстречу смерти с каким-то мистическим упоением, с восторгом, с каким влюбленный жених встречает свою невесту».

Ну, раз уж человек влюблен, он с каждой сволочью готов целоваться. Это немало трогает восторженного автора:

«Вошел священник, предложил исповедываться и приобщиться.

— Я человек верующий, — сказал Каляев, — но обрядов не признаю. Вы на меня производите впечатление доброго, хорошего человека. Позвольте, я вас расцелую.

И, расцеловав священника, Иван Платонович его отпустил».

(Жест, напоминающий неожиданное движение одного гоголевского персонажа в сцене с купцами).

Неловко так писать о героических покойниках, но слишком уж зализаны они «сочувствующим» обывателем.

Самую большую неожиданность движений все же проявил Иван Платонович в предсмертных строчках к матери и к сестрам:

«Завещаю вам, храните в чистоте память нашего отца».

Позвольте, какого «отца»? Ведь несколькими же страницами выше мы читали:

«По всем полицейским участкам была разослана фотографическая карточка, снятая с Ивана Платоновича. Его отец, по злой иронии судьбы, служил в Польше в качестве околоточного надзирателя. В присланной в участок карточке он не мог не узнать своего сына, — таким образом личность Каляева была разоблачена».

Этого вот самого «отца»? Нет, нет, тут что-нибудь напутано!..

Автор обмолвился, по поводу нелепого визита к Ивану Платновичу великой княгини и поведения самого Каляева, неожиданно для самого себя очень меткой и почти символической в отношении Каляевых фразой:

«Каляев, с его несколько сентиментальной и поэтической душой, вышел из своей роли революционера».

Превосходно сказано! «Вышел из своей роли революционера». Особенностью типа Ивана Платоновича, лейтенанта Шмидта и тому подобных легендарно-обывательских революционеров как-раз и является та изумительная быстрота, та «легкость необыкновенная», с какими входят и выходят они «из своей роли революционера».

Такой вот и Иван Платонович.

Был тихим, смирным юношей социал-демократом (социал-демократизм почему-то относится автором и самим Иваном Платоновичем к тихой «легальной работе»); писал чувствительные, в стиле Надсона, стихи; потом «был сослан и — вернулся алеутом». Алеутом не алеутом, а не менее отчаянным террористом. Честно «вошел в свою роль» и был действительным героем и революционером вплоть до ареста. А потом, выплатив «свой долг» революционера, столь же честно «вышел из своей роли» и опять нам показал свое первоначальное лицо. Лицо . . . лицо — «человека»!

Беда Иван Платоновичей, Шмидтов и т. п. не в том, что, покончив с ролью революционера, они начинают поражать вас неожиданностью «человеческих» своих движений, а в том, что и они сами, и почитатели, творящие из них легенду, никак не могут отделить эти движения от революции.

«Пусть же ваше горе, дорогие мои вы все, потонет в том сиянии, которым светит торжество моего духа» . . .

О, лабардан, лабардан! Долго еще ты будешь пленять умы мемуаристов из разряда почитателей! — *Ч.*

ГЛАВА XVI

СОЮЗЫ

Временные организации. — Союзы. — Профессиональная и политическая платформа. — Адвокатский союз. — Бойкот Булыгинской думы. — Социалистическая резолюция съезда адвокатов. — Демократические и буржуазные союзы. — Значение пролетариата при организации крестьянства. — Частичный характер крестьянских беспорядков прошлого века. — Процесс сикеринских крестьян. — Идейный характер крестьянских волнений первой революции. — Усталость от революции помещиков. — Характеристика деятелей Крестьянского союза. — Революционеры на час. — Крестьянские войны. — Арест бюро союза. — Союз и аграрные беспорядки. — Учредительный съезд. — Единение пролетариата и крестьянства. — Пассивное сопротивление. — Судебная ликвидация. — Экономические требования союза. — Сепаратный характер забастовки. — Разница в отношении судов к служащим и к постороннему элементу. — Бледность судебного процесса. — Отношение судебной власти. — Социальный состав союза. — Характер железнодорожного союза. — Его социальный состав. — Роль рабочих. — Движение снизу. — Борьба за профессиональный характер союза. — Структура союза. — Декабрьская забастовка. — Агония. — Судебная ликвидация. — Затяжка процесса. — Отношение судов к временным организациям. — Квалификация их, как смуты. — Заслуги союзов перед революцией. — Заключение. — Партии и союзы в революции. — Крестьянство и пролетариат в союзах.

АДВОКАТСКИЙ СОЮЗ

В р е м е н н ы е о р г а н и з а ц и и. Мы начали с процессов, предметами которых были массовые выступления в годы, непосредственно предшествующие революции. Затем мы очертили состояние как революционных, так и оппозиционных партий по характерным для них процессам. Что касается партии народной свободы, то так как она образовалась только в октябре 1905 года, ее процессы впереди.

Все эти партии, в общем, независимо иногда даже от своего желания, послужили делу революции, но все они, за исключением большевиков, каждая в свое время отошли от революции.

В. Г. Короленко однажды, опровергая мои нападки на кадетскую партию, сказал со свойственным ему уравновешенным умом:

— Нельзя считать, что одна какая-либо партия делает революцию. Ее делают все партии вместе. Одни намечают отдаленные идеалы, другие воплощают в жизнь то, что в данную минуту назрело.

Но не только партии делали революцию. Рядом с партиями, как постоянными организациями, делу революции принесли значительную пользу и временные единения, ею самой порожденные. К числу этих организаций в первую голову нужно отнести советы рабочих депутатов, а затем союзы и объединяющий их Союз союзов. [1]

Союзы. Как члену партии народной свободы, мне не пришлось участвовать в процессе совета рабочих и крестьянских депутатов ни в качестве члена его, ни в качестве защитника. Поэтому, несмотря на большую важность дела, нам придется его обойти в виду чисто мемуарного характера нашей книги. Зато в союзах я выступал, как член центрального бюро адвокатского союза, как член центрального бюро Союза союзов и как защитник целого ряда союзов на суде.

Как и кадетская партия, союзы возникли незадолго до революции, а потому их ликвидационные процессы происходили уже в эпоху ее ликвидации. Но так как деятельность союзов протекала, главным образом, до революции и во время ее, то, жертвуя архитектоникой, мы изложим здесь деятельность союзов и их судебную ликвидацию, а в отделе ликвидации революции мы уже не будем возвращаться к союзам.

Союзы быстро возникли для того, чтобы так же быстро и исчезнуть с горизонта политической жизни. В своем огромном большинстве они сыграли очень большую роль в первой русской революции. Это были широкие беспартийные организации без строго выработанной программы, но зато с определенной политической платформой.

Мы думаем, что не ошибемся, если, как общее правило, установим, что сначала образовались союзы менее демократические, как земский, адвокатский, а уже потом движение перебрасывалось на все более и более демократические слои, пока, наконец, не захватило крестьянства. Если не оши-

[1] Мы уже указывали на количественное понимание автором роли и смысла различных партий. Одна из них «более» революционна, другая «менее» революционна, — только и разницы. Само собой разумеется, что такое понимание ничего общего с марксизмом не имеет. — *Ч.*

баемся, то именно союз «Освобождения» дал общую директиву группировки по профессиям.

Профессиональная и политическая платформа. Самый важный вопрос, который неизменно волновал союзных деятелей, это вопрос о политической платформе. Социал-демократы меньшевики, верные доктрине профессиональных внепартийных союзов, дали директиву своим членам не участвовать в них, если союзное движение выставит политическую платформу[1].

Поднялся бой почти во всех союзах, кроме, пожалуй, крестьянского. Даже адвокаты меньшевики вышли из адвокатского союза только потому, что он преследовал политические цели. Теперь это уже история, и спор давно решен.

Адвокатский союз. Один из первых союзов, образовавшихся по директиве союза «Освобождения» был адвокатский союз. Никакими профессиональными нуждами и интересами он не занимался. Если иногда выставлялись какие-то требования и пожелания, вытекающие из занятия адвокатурой, то они проходили при общем невнимании и никого решительно не могли интересовать. Что, в самом деле, мог дать профсоюз насквозь буржуазной адвокатуре того времени?

И тем не менее, социал-демократы в сословии настаивали на исключении из союза какой бы то ни было политической платформы, т.-е. самой цели и самого смысла его существования.

---

[1] Здесь очевидная путаница. Автор путает подлинно-профессиональные, рабочие союзы с союзами мелко-буржуазной интеллигенции, что далеко не одно и то же.

Мы знаем, что на ряду с рабочим профессиональным движением, в начале революции 1905 года возникло псевдо-профессиональное движение. возглавлявшееся либерально-буржуазной интеллигенцией. Далее, в мае 1905 года состоялся в Москве первый съезд 14-ти таких союзов, и на нем был образован центральный руководящий аппарат союзов — так называемый Союз союзов. Отличительной чертой всех либеральных союзов было то, что они не отстаивали экономических интересов своих членов, а выставляли лишь политические требования, по существу скорее кадетские, с оттенком иногда радикализма. Под влиянием спада революционной волны и внутреннего расслоения союзов, Союз союзов к концу 1906 года совершенно сошел с политической сцены.

Политичность этого Союза союзов, естественно, отстаивает автор. Экономики у них не было совсем, и им только и оставалась либеральная, освобожденская политика. Союз союзов, разумеется, сыграл свою немалую историческую роль, но делать в нем, пусть даже и меньшевикам, было нечего, и путать меньшевистское невхождение в Союз союзов с подлинными расхождениями между меньшевиками и большевиками по вопросу о политичности или нейтральности профессиональных союзов не приходится. — Ч.

Бойкот Булыгинской думы. Действительно, реальный бой между умеренными и социалистическими группами шел по иным направлениям.

Прежде всего петербуржцы, во главе с Н. Д. Соколовым, разошлись с москвичами, во главе с Н. В. Тесленко, по вопросу о бойкоте Булыгинской законосовещательной думы. Съезд адвокатского союза происходил почти накануне октябрьской забастовки. Левая часть союза настаивала на тактике бойкота; напротив того, правые считали бойкот невозможным. Что касается старого поколения, воспитанного в «богом проклятую» эпоху восьмидесятых годов, то оно считало тактику бойкота совершенно неосуществимой и не верило в возможность массовых выступлений.

Мы, может, переоценивали значение думы, как революционизирующего начала и, напротив, недооценивали значение пропаганды революционного бойкота. Во всяком случае, тактика бойкота была, по заслушании моего доклада, большинством голосов, отвергнута,[1] и было постановлено итти на выборы, если они только будут происходить с соблюдением элементарных гарантий законности.

Социалистическая резолюция съезда адвокатов. Другой вопрос, внесший разногласие в союз адвокатов, был вопрос о социалистической резолюции. На петербургском съезде адвокатов левая молодежь внесла, в противоположность конституционной резолюции, согласованной со всеми недемократическими союзами, резолюцию социалистическую.

К изумлению авторов резолюции, она прошла в общей сумятице большинством нескольких голосов. Но победители сами испугались своей победы и первые просили о перебаллотировке. Уж очень комическую фигуру представлял собой союз адвокатов, принявший социалистическую резолюцию.

Социализм, если его проводить всерьез, требует таких жертв и такой революционной борьбы, на которую авторы упомянутой резолюции, как представители, все же, привилегированных классов, никогда бы, конечно, не пошли. Социалистическая фраза прикрывала собой мелко-буржуазную психологию.

Адвокатский союз, как союз буржуазный, вместе с кадетской партией был приспособлен для организации обществен-

[1] Роль, сыгранная в данном случае автором, была, конечно реакционная, при всех разговорах его о «революционизирующих началах». Любопытно, что даже Союз союзов на третьем съезде, в июле 1905 года, принял большинством голосов тактику бойкота Булыгинской думы. — Ч.

ного мнения, но не для организации общественных сил. В последнем смысле он был совершенно безнадежен.

Попытки адвокатского союза организовать забастовку носили несколько комический характер. Впрочем, отдельные адвокаты пытались срывать занятия в канцелярии суда, за что и были преданы суду.

Но здесь они действовали, как отдельные лица, и потому предавались суду персонально, а не в качестве деятелей адвокатского союза. Предъявлялись обвинения и к членам союза как таковым, но это давало лишь повод для политической демонстрации. Товарищи привлеченных немедленно обращались к прокуратуре с требованием их общего привлечения к суду в виду того, что они также состоят членами союза.

Манифест 17 октября вывел прокуратуру из нелепого положения, и все дела об адвокатском союзе были прекращены.

То же самое следует сказать и о других союзах недемократического характера: союзе земцев, инженеров, чиновников и пр. Их деятельность осталась безнаказанной.

Во-первых, потому что недемократические союзы, как мы говорили, были оторваны от масс и не могли быть обвиненными ни в руководстве забастовкой, ни в помощи вооруженному восстанию.

Во-вторых, адвокатский союз требовал конституции, которая была дана.

На требование же учредительного собрания тогда правительство закрывало глаза, если это требование было подкрепляемо резолюцией, а не революцией. Позднее взгляд переменился, и требование учредительного собрания само по себе считалось прокуратурой за стремление к изменению существующей формы правления.

С о ю з ы д е м о к р а т и ч е с к и е. Совсем иначе отнеслось правительство к союзам демократическим, непосредственно заведывавшим движением масс. Там, во-первых, самая платформа была далеко не так невинна, да и тактические средства более действительны и опасны для правительства.

Бюро железнодорожного союза, напр., могло одним росчерком пера остановить все движение в стране, превратить паровозы в «живые трупы», убить всякую торговлю, сделать бессильными войска.

Бюро почтово-телеграфного союза точно так же по мановению своей властной руки могло разобщить огромную империю, сделать мертвой телеграфную проволоку, отрезать правительство от его провинциальных органов.

Крестьянский союз, не имея в своем распоряжении такого средства, как забастовка, владел орудием не менее страшным: аграрными беспорядками.

Поэтому правительство, оставив в покое Союз союзов, адвокатский, союзы инженеров или чиновников, обрушилось на союзы демократические: крестьянский, почтово-телеграфный и железнодорожный.

КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ

Частичный характер крестьянских беспорядков XIX века. Крестьянский союз сыграл в революции значительную организационную и агитационную роль. Не он создал крестьянское движение; но он пытался придать движению более или менее планомерный характер.

Аграрные беспорядки начались задолго до революции. Строго говоря, они никогда не прекращались. Неудержимая, чисто стихийная тяга крестьянства к земле постоянно тлела, как искра, в народной толще, и стоило только помещичьей, государственной власти немного ослабеть, как эта искра разгоралась ярким пламенем.

Если аграрное движение, тем не менее, не претворялось в крестьянские войны, а эти последние — в крестьянскую революцию, то только потому, что ему недоставало организующего начала. В самом конце девятнадцатого столетия и начале двадцатого крестьянство нашло свой организующий элемент в лице пролетариата, связанного у нас тесно с крестьянством.

Рабочий класс стал во главе крестьянства, придал ему поддержку городских центров и повел его от победы к победе.

До самых последних лет прошлого столетия крестьянские беспорядки носили спорадический характер и возникали по самым разнообразным, но всегда частным поводам. К погрому крестьяне иногда прибегали, как к средству разрешить свои запутанные отношения с помещиком, как к мести за ростовщическое пользование последним своей землею и пр.

Я помню, мне пришлось защищать дело сикеринских крестьян, обвиняемых в беспорядках. Там, в сущности, не было даже погрома. Крестьяне считали, что помещик не в праве ставить запруду, мешающую работать их мельнице. Они всей деревней пошли объясняться с помещиком, успевшим вызвать исправника с войсками. И вот, едва толпа стала подходить к дому, как по ней был открыт ружейный огонь. В результате

были убитые и раненые. А дальше — процесс по обвинению в погроме.

Слушался процесс в Рязанском окружном суде с участием сословных представителей. Крестьяне были настолько очевидно правы, действия помещика и властей настолько очевидно возмутительны, что все подсудимые были оправданы при овациях переполнявшей судебный зал толпы.

Такой же частичный характер носят знаменитые Валкские аграрные беспорядки, беспорядки в имении великого князя Сергея Александровича, бравшего с кабальных крестьян ростовщические барыши, и др.

Идейный характер беспорядков первой революции. Но в конце 1904 и самом начале 1905 годов аграрное движение принимает уже обобщенный и осознанный характер. Оно приобретает характер классового орудия в руках крестьянства, орудия несовершенного, но ведь сам Столыпин сказал, что, когда в руках нет винтовки, приходится стрелять из кремневого ружья.

В то же время погромы учащаются, перебрасываются с одной усадьбы на другую, становятся «бытовым явлением» и покрывают помещичью Русь теми «иллюминациями», которые стоили автору этого крылатого выражения, Герценштейну, жизни.

Естественно, что землевладельцы, даже самые либеральные, забили тревогу. Они посылают правительству телеграмму за телеграммой, умоляют о присылке казаков, взывают об установлении «порядка», не стесняясь требованиями крайних партий. Так началось расслоение революции в деревне. Землевладельцы первые устали от революции.

Но когда Н. Н. Львов мне говорил, что от революции «устала» Россия, я имел полное основание ответить, что можно говорить об усталости привилегированных классов. Устал Львов, а крестьянство только начало входить во вкус революции.

В период между двумя революциями оно переварит тот идейный материал и тот жизненный опыт, которые восприняло от первой революции. В 1917 году, претворившись в армию, руководимую пролетариатом, крестьянство решит судьбы и помещиков, и династии, и самой монархии.

В 1905 году происходило характерное явление для всех революций: с одной стороны, стали «уставать» и отходить от нее лица, в свое время содействовавшие ее возникновению, а с другой — сама революция начинает пожирать собственных детей. Процесс этот был тогда, правда, еще в зародыше.

В отношении к земле у крестьян двух мнений не было. Когда после вооруженного восстания я был арестован и сидел в части, нас охранял жандармский дивизион. С одним из солдат-жандармов мне пришлось разговориться. Он мне рассказывал о тех «безобразиях», которые творятся у него на родине, в Пермской губернии.

— Наши крестьяне, — рассказывал мне солдат жандармбы пришлось издать учебник географии России. Некрасовский Рубят его лес и возят к себе. Безобразие!

Одним словом, мой страж, гарантируя себя постоянным припевом «безобразие», с нескрываемой радостью и сочувствием рассказывал мне о погроме в родной деревне.

При таком настроении крестьянства, если бы нам понадобилось перечислять все те места, где происходили погромы, нам бы пришлось издать учебник географии России. Некрасовский стих можно было перефразировать:

Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не громил!

Можно только удивляться, как при таких условиях правительство и сам царь могли ставить ставку на «мужичка», и как мог заблуждаться на этот счет ловкий и талантливый «творец» конституции и избирательного закона — граф Витте! Как могли они основывать свой избирательный закон в думу на верноподданнических чувствах нашего крестьянства!

Характеристика деятелей крестьянского союза. В таком настроении было русское крестьянство, когда образовался крестьянский союз. Он сформировался, кажется, последним, но сразу обратил на себя внимание.

Меня не мог, конечно, не интересовать вопрос, насколько крестьянский союз отражает подлинное крестьянство, и лично я вынес впечатление, что в общем и целом он верно представлял тогдашнее бунтарское настроение крестьянства, лишенного определенной программы, но грохочущее как раскаты грома.

Крестьянский союз входил в Союз союзов, членом бюро которого я был. Таким образом, мне приходилось с ним постоянно сталкиваться. Но и помимо того, со многими членами бюро я был в добрых отношениях, со многими потом сидел в тюрьме, так что характер крестьянского союза мне более или менее известен.

Громадное большинство главных деятелей союза из интеллигенции были «революционерами на час». Революционная волна нахлынула на них, подняла их на своем гребне, захватила иногда искренне, иногда безраздельно.

Но затем — «отлетели цветы, догорели огни»; схлынула революционная волна, и они не только отошли от революции, но и от политической жизни вообще. Впрочем, как мы увидим, это замечание в равной мере относится не только к крестьянскому союзу, но и к союзам вообще.

Председатель союза Курнин, крестьянин по происхождению, знавший хорошо психологию крестьянина, не порвавший своих связей с деревней, несомненно, сыграл свою роль в союзе. Но после революции он отходит и уже не принимает никакого участия в политичсекой жизни страны, стоит от нее в стороне.

Член центрального бюро, Андрей Тесленко, человек огромного темперамента, вполне искренне тогда отдался делу революции, в которую он был унесен своим темпераментом. Но схлынула революционная волна, и А. В. Тесленко весь свой огромный темперамент и большой практический смысл направил на коммерческую деятельность в фирме Чичкина. Мне приходилось иногда встречаться с ним, и я редко видел людей, так мало интересующихся политикой, как он. Он слился с обывательской толпой.

Третий видный деятель крестьянского союза, А. Ф. Сталь, — «неистовый Сталь», как мы его называли, бывший правовед, кандидат на судебные должности, — во время, предшествующее революции, стал быстро леветь. Он перешел в адвокатуру, вступил в кружок политических защитников, попробовал примкнуть к союзу «Освобождения», но его не удовлетворяла умеренность или, вернее, бестемпераментность союза, и он вступил в крестьянский.

Эмигрировав после короткого ареста, Сталь возвращается в Россию после революции, при временном правительстве, становится прокурором палаты, вновь эмигрирует и совершенно отстраняется от политики.

Старый революционер Белорусов, член центрального бюро крестьянского союза, из революционера превращается в контрреволюционера, и т. д.

Если такова была руководящая головка, то что же можно сказать о второстепенных деятелях союза. Лучше всего их состав охарактеризовал мне А. В. Тесленко:

— Возьмите невод и пройдите с ним по Тверской улице.

Потом посмотрите, что попало к вам в невод. Это и будет крестьянский союз.

Но именно такой разношерстный состав интеллигентных и полуинтеллигентных руководителей союза как нельзя больше подходил к тому периоду революционного развития, которое тогда переживало крестьянство.

Крестьянский союз был беспартийный, но не аполитичный. Его платформа может быть формулирована очень кратко: земля трудящимся. Политические требования, вплоть до учредительного собрания, были общие со всеми демократическими союзами.

Крестьянский союз хотели использовать все партии, но бюро тщательно оберегало его независимость. Кадеты в союзе не имели представительства. Некоторые члены бюро потом об этом жалели и жаловались, что в результате их «съели» социалисты-революционеры, которые и овладели всецело союзом. Бюро допустило ошибку. Правящая группа всегда должна быть центром. Если правого или левого крыла нет — его надо изобрести.

Бюро крестьянского союза в своих официальных выступлениях не переставало заявлять, что оно против погромов, но такие заявления были жестом чисто парламентского характера. Не мог крестьянский союз итти против стихии всего крестьянства; к тому же аграрные беспорядки приобрели уже известную целевую установку.

Чтобы сделать невозможным помещичье хозяйство, крестьянство набрасывалось и уничтожало самую базу своего врага: сельскохозяйственный инвентарь, скот и усадьбы.

С другой стороны, бесчинствовала администрация. Порка крестьян и истязания стали таким же бытовым явлением, как и погромы. Назначались администраторы с особыми полномочиями, но что они могли сделать?

Начиналась настоящая крестьянская война.

Арест бюро союза. Правительство, вследствие аграрных беспорядков, придавало крестьянскому союзу такое значение, что арестовало членов центрального бюро еще до московского восстания, т. е. во время, когда, говоря вообще, оно воздерживалось от произвольных арестов.

Предписание об аресте шло сверху, при чем была отдана дань конституционализму: было приказано арестовывать только тех, против кого можно было возбудить судебное дело.

Следователь Головня, уступая тогдашнему либеральному течению, нашел, что в деле крестьянского союза не имеется со-

става преступления. Все обвиняемые должны были выйти на свободу, но тут подоспело вооруженное восстание, правительство сбросило маску либерализма, и состав преступления был тотчас же найден.

Вообще, как деньги, по мнению Кречинского, водятся в каждом доме, надо уметь их только отыскать, так и состав преступления заключается в каждом поступке человека — надо только уметь найти его. А для этого у умного правительства существуют хорошие следователи.

Первое время настроение членов бюро крестьянского союза было боевое. Они не хлопотали о своем освобождении; они его требовали. Тюремный комитет присоединился к требованию, заявленному заключенными под угрозой голодовки, об освобождении Е. Н. Чирикова, Соловьева и Тана. Что касается Чирикова и Соловьева, то они действительно были при союзе лишь литераторами, но Тан принимал деятельное участие и состоял членом центрального бюро. Им была написана прекрасная прокламация: «Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом?».

Так как Тан написал ее у меня на квартире, то тут же прочел ее мне, спрашивая моего мнения. Я нашел прокламацию написанной очень хорошо и настоял на ее напечатании, так как сам Тан колебался.

Союз и аграрные беспорядки. Крестьянский союз нашел широкий отклик в крестьянстве. Его руководители официально подчеркивали, что союз удерживает крестьян от аграрных погромов. Конечно, подобное утверждение было неискренним, и союз придерживался в этом отношении тактики всякой партии, которая, с одной стороны, хочет быть открытой и легальной, а с другой, ведет несомненно революционную линию. Такой же тактики когда-то придерживался Парнелль в отношении фениев.

Осведомители правительства доносят ему о постановлении союза, что в Государственную думу надо проводить только таких депутатов, которые будут там стоять за отчуждение всей земли от помещиков. В этом лозунге не было ничего преступного. Но воззвание крестьянского союза им не ограничивается.

Оно призывает крестьянство еще до созыва думы отобрать землю от помещиков. В случае же отказа, воззвание рекомендует действовать оружием. Подобным призывом крестьянский союз, несомненно, стал на революционную точку зрения. И если потом крестьянский союз пытался выставить, подобно

партии народной свободы, свою конституционную лойяльность, то это обстоятельство говорит лишь о постоянном шатании мелкой буржуазии между «порядком» и революцией.

Перед съездом крестьянского союза его сторонники вели большую агитацию за присоединение к союзу. Собирались съезды крестьян по деревням и более крупным объединениям. На них читались воззвания союза и предлагалось избрать делегатов. К союзу присоединялись как отдельные крестьяне, так и целые общества. И так происходило почти по всей России.

Впервые крестьянство нащупывало пути революционной организации, впервые его организация охватывала такую громадную территорию, объединяла столь большое количество лиц и, наконец, впервые организация шла под определенным лозунгом. Везде составлялись приговора. Избирались крестьяне от сохи, избиралась и сельская интеллигенция в лице учителей народных училищ.

А потому на совещаниях прокуратуры было решено привлекать не только центральное бюро, но и работников на местах.

Учредительный съезд. 31 июля 1905 года собрался в Москве учредительный съезд крестьянского союза. Съехались делегаты от 22 губерний. Я присутствовал на целом ряде заседаний съезда и вынес впечатление о крайне революционном настроении его. Не было никакого сомнения, что деревня солидарна со своими делегатами в их стремлениях. Вопрос заключался лишь в том, насколько деревня поддержит физической силой выдвинутые ею требования.

Съезд иногда засиживался до глубокой ночи, и оригинальное зрелище представляла собою эта разношерстная масса народа со своими мускулистыми руками, грубыми лицами, решительными речами. Как это почти всегда бывало, съезд без существенных изменений принял все предложения организационного бюро.

В первую голову, конечно, шла отмена частной собственности на землю.

В области административной требовалось уничтожение власти земских начальников, этого наиболее ненавистного сословного института закабаления крестьянства дворянско-помещичьему классу.

Приведение своих пожеланий в исполнение съезд доверял только учредительному собранию, избранному на основах знаменитой четырехчленной формулы.

Считаем необходимым подчеркнуть, что съезд протянул

братски свою руку рабочим. В революции он решил итти плечом к плечу с пролетариатом.

Союз пролетариата с крестьянством, по мере углубления революции, только укреплялся и был идеологически сформулирован вождем пролетариата Лениным. Этот союз крестьянства и рабочих масс дал революции окончательную победу и упрочил ее завоевания. И доколе этот союз будет существовать, русская революция непобедима!

В случае отказа правительства в требованиях крестьянству было решено прибегнуть к пассивному сопротивлению, т.-е. к неплатежу податей.

Таким образом, отказ от платежа податей, как средство политической борьбы, был выдвинут еще до составления выборгского воззвания наиболее передовой частью крестьянства, его авангардом.

Крестьянство пришло в движение. Делегаты, вернувшись со съезда, распространяли повсюду его воззвания. В одном только Рузском уезде несколько сот выборных от волостей стали собирать сельские сходы, на которых и пропагандировали идеи крестьянского союза.

Ликвидация. Мы уже говорили, что в начале арестованные члены центрального бюро взяли высоко-революционный тон в своих отношениях к правительству и судебной власти. Но затем, с воцарением реакции в стране, лишенные революционного закала, они стремились ликвидировать процесс возможно безболезненнее, — конечно, без ущерба для своего человеческого и гражданского достоинства.

С своей стороны, суды пошли навстречу такому стремлению. Они сознавали, что деятели всевозможных союзов и временных организаций, в частности союза крестьянского, теперь не представляют для правительства и существующего общественного строя никакой опасности, как не опасны и сами эти союзы, почти все успевшие к тому времени «тихо скончаться».

И, несмотря на то, что ко времени слушания дела о крестьянском союзе в Московской судебной палате, суды были уже достаточно подобраны и развращены, последняя, рассмотрев 16 декабря 1908 года дело о центральном бюро крестьянского союза, вынесла оправдательный приговор. Правительство ничего не имело против мягкой и бесшумной ликвидации «в мире почивших» временных организаций 1905 года; но полное оправдание было уже «слишком». Приговор по делу крестьянского союза был опротестован проку-

ратурой и отменен Сенатом. Но и второе разбирательство дела закончилось очень снисходительным приговором.

Мне как-то пришлось разговаривать с одним из судей, настроенным черносотенно и жестоко по отношению к революционерам, о политике судов по отношению к союзам.

— В существовании всех этих союзов виновато, главным образом, правительство, которое их допускало; как только правительство запретило, так они прекратили свое существование, — сказал мне черносотенный судья. — При таких условиях мы считаем и несправедливым и бесполезным по этим делам выносить суровые приговора.

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЙ СОЮЗ

При таких условиях мы совершенно не можем понять, зачем понадобилось правительству предавать почтово-телеграфный союз военному суду. Вероятно, это было сделано еще раньше, под горячую руку.

Экономические основания забастовки. Почтово-телеграфная забастовка разразилась вне всеобщей забастовки, совершенно самостоятельно, и была вызвана более, чем какая-либо другая, причинами экономическими. Почтово-телеграфные служащие были париями среди всех других служащих. Их труд оплачивался ужасающе низко. Их рабочий день был ужасающе велик. Нигде эксплоатация труда не достигала таких размеров, как на почте.

Низшие служащие этого ведомства должны были жить впроголодь, ибо получаемое ими содержание было значительно меньше экзистенц-минимума. А потому общество, даже в лице своих наиболее реакционных классов, относилось с некоторым сочувствием к требованиям почтово-телеграфных служащих и протестовало лишь против забастовки, как орудия их осуществления. И правительство, и Союз 17 октября обещали улучшить положение чиновников почты и телеграфа. Лишнее прибавлять, что обещания не были осуществлены.

Бледный характер процесса и отношение суда. Весь процесс почтово-телеграфного союза производил настолько бледное впечатление, фигуры, представшие перед судом, были столь незначительны, что, несмотря на то, что я защищал главного обвиняемого, председателя союза, у меня обо всем процессе сохранились самые смутные воспоминания.

Отчасти бледность процесса объясняется тем, что идейный агитатор союза, доктор Столкинд (большевик), скрылся за гра-

лицу, и на суде нам приходилось иметь дело с массой, которая добивалась главным образом улучшения своего положения. Столкинд уже много позже, за границей, мне говорил, что эмигрировать его заставило ставшее ему известным настроение суда. Было решено сравнительно мягко отнестись к служащим, но беспощадно расправиться с посторонним элементом, пришедшим сюда для революции, в первую голову с ним.

Я с тем большим доверием отнесся к словам Столкинда, что сам мог убедиться в таком именно отношении правительства и судов к процессам почтово-телеграфных служащих и тем посторонним элементам, которые в них были замешаны, хотя бы случайно.

Мне пришлось защищать не только процесс центрального бюро почтово-телеграфного союза, но и местные процессы в провинции. Всегда я встречал снисходительное отношение к забастовщикам из среды служащих и беспощадное к посторонним «агитаторам», как бы мимолетна, случайна и незначительна ни была роль последних.

Так, в Вологде Московская палата, под влиянием черносотенного судьи Шадурского, осудила присяжного поверенного Макеева за несколько слов, сказанных случайно на каком-то собрании почтово-телеграфных служащих. Палата назначила этому эпизодическому лицу, не связанному ни с забастовкой, ни с союзом, такое же наказание, какое в Москве военный суд дал для главного обвиняемого, председателя центрального бюро союза: два года крепости.

Процесс центрального бюро союза в военном суде мы, защитники, вели, конечно, в общем согласии с волей обвиняемых, в самых ликвидаторских тонах. Мы заботились о судьбе обвиняемых, а не о пропаганде организации, к тому времени уже переставшей существовать.

В частности, обвиняемый, которого защищал я, инженер Двужильный, несмотря на руководящую роль, которую он играл, заботился исключительно о том, чтобы, без нарушения товарищеской и общегражданской этики, получить возможно меньшее наказание. Для этого ему приходилось в своих показаниях снижать политическое значение процесса и доказывать, что союз носил по преимуществу характер экономический и преследовал цели улучшения экономического положения служащих, мало интересуясь политикой.

Отчасти благодаря такому поведению главных обвиняемых, отчасти благодаря тому, что союз уже перестал к тому времени существовать, приговор был довольно мягкий, в особенности,

если принять во внимание, что дело рассматривалось военным судом.

Социальный состав. Рассматривая почтово-телеграфный союз с точки зрения его социального состава, мы увидим, что громадное большинство его членов принадлежало к низшей и средней категории служащих и было той прослойкой интеллигенции, которая примыкала к мелкой буржуазии, не сливаясь, однако, с ней окончательно, и которая постепенно на своих низших ступенях сливалась уже с чистым пролетариатом.

Правда, под влиянием самых разнообразных причин — желания страховаться перед революцией, общего увлечения и моды, — к союзу примыкали средние и даже высшие служащие; но не они составляли ядро союза и не они окрашивали его социальный состав.

Входили в союз, конечно, и революционные элементы, принадлежавшие к революционным партиям, но они были в значительном меньшинстве.

В общем, поскольку мне приходилось наблюдать почтово-телеграфный союз как во время его деятельности, так и в особенности в период его судебной ликвидации, мелкая буржуазия, заполнявшая его, производила на меня впечатление людей, втянутых в водоворот революции стихийным ее процессом; людей импульса, а не программы.

Схлынула волна революции, спало и их революционное настроение, и почти никто из деятелей почтово-телеграфного союза потом не играл уже сколько-нибудь видной роли в дальнейшем ходе революции.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОЮЗ

Характер железнодорожного союза. Значительно большую роль, чем телеграфный союз, в революции сыграл союз железнодорожный. Для этого было много причин. Во-первых, железные дороги составляют главную артерию кровообращения страны. Остановка кровообращения здесь сейчас же приостанавливает все движение хозяйственной жизни. Во-вторых, рабочие играют в железнодорожном деле роль гораздо более значительную, чем в почтово-телеграфном. Впрочем, и здесь все-таки главный контингент союза составляли мелкие служащие. Тем не менее, первый толчок к железнодорожным забастовкам дал пролетариат.

В саратовском управлении Рязано-Уральской дороги рабочие депо забастовали и стали снимать служащих.

Правительство, перед которым тогда стояла ответственная задача по перевозке армии, в испуге пошло на все требования. Первый успех окрылил железнодорожные кадры, и забастовки участились.

Таким образом, стачечное движение на железных дорогах начало развиваться снизу, а не сверху. Но одновременно с этим совпала организация по союзам, продиктованная, как мы видели раньше, союзом «Освобождение» и первоначально захватившая лишь более или менее буржуазные единения и группировки. Но постепенно движение перекидывалось на слои все более демократические и на известной стадии своего развития должно было захватить стихийно начавшееся возбуждение железнодорожного персонала.

Сейчас же по образовании союза железнодорожников в нем наметилась та же борьба, которая велась во всех союзах, борьба за профессиональный или политический характер союза. Но в виду той роли, которую играл железнодорожный союз, здесь всякая борьба имела для движения неизмеримо более важное значение чем, например, в таком союзе, как адвокатский. В конце-концов, однако, и здесь победила политическая, а не профессиональная линия. Однако, несмотря на политическую платформу и на тесное содружество с революционными партиями, союз оставался строго беспартийным.

Первоначальная политическая платформа союза носила очень умеренный характер. В ней даже не было сакраментального «учредительного собрания», замененного лозунгом созыва народных представителей с законодательной властью.

По своему составу, психическому настроению своих членов железнодорожные массы не могли уложиться в рамки партийные, и форма союзной организации была для того времени единственной формой, которая могла охватить и спаять железнодорожные массы. А потому политический характер железнодорожного союза не мог не сыграть колоссальной роли.

Социальный состав союза. Главные кадры железнодорожного союза, как и почтово-телеграфного, были низшие служащие, хотя рабочее ядро здесь играет гораздо большую роль, чем среди почтовых чиновников. Мне приходилось защищать некоторые провинциальные железнодорожные союзы, как, например, процесс о Каширской забастовке, и там рабочие играли значительную роль как в самой забастовке, так и на скамье подсудимых.

Примесь пролетариата давала железнодорожному союзу большую устойчивость по сравнению с другими союзами, цели-

ком состоящими из служащих. Эти последние в своем огромном большинстве примыкали к союзам в погоне за улучшением невыносимого материального положения. Они легко воспламенялись при успехе и так же легко охладевали под влиянием неудач и репрессий.

Еще в большей мере то же самое надо сказать относительно высших служащих. Многие из них вступали в союз только в виду той реальной силы, которую он приобретал. При ликвидации они спасали себя и, конечно, совершенно не заботились о союзе. В Каширской забастовке, о которой я сейчас говорил, один довольно видный инженер, бывший членом союза в дни его славы и могущества, дал такие показания:

— Мы получили от правления перед декабрем предписание повлиять на служащих и не допускать забастовки. Но что мы могли сделать при той политике, которой держалось само правление? Так, после первой забастовки в октябре мы предложили правлению не оплачивать прогульные дни. В ответ правление предписало уплатить полностью за все время забастовки. Это укрепило рабочих и служащих в убеждении, что в декабре они также получат деньги за дни забастовки и ничего не потеряют. Что мы могли сделать? Мы, ведь, не волшебники!

Объяснение было выслушано с большим сочувствием черносотенными членами палаты, на скамье же подсудимых оно вызвало восклицание:

— Значит, спасайся кто может!

Цитированная речь принадлежала бывшему члену союза; но, очевидно, ликвидаторские настроения были так сильно распространены в толще союза, что речь не вызвала резкого негодования и осуждения среди подсудимых. Не вызвала его и заключительная фраза последнего слова все того же подсудимого, с которой он обратился к судьям:

— Я вас прошу меня вернуть в то общество, к которому я принадлежу по рождению и воспитанию!

Структура союза. Не будем здесь долго останавливаться на подробностях структуры союза, поскольку она выявилась. Во главе стояло центральное бюро. Еще в апреле 1905 года оно созвало съезд железнодорожников, на который явились делегаты многих дорог и отдельных узлов. На совещании присутствовали представители партий социал-демократов и социалистов-революционеров. Съезд объявил союз учрежденным. На съезде была выработана программа или, лучше сказать, платформа союза: решено было существовать

в качестве самостоятельной организации, не сливаясь с какой-либо из революционных партий. Главным орудием в борьбе с правительством должна была оставаться забастовка, при чем бюро было уполномочено выбрать момент ее объявления.

Второй съезд, созванный в июле того же года, избрал для объявления забастовки особый орган и включил в свою платформу требование учредительного собрания. Вместе с тем решено было примкнуть к Союзу союзов.

Декабрьская забастовка. Успех первой всеобщей забастовки вызвал «головокружение». Окрыленные успехом забастовки, железнодорожные служащие решили, что они являются господами положения и что в их руках находится орудие борьбы, жало которого никогда не притупится. А потому, — то здесь, то там вспыхивали частичные забастовки, и центральное бюро было бессильно сдержать их. Так, помимо воли центрального бюро, была решена и проведена забастовка Петербургского узла, сыгравшая роковую роль для будущего вооруженного восстания.

Обессиленные сепаратной забастовкой, железнодорожники Николаевской линии в декабре (1905) не только уже не могли примкнуть к всеобщей забастовке, но даже не имели сил отказаться от перевозки войск в Москву для подавления вооруженного восстания.[1] А именно эти-то войска и содействовали с наибольшим успехом подавлению восстания.

---

[1] Автор, без тени критицизма, повторяет здесь старые кадетские, меньшевистские и отчасти эсеровские высказывания о причинах срыва в декабре 1905 года забастовки Петербургского ж.-д. узла. Во всем, мол, виновата предыдущая, ноябрьская забастовка питерских железнодорожников, проведенная ими вместе со всем пролетариатом столицы, под предводительством Совета рабочих депутатов!

Даже странно как-то в 1931 году, на расстоянии 25-ти лет истории, слышать такие банальности: «Успех первой всеобщей (т. е. октябрьской) забастовки вызвал головокружение». Бросьте ваши хихиканья, граждане! Дело совсем не в головокружении. Даже такой, вовсе не склонный к «головокружению» мемуарист, как бывший председатель ЦБ Союза железнодорожников В. Н. Переверзев, только и делавший, что громивший «сепаратные» забастовки ж.-д., — даже и он («Былое», 1925, № 4) свидетельствует:

«Приведенные неумолимой логикой событий к необходимости борьбы за свободу, без которой все профессиональное ж.-д. движение сводилось к нулю, железнодорожники, особенно в крупных центрах, уже не могли относиться безразлично к мероприятиям правительства, направленным к ограничению свобод, хотя бы эти мероприятия и не касались непосредственно ж.-д. мира. Жизнь к этому времени научила уже многих понимать, что ограничения, начавшись в одной области, неизбежно должны будут перейти в другую; и вот почему железнодорожники Петербургского узла, находясь в тесном контакте с Советом рабочих депутатов, не могли не поддержать последнего в ноябрьской демонстративной забастовке».

И правительство, и революция, — обе стороны готовились к новому бою, понимая его неизбежность. На конференции 29 железных дорог было решено начать забастовку 7 декабря и перевести ее в вооруженное восстание. В выпущенном воззвании конференция обвиняет правительство в целом ряде невыполненных обещаний. Конечно, конференция была в этом отношении права. Ни правительство, ни революция не могли ни психологически, ни социально примириться и сложить оружие. Борьба должна была вспыхнуть с новой силой.

Коротко напомним факты.

Происшедшее в конце октября (1905) восстание солдат и матросов в Кронштадте закончилось разгромом. «Зачинщики» были преданы полевому суду. В Польше было объявлено военное положение. Пролетариат Петербурга бурно реагировал на это явное наступление правительства. Питерский Совет РД объявил с 12 часов дня 2 ноября всеобщую забастовку, с требованием отмены военно-полевой расправы над кронштадтцами и снятия военного положения с Польши.

«Ноябрьская забастовка, — рассказывает другой мемуарист, бывший член исполкома СРД Д. Ф. Сверчков, — начавшаяся точно в указанное Советом время, охватила все предприятия и превзошла единодушием даже октябрьскую. В ноябре забастовали очень многие из мелких фабрик и мастерских, не принимавших участия в октябрьской стачке. Стали все железные дороги, кроме Финляндской. Среди различных войсковых частей Петербургского гарнизона происходили митинги»...

Это-то и был пресловутый «сепаратизм».

«Вечером в день возникновения всеобщей ноябрьской забастовки состоялось заседание Адмиралтейств-совета, на котором было решено отменить назначенный над кронштадтцами военно-полевой суд и предать их обыкновенному военному суду за «буйство в пьяном виде». Через несколько дней было объявлено, что военное положение в Польше будет снято. В связи с достигнутым успехом, СРД постановил — забастовку прекратить».

Кадеты реагировали на эту забастовку страхом и молчаливым — пока! — неодобрением. Меньшевики говорили о ней, как о «крупной ошибке петербургского пролетариата».

Тот же Сверчков, встретившийся позднее лично с Г. В. Плехановым, в книге «На заре революции» рассказывает:

«Прежде всего Г. В. подверг жестокой критике ноябрьскую забастовку и указывал на то, что в результате обессиления пролетариата, которое вызвала эта забастовка, и последующего проведения восьмичасового рабочего дня революционным путем — петербургские рабочие обессилели и не могли поддержать Москву в декабре. Я доказывал ему целесообразность и необходимость ноябрьской забастовки, расположившей в нашу пользу войска и являвшейся неизбежным этапом на пути к вооруженному восстанию. Тем не менее, он остался на прежней точке зрения и впоследствии высказал ее и в печати».

Вот эту-то точку зрения и повторяет ныне Мандельштам, забывший, видимо, что и самое-то вооруженное восстание в Москве, т.-е. разгром его, Плеханов проводил зловещими словами: «Не нужно было браться за оружие». Плеханов ведь всегда был щедр на директивы... задним числом!

К вопросу о причинах срыва забастовки на Питерском ж.-д. узле в декабре 1905 года мы еще вернемся. — Ч.

Она вспыхнула в декабре. Революция была подавлена.

Далее начинается тот же процесс судебной ликвидации и агонии союза, который мы имели случай наблюдать на примерах крестьянского и почтово-телеграфного союзов, с тою только разницей, что союз железнодорожный держится и распыляется гораздо труднее, чем другие аналогичные организации. Объясняется это, как мы видели, наличием большого пролетарского ядра. Железнодорожный союз, благодаря этому, влачил еще года два свое существование, но по существу это была уже агония.

Агония. После роспуска первой думы в Гельсингфорсе была созвана вторая конференция союза, и я там виделся с председателем союза, В. Н. Переверзевым. На мой вопрос, почему союз не прибегнет к забастовке, Переверзев ответил мне, что по условиям сегодняшнего дня это немыслимо. Правительство отнесется к забастовке так же, как и к вооруженному восстанию, т.-е. пошлет карательные экспедиции, которые будут расстреливать направо и налево.

Это не помешало конференции принять самые решительные постановления, вплоть до захвата власти.

Железнодорожный союз по необходимости должен был перейти в подполье, а там он был совершенно ненужен — рядом с подпольными партиями. В подполье революционные партии будут работать лучше, конспиративнее и умелее, чем союзы, предназначенные самой своей природой для втягивания в революцию широких масс и для открытой деятельности.

Если память мне не изменяет, то в Гельсингфорсе рядом с железнодорожным союзом были представители от крестьянского, почтово-телеграфного и др. союзов. Но все это были штабы без армии, которая при переходе в подполье рассеялась. Штабы принимали самые страшные резолюции именно потому, что понимали, что резолюции останутся на бумаге. Время союзов прошло. Опять наступала очередь подпольной партийной работы.

Союзы умерли, но свое дело они выполнили. Они пробудили в массах сознание человеческих прав, они зажгли стремление к политической борьбе, они хоть на минуту показали забитым, загнанным людям возможность иной, свободной жизни и иного, человеческого существования.[1]

---

[1] Характерно, что автор совершенно обошел молчанием сыгравшие такую большую роль в революцию пятого года профессиональные рабочие союзы. Даже говоря о том, что «социалистические партии будут теми закон-

Социалистические партии будут теми законными наследниками, которые впитают в свои ряды все наиболее живое и энергичное, что выдвинули союзы.

Судебная ликвидация. За ликвидацией в жизни последовала ликвидация судебная. Правительство, очевидно, избегало одного общего грандиозного процесса, боясь его агитационного значения. Оно предпочло большую реку разбить на множество мелких ручьев. Даже одно и то же лицо, участвуя в разных железнодорожных союзах, привлекалось по нескольким процессам.

Переверзев, например, привлекался одновременно по двум делам. То же самое надо сказать о Г. Б. Красине.

Отношение судов. Как это ни покажется странным, но правительство не преследовало железнодорожного союза с обычной своей жестокостью. Дело было просто заброшено. Главный обвиняемый, председатель союза Переверзев, судился лишь в 1916 году. Приговор был обжалован, и уже в 1917 году, почти накануне революции, Переверзев по применении манифеста был приговорен к... шести месяцам заключения, т.-е. к наказанию, к которому та же палата приговаривала часто гимназиста за передачу пустой брошюры. Конечно, смешно было судить в 1917 году, т.-е. накануне второй революции, за деяние, совершенное в 1905 году, т.-е. во время революции первой.

Но самая возможность такой затяжки процесса лучше всего свидетельствует о малой заинтересованности в нем правительства.

Нам приходилось уже останавливаться на разнице квалификации преступления в качестве бунта или в качестве смуты, и мы видели, что процессы социал-демократической партии, которые в своем большинстве должны были итти по 126 ст., т.-е. как смута, благодаря энергичному «нажиму на закон», квалифицировались, как бунт, по 102 ст. Ул. о нак. Здесь же, напротив, несомненно, что железнодорожный союз в 1905 году затевал бунт, а не сеял смуту, и тем не менее, дело было направлено по 126 ст., т.-е. квалифицировалось как смута.

Несомненно, играла роль уверенность правительства и суда, что большинство деятелей железнодорожного союза — «рыцари на час», после того как этот час прошел, уже не представляют

ными наследниками, которые впитают в свои ряды все наиболее живое и энергичное, что выдвинули союзы», он разумеет союзы «демократические», но отнюдь не те рабочие профсоюзы, которые явочным порядком действовали до революции, в революцию и после революции пятого года. — *Ч.*

для данного строя никакой опасности. Между тем как деятели революционных партий — постоянные и непримиримые враги правительства и социального строя.

Впрочем, квалификация железнодорожного союза в качестве смуты может быть объяснена еще и тем, что первоначально, до появления знаменитого решения Сената, все процессы направлялись по 126 ст. По этой статье был направлен, между прочим, и процесс Баумана. Но там действительно люди лишь подготовляли почву для революции, которая неизвестно когда осуществится, здесь же союз приостановил железнодорожное сообщение, выступая союзником разразившегося вооруженного восстания.

Помимо того, министерство тотчас же после пресловутого решения Сената разослало циркуляры о переквалификации всех процессов, находящихся в стадии предварительного следствия.

Все это мы говорим не для того, чтобы выставить мягкость правительства. Оно не отличалось сентиментализмом по отношению к своим врагам. Если мы здесь особенно подчеркиваем снисходительность правительства, то делаем это, чтобы показать разницу в его отношении к революционным партиям и к тем организациям, которые в таком множестве возникали в революционный период, чтобы затем кануть в Лету.

Правительство прекрасно понимало, что перед ним на скамьях подсудимых труп, и даже не «живой труп».

Чтобы не быть дурно понятыми, мы, заканчивая эту главу, должны сделать две оговорки.

Во-первых, некоторые деятели союзов остались верны революционной работе и вошли в социалистические партии. Но тогда они выступали уже персонально за свой страх и риск. Они работали уже как члены той или иной революционной партии, а не как члены мертвого или агонизирующего союза.

Во-вторых, эфемерное существование союзов не умаляет их колоссальной заслуги перед великой русской революцией. Союзы — это всколыхнувшиеся массы, а массы неспособны к систематической революционной работе. Но зато без масс нет ни революционных перспектив, ни самой революции.

Союзы сделали свое дело и ушли в неизвестность, чтобы в другом виде, в другую эпоху и в другой форме вновь появиться на поверхности политической жизни, на этот раз уже «всерьез и надолго».

З а к л ю ч е н и е. Подведем итоги тем выводам, которые мы можем сделать из всего союзного движения.

Когда в общественно-экономических формах назревает потребность в тех или иных «героях», то история легко подбирает необходимый человеческий материал, не всегда даже справляясь с тем, обладают ли «герои» действительно выдающимися чертами ума и характера?

Она так же легко отбрасывает этот материал, когда надобность в нем проходит. Для поверхностного же историка всегда кажется, что смена исторических фигур происходит благодаря их гению или их ошибкам и что они являются настоящими хозяевами положения и событий.

Русская революция в той фазе, на которой она была в 1905 году, нуждалась в экспансивных, легко возбуждаемых людях, может быть, не особенно глубоких, но именно, благодаря некоторой исторической своей беззаботности, легко на все дерзающих.

Роль союзов и партий в революции. Во-вторых, для данного периода революционного движения, когда массы были еще не дисциплинированы, не втянуты в партийную жизнь и чужды партийному расслоению, нужны были в качестве посредников между партиями и массами именно такие широкие внепартийные организации, с платформами и лозунгами вместо программы, с бурным революционным настроением вместо глубоко продуманной идеологии.

И такие организации явились сами; они выдвинули подходящих к моменту людей. Придет время, революция углубится, партии популяризуются, массы получат некоторое политическое воспитание, втянутся в партийное руководство не на лозунге дня, не на платформе месяца, а на цельной программе, и роль союзов значительно изменится.

Таков закон истории! Она быстро меняет организации и человеческий материал.

Это не мешает, конечно, при ретроспективном освещении признать, что «благословен и дня восход, благословен и тьмы приход», т. е. что все деятели и организации революции были хороши в свое время и на своем месте. В свое время французская революция выдвинула Мирабо, в свое время Дантона и в свое время Робеспьера.[1]

Нужно много умственного и волевого мужества, чтобы, получивши от истории отставку, иногда без пенсии и без мундира,

---

[1] Опять и опять количественное понимание развития революции и роли партий, наряду с полным непониманием социального содержания последних и, значит, социального различия партийных фигур. — Ч.

не обозлиться на своих преемников, не попытаться играть исторической роли, хотя бы в кукольном театре эмиграции, а слиться со своим народом.

Мы проследили за составом центрального бюро крестьянского союза, но такая же судьба постигла и деятелей всех других союзов. Если забвение поглотило союзы демократические, то о недемократических, как, напр., земском или адвокатском, я уже не говорю. Они тихо скончались естественной смертью.

Крестьянство и пролетариат в союзах. В-третьих, крестьянство. Оно только-что вошло в революцию. Крестьянский союз попытался дать некоторое оформление его вольной стихии. Когда революция была подавлена, крестьянство приняло репрессии, как стихию, как пожар, наводнение, землетрясение. В процессе первой революции наше крестьянство не успело организоваться. В союзе оно только искало этой организации. Но разбросанное, разрозненное, крестьянство было органически неспособно к систематической нелегальной деятельности.

В-четвертых, пролетариат. В эпоху конструирования союзов пролетариат, по крайней мере в лице авангарда, уже перерос союзное движение. Его представители в союзах являются сознательными борцами за революцию. Но для периферии пролетариата и его наиболее отсталых частей союзы тоже сыграли положительную роль.

В-пятых, интеллигенция. К этому времени различные прослойки интеллигенции настолько обособились, что говорить обо всей интеллигенции, как о чем-то целом и едином, не приходится.

ГЛАВА XVII

ПРЫЖОК ТИГРА

Подготовка к новой схватке. — Видимая пассивность правительства. — Погромы. — Предполагавшийся погром в Москве. — Его отмена. — Печать. — Газета «Жизнь». — Заключение. — Выжидательная политика правительства. — Административные и судебные репрессии. — Бессудные расстрелы. — Директива царя. — После восстания. — Последний номер «Жизни». — Разоблачения действий охранки. — Мой арест. — Сретенский арестный дом. — Первые вести о расстрелах. — Режим в Таганской тюрьме после подавления восстания. — Взаимное непонимание интеллигенции и масс в тюрьме. — Прообраз 1917 года. — Дело Шмита. — Ночная беседа. — Шмит на расстрелах. — Допрос и выдачи. — Расстрелы в Коломне. — Шмит отрекается от своих показаний. — Предание Шмита суду и его самоубийство. — Предупреждение офицера, дежурившего в охранке. — Обсуждение в охранке плана убийства меня и Лунца. — Принятые меры. — Убийство Лунца.

НА ГРЕБНЕ

Подготовка к новой схватке. Гребнем я считаю период, начиная с октябрьской забастовки и кончая декабрьским вооруженным восстанием. Наивысший подъем революционной волны и в то же время наибольшая растерянность правительства.

За весь период, как кажется, не было поставлено ни одного политического процесса. Очень редки были и аресты. Арест деятелей крестьянского союза являлся исключением.

Таким образом, этот очень интересный период отразился уже в дальнейших репрессиях правительства задним числом.

В краткий период в несколько месяцев от октября до декабря мира не было, было только перемирие. Обе стороны готовились к бою.

Для социалистических партий прекращение забастовки было «передышкой». Вот постановление Московского комитета партии социал-демократов: «Так как всеобщая политическая забастовка еще раз показала, что, несмотря на огромные

результаты, одной ее недостаточно... — немедленно готовиться к следующей политической забастовке, которая должна превратиться в решительную битву пролетариата за свои минимальные экономические и политические требования».

На этой резолюции, очевидно, сошлись обе фракции, которые и организовали федеративный совет комитета (большевики) и группы (меньшевики) «для руководства выступлениями московского пролетариата».

Такой же тактики держалась и партия социалистов-революционеров.

На всех митингах, на всех собраниях производился сбор средств для вооруженного восстания.

Рабочие типографии как-то пригласили меня председательствовать на их собрании. Заседание происходило публично, и, тем не менее, один из наборщиков в страстной речи призывал к вооруженному восстанию, нисколько не заботясь о маскировке своего призыва.

Речь оратора была покрыта бурными аплодисментами, и после нее состоялся сбор средств на приобретение оружия.

Социал-демократы не ограничивались пропагандой среди рабочих. Они старались распропагандировать и солдатскую массу. Однажды член партии большевиков Шанцер обратился ко мне, как к директору литературно-художественного кружка с просьбой предоставить зал кружка под митинг солдат. Я исполнил просьбу Шанцера, хотя понимал, что выхожу из пределов предоставленных мне прав по распоряжению помещением кружка.

В назначенный день явились солдаты, арестовали всех директоров, поставили военный караул у телефона и у всех входов и выходов. Таким образом, они довели свой митинг до конца. За эту историю дирекция, и в особенности я, имели большие неприятности.

Видимая пассивность правительства. Правительство делало вид, что ничего не видит и не замечает. Была ли это растерянность власти или заранее обдуманный план, который так любят все правительства, знающие, что они сильнее революции: вызвать ее на улицу и разгромить? На этот вопрос я и до сих пор не решусь дать ответа.

Ответить будет тем труднее, что тогда у нас было не одно, а несколько правительств: так называемое «сферы», дающие общие директивы; официальное правительство Витте, главы кабинета, который быстро утратил доверие царя и потому не имел никакого влияния даже на своих непосредственных подчинен-

ных; правительство министра внутренних дел Дурново, фактически управляющего страной; правительство совета рабочих депутатов, с которым нельзя было не считаться потому, что оно могло в любой момент остановить всю жизнь в стране; и наконец — погромное правительство, пользовавшееся симпатиями царя, опирающееся на охранку и союз русского народа в качестве общественного элемента.

На какое-то замечание своего товарища по министерству Урусова Дурново хвастливо ответил: «Вот вы упрекаете меня в отсутствии принципиальности. У меня один принцип: действовать так, чтобы царь был мною доволен!».

П. Н. Милюков рассказывал мне тогда, что между ним и Витте состоялось свидание по вопросу образования правительства. После краткого обмена мнениями, из которого выяснилось, что комбинация министерства из старых бюрократов и новых общественных деятелей в качестве «светских ширм» не осуществима, Витте поставил вопрос: что же в таком случае делать?

— До созыва Государственной думы образовать деловое министерство, — последовал ответ.

По словам Милюкова, Витте остался очень доволен советом. Охотно этому верим, но нельзя не признать, что Павел Николаевич проявил большой юмор. Деловое министерство, когда каждый день ставил перед правительством самые сложные принципиальные вопросы, каждый день приходилось ломать все устои министерского прошлого! Одним словом, деловое министерство во время революции! Что может быть остроумнее такой программы? В ней весь Милюков.

Впоследствии Горемыкин, внесший в первую Государственную думу для ее открытия свой знаменитый законопроект об устройстве прачечной, несомненно осуществлял программу делового кабинта Милюкова.

П о г р о м ы. Не прибегая или, если прибегая, то с большой осмотрительностью, к официальным репрессиям судебного или внесудебного характера, правительство заменило их своим давнишним, излюбленным средством: погромами. Но между новой волной погромов и погромами времен Кишинева и Гомеля такая же разница, как между европейской регулярной армией и партизанским отрядом. Теперь погромная политика была систематизирована, поставлена во всероссийском масштабе.

Впрочем, в погромах евреи впервые получили равноправие. Правительство после манифеста громило «без различия нацио-

нальностей и религии» всех своих врагов. Интеллигенция, революционно настроенная, земцы, третий элемент, либеральные земцы, — все были уравнены в правах с евреями.

В Томске сожгли здание, где собралась местная интеллигенция, в Твери то же самое сделали с зданием местной управы. В том и другом случае были человеческие жертвы.

В Саратовской губернии громили вообще третий элемент, досталось по спине и второму в лице Н. Н. Львова, приехавшего, чтобы остановить погром земских служащих. Громили «без различия национальностей».

Предполагавшийся погром в Москве. В ту пору Москва стояла во главе движения, и потому было бы неестественно, если бы именно она осталась в стороне от погромного воздействия и «была бы оставлена царской милостью».

Слухи о погроме ползли сначала неощутимо, потом принимали все более и более осязаемые формы. Но устроить погром, в особенности еврейский, в Москве — технически гораздо труднее, чем в провинции. Там евреи скучены в одном месте. В Москве они рассеяны по всему городу. Тогда в охранном отделении, по долгу службы организующем патриотические восторги, возникла счастливая мысль, взятая напрокат у средневековья, — крестами отметить квартиры, подлежащие разгрому.

Однажды, возвращаясь домой, я нашел на парадной лестнице и на двери моей квартиры таинственные кресты. То было подтверждение слухов, упорно распространившихся по всему городу, что моя квартира предназначена к погрому.

Жена моя, известная в то время артистка Голубева, служила в театре Комиссаржевской в Петербурге. Квартира из шести комнат была почти пустая, и потому у меня всю зиму жили легальные и нелегальные политики. Останавливались и подолгу жили Тан и Милюков, почти все время проводившие в Москве благодаря тому, что именно здесь сосредоточивался центр общественной и революционной жизни. Но как-раз недели за две до предполагаемого погрома оба они уехали.

Во время погрома у меня скрывалось человек пять-шесть большевиков: Медведева, после убийства и похорон своего мужа перешедшая на нелегальное положение; Санина; два каких-то партийных деятеля, приехавшие после амнистии; и работница с фабрики, где Медведева вела агитацию.

По мере нарастания слухов вся компания разбрелась по более безопасным убежищам. Оставалось спрятать Медведеву. Даже прислуга покинула квартиру, заявив, что боится

погрома. Как я потом узнал, агент охранного отделения, которому было поручено следить за мной, для более удобного наблюдения вступил в связь с горничной. Он-то и предупредил ее о готовящемся разгроме моей квартиры.

Обо всем этом я узнал уже позже. Тогда думал, что уход прислуги объясняется тревожными слухами.

Медведеву я поместил у Саблина и остался совсем один. Раздается звонок. Отпираю. В квартиру входит вооруженный с головы до ног отряд дружины, состоящий из помощников присяжных поверенных и студентов. Они объявили мне, что комитет, узнав из достоверных источников об угрожающей мне опасности, прислал их охранять меня.

Я пригласил дружину в столовую, угостил, а потом просил не заботиться обо мне и итти туда, где их присутствие более необходимо. В ответ на выраженное моей охраной недоумение я, перефразируя известную поговорку, сказал:

— Избави нас бог от дружинников, а с погромщиками мы сами справимся.

— Ты должен был ответить: «Избави нас бог от дружинников, а от погромщиков мы сами удерем», — поправил меня мой друг С. Е. Кальманович, когда я рассказал этот эпизод.

Уже теперь, на защите процесса красных директоров, ко мне обратился мой товарищ по защите, ЧКЗ Дружинин, и спросил, узнаю ли я его. Получив отрицательный ответ, он мне напомнил, как он со студентами и молодыми адвокатами приходил охранять меня в 1905 году.

К нашему общему изумлению, погрома у меня в квартире не было. Его не было вообще в Москве. Мне рассказывали, что Московская дума, разумеется, неофициально, посылала делегацию в министерство внутренних дел хлопотать об о т м е н е п о г р о м а. (Невероятно, но факт!). Погром был отменен.

Но, конечно, такое благоприятное решение относилось только к столицам. В большинстве провинциальных городов, имевших революционное значение, погромы состоялись, и их жертвы насчитывались сотнями.

П е ч а т ь. Октябрьский манифест, в числе других свобод, «даровал» свободу печати. Партии поспешили воспользоваться вырванным у врага оружием, чтобы усилить свою армию. Никаких законов, регулирующих действие свобод, а в том числе и свободы печати, первое время издано не было, а потому свобода понималась в смысле безграничности. Революционные партии поспешили организовать легальные органы печати в Москве и Петербурге.

В Москве большевики основали ежедневную газету «Борьба». Фактическими редакторами ее были М. Н. Покровский и Н. А. Рожков. «Борьба» вела яростную атаку против правительства, буржуазии и партии народной свободы. Она недвусмысленно призывала к вооруженному восстанию; одним словом, она была официозом большевиков и поддерживала их программные и тактические положения.

Рядом с ответственными органами печати, отражающими настроение политических партий, народилось много органов, отражающих бурлящую улицу, без определенной программы, кроме программы наибольшей розницы. Если бы завтра настроение улицы резко изменилось, то и они бы последовали за новым течением. То же самое, и даже в большей степени, можно сказать о тех из старых газет, которые всегда плыли по течению. Они старались быть революционнее самой революции.

Газета «Жизнь». Партия народной свободы, кроме своего еженедельника и органов официально беспартийных, но очень тесно связанных с партией персональной унией, как «Русские Ведомости» или «Право», издавала официоз «Речь», редактируемую Милюковым и И. В. Гессеном.

Все перечисленные издания отражали тактику правого крыла партии, с которым мне тогда приходилось непрерывно воевать. Левому крылу был необходим свой орган. Я пригласил в качестве талантливого и опытного журналиста своего старого друга Н. Е. Эфроса, и нам удалось основать свою газету «Жизнь».

На заголовке газеты стояло, что она является органом левого крыла конституционно-демократической партии, но на самом деле она была значительно левее партии вообще.

«Жизнь» закрывалась впоследствии бесчисленное количество раз, выходила под новыми названиями, при чем утратила всякую связь с партией и перешла в другие руки, а я перестал играть в ней руководящую роль. Но все это было уже после вооруженного восстания, после моего ареста, высылки и ссылки.

Здесь же нас интересует период от октября до вооруженного восстания. В этот период политическим отделом заведывал я, а газетным — Н. Е. Эфрос. В качестве постоянных сотрудников работали: Тан, Ашешов, Дживилегов, Жданов, Любошиц и др.

Вступительная статья, мною написанная в марксистском духе, вызвала нарекания моих товарищей, обвинявших меня в том, что «я прошусь в двоюродные братья к социал-демо-

кратам». С другой стороны, и социал-демократы, большевики и меньшевики, напали на нашу передовую статью за кадетство.

Но больше всего нареканий и выпадов мне приходилось переносить от органов партии народной свободы, против некоторых действий Центрального комитета которой мне пришлось очень энергично восставать.

Мы выбросили лозунг: «налево у нас врагов нет». Потому мы оставляли без ответа все нападки «Борьбы» и других левых органов. К тому же, было очевидно, что сколько бы мы ни противодействовали вооруженному восстанию, участь которого была по нашему мнению предрешена, восстание все-таки состоится.

Психология возбужденных масс должна была докатиться до своих крайних пределов, и если бы между нею и вооруженным восстанием встали даже революционные партии, большой вопрос, сумели ли бы они его предотвратить.

А при подобных условиях нельзя было ослаблять силу удара, пусть даже заранее обреченного на неудачу.

Таковы причины, заставлявшие меня воздерживаться от полемики налево.

Верное принятому правилу, правительство и по отношению к печати держалось принципа laissez faire, laissez passer. Оно закрывало глаза и затыкало уши. Самые революционные органы продолжали выходить беспрепятственно, самые революционные статьи не встречали никакого противодействия и не вызывали репрессий ни судебных, ни административных.

Единственный раз, когда правительство реагировало немедленно, был случай с манифестом некоторых общественных организаций, приглашающим вынимать вклады из сберегательных касс. В своих записках Витте очень жалуется на реальные результаты призыва. Правительство испугалось не за «веру царя и отечество», а за свою кассу, а это гораздо опаснее. Оно предупредило, что за напечатание воззвания будет привлекать к суду. И действительно, когда некоторые органы поместили воззвание, их ответственные редакторы были подвергнуты судебному преследованию.

Впрочем, может быть, и по другим делам о печати состоялись постановления о привлечении к судебной ответственности. Но, во всяком случае, они носили чисто платонический характер. Ни к каким непосредственным результатам привлечение не влекло.

З а к л ю ч е н и е. Таким образом, репрессии правительства как против революционных партий, так и против революцион-

ной печати на гребне революционной волны почти отсутствовали.

Правительство, как тигр перед прыжком, притаилось и выжидало. Репрессии против крестьянского союза, против союза почтово-телеграфных служащих, попытка расстрела инженера в Кушке составляли не правило, а исключение из него.

Единственно, на чем правительство отводило душу, были погромы, по преимуществу еврейские, но не только еврейские.

ПО ТЮРЬМАМ ПОСЛЕ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ. СРЕТЕНСКИЙ УЧАСТОК

Административные и судебные репрессии. Правительство готовилось к своему прыжку тигра. Оно выбирало момент и притаилось. Момент настал: московское вооруженное восстание.

Подавив восстание, правительство вознаградило себя за долгий пост. Оно устроило роскошное разговенье. В распоряжении правительства были три способа борьбы с революцией путем репрессий.

Во-первых, расстрелы без суда и следствия в административном порядке. Иногда эти расстрелы проводились прямо и открыто, иногда они маскировались «попытками к побегу». В Москве бессудные расстрелы широко практиковались генерал-губернатором Дубасовым. Но не только в Москве люди расстреливались по произволу администрации. Варшавский генерал-губернатор, не желая отставать от Дубасова, публиковал списки «анархистов», расстрелянных по его приказу, на что, кстати сказать, он не имел права даже по военному положению. Были расстрелы и в других городах.

Во-вторых, правительство прибегало к веками освященному способу административных расправ — высылкам, ссылкам, арестам. Страны «куда Макар телят не гоняет» и «куда черный ворон костей не заносил», — все эти Турухански, Колымски и пр., — после амнистии было опустевшие, быстро стали наполняться не «телятами», а живыми людьми.

Наконец, в-третьих, к услугам правительства был судебный аппарат гражданских и военных судов.

Но всего этого оказалось мало. И Столыпин уже впоследствии, после роспуска первой Государственной думы, изобрел новый способ бессудных расстрелов. Рядом с военными судами, отправляющими правосудие по законам военного времени, он ввел еще особый вид военно-полевых судов. За целый ряд пре-

ступлений, иногда даже проступков, как, напр., нанесение легкой царапины городовому, власть могла передать дело особым полевым судам. Собирались три офицера и без следствия, без прокурора, без защитника и даже без судьи-юриста, через 24 часа после события, выносили свой приговор, который тут же приводился в исполнение.

Бессудные расстрелы. Ясно, что полевые суды были замаскированной формой бессудных расстрелов. Теперь полевые суды забыты, и этот краткий, но весьма выразительный эпизод из царской юстиции еще ждет своего историка. Даже ее автор, Столыпин, не решился внести свой закон в Государственную думу, и, изданный в период междудумья, он, согласно конституции, бесславно погиб через два месяца после начала думской сессии.

Мы несколько ниже будем говорить о расстрелах в административном порядке, поскольку, сидя в тюрьме, я мог их наблюдать и сам едва не сделался жертвой их. Здесь же лишь скажем, что московская общественность была возмущена этим дотоле неслыханным произволом и самовластием администрации.

Впоследствии Н. Н. Львов рассказывал мне о заседании, происходившем у генерал-губернатора Дубасова вскоре после московского вооруженного восстания. На нем обсуждался вопрос о расстрелах, которые тогда шли по ночам. Считаю нужным сказать, что при назначении Дубасова генерал-губернатором Москвы имелось в виду, что он будет послушным орудием министерства и не станет вести своей самостоятельной политики.

Он оправдал надежды центрального правительства. После подавления вооруженного восстания Дубасов получил из Петербурга настойчивое предложение образовать совещание из общественных деятелей относительно принимаемых им мер. Совещание было тотчас же собрано. В числе других были приглашены: рассказывавший мне этот эпизод Львов, старший председатель Московской судебной палаты Ф. Ф. Арнольд и др.

Дубасов открыл собрание, изложил историю возникновения и подавления восстания, а также и мер, им принятых по восстановлении порядка, в том числе расстрелов. Громадное большинство общественных деятелей с негодованием говорили о самой возможности подвергнуть расстрелу арестованных людей, т.-е. людей уже безвредных и по отношению которых может состояться предание суду.

В особенности протестовали горячо против бессудных рас-

стрелов Н. Н. Львов и Ф. Ф. Арнольд. Дубасов слушал возмущенные речи общественных деятелей, в буквальном смысле слова скрежеща зубами. Но бессудные расстрелы прекратил.

Директива царя. В своей политике расстрелов как Дубасов, так и другие высшие должностные лица выполняли только тайные инструкции, данные им царем. Я лично мог в этом убедиться. Однажды мне пришлось провести два политические процесса — один в Пензе, другой в Оренбурге. На обоих процессах председательствовал старший председатель Саратовской палаты Чебышев-Дмитриев.

Нам пришлось ехать в одном вагоне из Пензы в Оренбург. Во время пути Чебышев пришел в мое купе, и между нами завязался обычный для судебных работников разговор. Говорили о процессах, о направлении деятельности судов и пр.

Между прочим, мне Чебышев рассказал свой разговор во время аудиенции, данной ему по случаю назначения его прокурором Варшавской судебной палаты. После обмена обычными в таких случаях фразами царь обратился к новому варшавскому прокурору:

— В царстве Польском дело обстоит так, что или они нас уничтожат, или мы их должны уничтожить. Я предпочитаю уничтожить их.

Провожая Чебышева, царь повторил: «уничтожать их надо!». Кого «их», поляков или революционеров, царь не объяснил. Вернее — тех и других.

По крайней мере, мне приходилось читать в мемуарной литературе воспоминания Грузенберга, где он приводит разговор царя с другим генералом. Тот докладывает царю, как ему удалось уговорить толпу мирно разойтись, не прибегая к оружию. Генерал был убежден в одобрении. Каково же было его изумление, когда на лице царя он прочел явное раздражение:

— Стрелять следовало, генерал, стрелять, — не выдержал царь и, провожая военного губернатора одной из сибирских губерний, он все время со злобой произносил: — стрелять, стрелять надо было.

Рассказ этот Грузенберг слышал в военном суде.

Таким образом, директива царя «правосудие на уничтожение» была дана. Ею окрашиваются все последующие репрессии судебного и внесудебного характера.

Мы в предыдущей главе говорили о судебной ликвидации временных союзов. Нам придется еще не раз возвращаться к судебной ликвидации революции при изложении отдельных дел после революционного периода. Здесь же мы займемся

ликвидацией революции 1905 года мерами администрации, поскольку нам лично приходилось их наблюдать. Лучшим способом выполнить поставленную задачу мы считаем изложение своего ареста и всего того, что нам пришлось видеть и слышать, находясь в тюрьме, а отчасти в последовавшей затем ссылке.

П о с л е в о с с т а н и я. — П о с л е д н и й н о м е р «Ж и з н и». После подавления московского восстания моя жена, артистка Ольга Александровна Голубева, работавшая тогда, как мы уже говорили, в Петербурге в театре Комиссаржевской, беспокоясь обо мне, с согласия Комиссаржевской (отнесшейся к ней очень сочувственно) покинула театр и приехала ко мне в Москву.

По улицам еще шла стрельба, но мне надо было итти в партийный комитет. Ольга Александровна не хотела отпустить меня одного, и мы пошли вместе по переулкам Арбата. Впереди шла какая-то безобидная старушка, а вдали виднелся пикет солдат с офицером во главе. Вдруг раздались совершенно бесцельные выстрелы, потому что, кроме нас троих, на улице никого не было... Старушка упала замертво в нескольких шагах от нас... Зачем, кому это нужно было? То была бессмысленная, тупая месть в пространство!

Забастовка и вооруженное восстание умирали. Затихали последние залпы неравной борьбы. Стали на работу наборщики. Явилась возможность продолжать выпуск газеты после почти двухнедельного перерыва. На совещании мы решили не принижать тона, а напротив, именно теперь, в момент общей подавленности, вынужденного молчания социалистической печати и добровольно-трусливого молчания печати либеральной, заговорить в полный голос.

Тан опять жил у меня, и мы с ним прочитали друг другу свои статьи для первого после подавления восстания номера газеты.

Тан с присущим ему художественным талантом рисовал контуры жертв баррикад: мальчик, пронзенный шальной пулей; неведомая чуйка, неизвестно каким образом попавшая на баррикаду и здесь нашедшая себе смерть; сраженный рабочий... Картина морга в участке вышла потрясающей.

Поражение восстания по капризу истории совпало с восьмидесятилетней годовщиной выступления декабристов. В своей передовой статье я воспользовался совпадением, чтобы провозгласить лозунг: «революция разбита, да здравствует революция!». Восемьдесят лет тому назад революция, казалось, была разбита. Но вот, почти столетие спустя, она восстала, как феникс из пепла, в еще гораздо более грозном виде. И опять пра-

вительство торжествует. Но пусть оно знает, что расстреливать можно людей, но не идеи. Идея жива. Пройдут года, она опять соберет и бросит на улицы новые толпы, и так будет до тех пор, пока революция не победит...

Но не в этом заключался центр нашего номера газеты; не в статьях, а в хронике. Там мы перечислили все зверства, бессудные убийства, издевательства над мирным населением, бесцельные жестокости по отношению к рабочим. Одним словом — все, что за это время делали администрация, полиция и войска.

На другой день властью генерал-губернатора на основании военного положения «Жизнь» была закрыта.

На третий день был арестован я.

Мой арест. Утром я принял, не помню — Фидлера, не помню — его родственников, приехавших просить меня взять на себя защиту Фидлера. Фидлер у меня был, уже выпущенный на свободу под залог закладной своего дома; но был ли визит его в день моего ареста, хорошенько не помню.

Затем я стал одеваться, чтобы ехать на данную мне большевиками явку, чтобы разместить нескольких лиц, которым грозил арест, по безопасным квартирам.

Вдруг звонок. Вкатывается, по выражению Успенского, «средиземная эскадра» — пристав и целая свора городовых, вооруженных ружьями. Можно было подумать, что они шли против целого отряда боевой дружины. Начался обыск.

На мое счастье, пристав, как мне говорили потом, втайне сочувствовал партии народной свободы, а потому произвел обыск буквально только для вида и забрал бумаги, которые я сам пожелал ему дать.

На столе у меня лежала целая пачка полученных мною писем для Милюкова, который почти всю зиму жил у меня. Пристав проникся таким уважением к этим письмам, что вернул их мне невскрытыми и, кстати, не поинтересовался письмами другого содержания.

На мое имя велась переписка несколькими большевиками с Швейцарией. Мне сказали, что письма будут носить чисто личный характер, а потому я не особенно заботился прятать их.

После моего ареста жена вскрыла эти письма. Оказывается, в них речь шла о подготовке восстания и доставлении оружия. До сих пор не могу понять, как жандармерия, которой очень хотелось припутать меня к делу о восстании, не выследила этой переписки. Думаю, что если бы авторы переписки были более

деликатны ко мне и сказали о ее содержании, я бы все равно не отказался дать свой адрес, но устроил бы все с большей безопасностью и для них, и для себя, и для самого дела.

На предложение пристава одеться и приготовиться к аресту я спросил, куда именно он меня отправит. Пристав показал приказ заключить меня в Сретенский арестный дом (или, может быть, Сущевский — теперь хорошенько не помню).

Поехал с городовыми. По дороге встретил нескольких знакомых, которые меня провожали долгим сочувствующим взглядом. Приехали.

В участке. После обычных формальностей и личного обыска я был отведен в предназначенную для меня камеру. Помещение было совершенно исключительным по грязи, сырости и затхлости. Пол был покрыт какой-то липкой жидкостью. Стены измазаны чем-то до-нельзя противным. Зловоние в коридорах и камере ужасное.

Жандармы, караулившие нас, по их словам, долее двух часов не могли оставаться в таком воздухе и беспрестанно сменялись. Само собою разумеется, что первые дни я был без свиданий, прогулок и книг.

Оставшись в камере один, я немедленно же стал искать возможности вступить в общение со своими товарищами по заключению. Это мне быстро удалось.

Мне сообщили, что наш дом — самый худший, самый антигигиенический из всех мест заключения в тогдашней Москве. Меня заинтересовало, почему меня бросили именно в такие условия, а не поместили, например, в тюрьму, где сидело много присяжных поверенных и общественных деятелей. Уже потом я узнал, что охранное отделение, и вообще администрация, питали ко мне личную злобу за описание в газете всех их подвигов.

Я скоро заметил, что караулившие нас солдаты жандармского дивизиона, не в пример сверхсрочным жандармам, были настроены далеко не враждебно к революции, и мне удалось переслать через них записку жене, из которой она могла узнать, где я и что со мной.

Напротив того, городовые были настроены озлобленно, контр-революционно и выказывали заключенным свои враждебные чувства. Во мне, благодаря моему возрасту, они усматривали инспиратора восстания и его главу. Не стесняясь, они говорили в моем присутствии, что, вместо того, чтобы расстреливать молодежь, следовало бы расстрелять меня.

Несмотря на озлобленность полиции, благодаря хорошему

отношению к заключенным стражи жандармского дивизиона, нам удавалось не только перестукиваться, но и переговариваться. В соседней со мной камере с одной стороны сидели пьяные и уголовные, зато с другой — молодежь, взятая в районе баррикад, частью из их бойцов, частью случайно оказавшаяся там.

П е р в ы е в е с т и о р а с с т р е л а х. И вот однажды мои соседи, с которыми я уже успел познакомиться и которые, кстати сказать, оказались образованными марксистами, громко и настоятельно меня вызывают. Я не замедлил откликнуться.

Нервничая и волнуясь, они рассказали мне, что только-что сидели у окошка перед открытой форточкой; мимо них прошел смотритель арестного дома, разговаривая со своим письмоводителем.

— Сегодня из частей вывели на расстрел восемьдесят человек, да вчера 130, — сказал один из собеседников. Услышав это, студенты, взятые в районе баррикад, некоторые с оружием в руках, сильно заволновались. Их соседи по камере с противоположной от меня стороны были в таком же положении.

Настроение тюрьмы спас мой кацетизм, т.-е. моя глубокая вера во внешнюю, чисто формальную законность.

Я рассмеялся самым искренним образом и сказал, что это просто грубая шутка полицейских чиновников.

— Я вовсе не хочу сказать, что нас не могут расстрелять, но сделают это не как-нибудь, а «в строгих правилах искусства, по всем преданьям старины». А чтобы расстрелять человека, не давши ему возможности послушать речь своего защитника, — такого кассационного решения еще не было.

Моя глубокая вера в закон, мой обычный жизнерадостный оптимизм и юмор подействовали успокаивающе на тюрьму, тем более, что в юридических вопросах я, конечно, пользовался авторитетом.

Через несколько дней после описанного происшествия моей жене удалось добиться перевода меня в Таганскую тюрьму.

ТЮРЬМЫ ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ. ДЕЛО ШМИТА

Р е ж и м в Т а г а н с к о й т ю р ь м е п о с л е в о о р у ж е н н о г о в о с с т а н и я. Перевезли нас в знаменитом автомобиле «черный ворон», битком набитом уголовными, так что надежда при переезде глотнуть каплю воздуха не оправдалась.

Но зато сама тюрьма после участка показалась мне прямо каким-то санаторием, как по материальным, так и по моральным условиям заключения.

Одиночным корпусом заведывал помощник начальника тюрьмы. К сожалению, я забыл фамилию этого доброго человека — звали же его Яковом Ивановичем. Он дослуживал до пенсии и готов был делать всевозможные и даже невозможные послабления с одним условием, чтобы об этом не узнала инспекция.

Меня встретили с почетом, как известного адвоката, и поместили в бельэтаже, т.-е. рядом с конторкой. Воздух здесь был, конечно, лучше, но зато я был на виду у всей администрации, что заставляло надзирателей строже придерживаться тюремного режима. Поэтому я не без труда перепросился в самый верхний этаж, «на Камчатку», где в то время сидели мои приятели и товарищи, члены крестьянского союза Сталь, А. В. Тесленко и др.

Старостой одиночного корпуса был А. Ф. Сталь, который в силу своего звания по заведенному порядку имел право свободного передвижения по всей тюрьме. Одиночная тюрьма должна была быть запертой, но, благодаря Якову Ивановичу, правило не соблюдалось, о чем контора тюрьмы была прекрасно осведомлена. При некоторой осторожности, возвращаясь с прогулки, мы могли ненадолго подойти к «глазку» и побеседовать, с кем хотели.

Я помню даже случай, когда один из помощников начальника, пользуясь моим пребыванием в конторе, просил меня передать что-то такое Тесленко, хотя оба мы числились запертыми.

Таким образом, режим в Таганской тюрьме никак нельзя было бы считать строгим, несмотря на только-что подавленное вооруженное восстание... Но и этот режим смягчался еще надзирателями благодаря подкупу, отчасти благодаря благодушию русского человека.

Надзиратели получали минимальное содержание, на которое почти невозможно было прожить (кажется, 15 руб. в месяц), и потому, несмотря на провалы, постоянно рисковали, желая подработать. Нам удалось не только добиться того, что наши камеры открывались по желанию, но и наладить правильное сообщение с волей.

«Почта» пересылалась исправно, несмотря на обыски, которым подвергались надзиратели. Все письма передавались мне, а я пересылал их жене, которая уже разносила по принадлежности. Так же нелегально передавались и газеты.

Предоставлялись нам всевозможные льготы и по свиданиям. Так, моей жене, не венчанной со мной, с трудом удалось до-

биться разрешения лишь на одно свидание. Но милейший Яков Иванович[1] не делал отметок на ордере, возвращая его каждый раз, и таким образом наше «единственное» свидание продолжалось вплоть до моего освобождения.

Конечно, при оценке всех льгот приходилось часть их скидывать и на мое положение известного адвоката, но, делая всевозможные скидки, все-таки нельзя было не признать, что режим в Таганской тюрьме был довольно снисходителен. Мне передавали лица, сидевшие после меня, что вскоре тюрьма была «подтянута» и заперта.

Взаимное непонимание интеллигенции и масс в тюрьме. Таганская тюрьма с каждым днем переполнялась все больше и больше. Состав заключенных был довольно своеобразный для того времени. Интеллигенция была в меньшинстве. Она заслонялась представителями народных масс.

Политическая тюрьма была только микрокосмом происходившего тогда сдвига в стране, где, точно так же в 1905 году, народные массы, хлынувшие в революцию, заслонили собой как интеллигенцию, так и профессиональных революционеров.

И тут в тюрьме впервые наметилась рознь между интеллигенцией и подлинными народными массами, — рознь, которая потом, уже в 1917 году, сказалась так рельефно.

Интеллигенция жила в «мечтах». Революция ей представлялась утонченным, чисто идеалистическим процессом.

Для масс московское вооруженное восстание, а за ним и вся революция, представлялись процессом грубо материалистическим. Рабочих и крестьян толкал в революцию ярко сознанный классовый интерес, а не отвлечение от своего класса. Они искали места под солнцем, если не для себя лично, то для своего класса.

Чтобы итти в ногу с массами, интеллигенции приходилось отречься от культуры и психики своего класса и воспринять культуру масс, независимо от ее недостатков или достоинств, безразлично, выше или ниже нашей она была. На это интеллигенция оказалась неспособной.

В 1905 году — в тюрьме, а в 1917 году — во всей России.

Дело Шмита. — Ночная беседа. В первую же ночь моего пребывания в Таганской тюрьме, давши надзирателю

---

[1] «Добрый человек» и «милейший» Яков Иванович — это к характеристике не столько помощника начальника тюрьмы и «благодушных» надзирателей, сколько самого, склонного к «русскому благодушию», автора. — Ч.

рубль, я попросил его открыть форточку в моей двери и в двери моего соседа. Это оказался сын известного фабриканта Шмита.

В полутьме, в ночной тиши тюрьмы, заснувшей тяжелым сном, среди таинственных шорохов, я услышал его рассказ:

— Наша фабрика на Пресне, — начал мой сосед. — Я был прикосновенен к революционному движению. По убеждениям я социал-демократ. Жандармерия вообразила, что именно я являюсь главным организатором восстания на Пресне, а в особенности на собственной фабрике.

После подавления восстания на Пресне я был арестован одним из первых.

Шмит на расстрелах. — Меня сначала отвезли в наш участок, — рассказывал Шмит. — Там на стуле я просидел два дня и две ночи. Лечь было не на что. Обращались со мной крайне грубо. Ночью входят:

— Собирайся!

— Куда?

Ответа нет, и я решаю, что меня хотят, наконец, перевести в часть. Я даже обрадовался. По крайней мере, высплюсь и отдохну.

Ночь, фонари светят тускло, но я хорошо знаю дорогу в часть и через окна кареты вижу, что меня везут не в ту сторону. Около меня два жандарма, что уже само по себе подозрительно, потому что обычно из участка в часть отправляют с городовыми.

— Куда вы меня везете? — тревожно спрашиваю я свой конвой.

— Сам увидишь.

И все-таки, несмотря на безотчетное чувство беспокойства, я ничего не подозревал. Ехали мы долго, очень долго. Наконец, дома становятся все реже и реже, освещение все тусклее... Шторы были спущены, и я мог видеть местность только из очень узенького просвета плохо закрытой занавески.

Вот здания прекратились... Потянулись заборы... И вдруг, как молнией, пронзила мысль... я догадался. Но самому себе я боялся расшифровать свою мысль. Я себя утешал. Может быть, в тюрьму? Но какая же тюрьма у нас за городом!..

Пока все эти мысли скакали в моем сознании, мы остановились.

— Вылезай!

На «ты», — почему-то подумал я, — значит, конец.

Я вылез. Мы были возле Петровского парка. Кругом глубокий снег. Я буквально тонул в снегу. Калоша упала. (Заме-

чательное совпадение с позднейшим произведением Л. Андреева «Рассказ о семи повешенных»). Но мысль застыла, не доходя до полного сознания. Я стал одевать калошу, бессмысленно тыкая в нее ногой. Нога не слушалась и никак не хотела попасть в калошу.

— Зачем тебе калоша? С собой на тот свет не возьмешь. Сомнений больше не могло быть. Я замер.

— Иди, иди, — подталкивал меня жандарм. Мы поплелись... У меня буквально нехватало сил передвигать ноги.

О чем я думал, когда шли? Сам не знаю. Вероятно, ни о чем. Я не думал, я ощущал. Наконец, команда: «стой!».

Я вдруг, как от толчка, поднял голову. Смотрю — около нас другая группа. Стоят человек пять-шесть штатских и много солдат... Сколько прошло времени, не знаю. Оно перестало двигаться. Зубы отбивали дробь... Я перестал чувствовать свое тело.

Вывели одного из нас, привязали к столбу... залп. Другого... Третья очередь моя. И вдруг, когда меня уже повели, я неожиданно для себя начинаю кричать:

— Стойте! Стойте! Я все... все расскажу!

Остановились. О чем-то совещаются.

— Ведите меня в охранку, я все расскажу, что знаю, — кричу я. Голос мне кажется совсем чужим... Подошли ко мне, развязывают руки. Все другие остаются, а меня конвой уводит.

Что это, неужели жизнь? Я ничего не сознаю, не понимаю. Одна мысль заполняет все мое существо, кричит во мне, сверлит мой мозг, заглушая все остальные чувства и желания: «жить, жить, жить!».

Допрос и выдачи. — Меня везут прямо в охранное отделение. Немедленный допрос. Допрашивают всю ночь, или, вернее, весь остаток ночи. Допрашивают утро. Немного подкормили и опять за допрос, не давая отдохнуть, прийти в себя. Кончили только к часу дня, а к пяти вечера я был уже здесь.

Мы со Шмитом сидели в соседних камерах, и я не видал его лица во время рассказа. Я только слышал голос. Я пришел к несомненному убеждению, что передо мной сумасшедший и что весь его рассказ не больше как галлюцинация.

Я до того был в этом уверен, что мне не пришла даже в голову мысль расспросить его пристально о выдачах, которые он сделал. Мне казалась совершенно невероятной мысль о бессудных расстрелах теперь, как она казалась невероятной и в Сретенской части.

Я решил, что Шмита надо отвлечь от пункта помешательства, переменить тему разговора; во всяком случае, я постарался как можно скорее прекратить разговор с явно сумасшедшим субъектом.

Расстрелы в Коломне. На другой день, как только ко мне подошел наш староста, я сказал:

— Послушайте, Сталь, со мной рядом с правой стороны сидит сумасшедший.

— Нет, там сидит Шмит.

— Вот о нем-то я и говорю. Он мне рассказывал совершенно невероятные вещи. Он говорил, будто его возили на расстрел.

Сталь изумился.

— Да что вы, Мандельштам. Разве не знаете, что по всему городу идут расстрелы без суда и следствия? Только сейчас привезли партию из Коломны. Там было расстреляно несколько десятков человек. Остальных исправник поставил под дуло ружей, скомандовал два сигнала и перед самым «пли!» сказал: «Лучше отправим их в Москву. Их там решено расстрелять».

А когда всю эту недострелянную партию привезли к нам в тюрьму, то пятеро из них оказались уже сумасшедшими.

В числе расстрелянных таким образом в Коломне был наш товарищ, большевик Тарарыков, о котором нам уже приходилось говорить.

Шмит отрекается от своих показаний. После разговора со Сталем я страшно раскаивался, что не придал серьезного значения рассказу Шмита, и решил в ту же ночь опять с ним поговорить. Узнать, кого он выдал, и если удастся, убедить его взять оговор обратно. В ту же ночь тем же порядком были открыты форточки, и наш разговор возобновился.

Шмит на мои вопросы назвал имена оговоренных им лиц и рассказал сообщенные им жандармскому управлению факты. К сожалению, память не сохранила этой части нашей беседы. Тогда я стал уговаривать Шмита взять показания обратно. Я доказывал, что от показаний, данных под страхом немедленного расстрела, легко отказаться, что теперь расстрел уже не угрожает ему. Говорил о жизни, которая ожидает его, если он выйдет из тюрьмы предателем. Шмит сначала слабо возражал, но постепенно стал соглашаться и в заключение обещал, что завтра же пошлет заявлением о желании дать новые показания.

И действительно, Шмит подал заявление, которое я ему тут же продиктовал, а через день или два его увезли на допрос.

Лица, посвященные в дело, с нетерпением ждали возвращения Шмита. Прошло несколько часов: Шмита нет. Наступил вечер, — Шмит не возвращается!

Я всю ночь не смыкал глаз. Страшная ответственность за всю историю лежала на мне. А вдруг, несмотря на все вероятия, «рассудку вопреки, наперекор стихиям», Шмит расстрелян?

Наступивший день не принес не только ничего успокаивающего, но вообще никаких новых известий. К вечеру мы узнали, что приносили для Шмита передачу, но ее не приняли. Мое самочувствие стало еще тяжелее. Конечно, я поступил так, как на моем месте всякий должен был бы поступить, но сознавать, что в результате моего воздействия на человека он расстрелян, было непереносимо![1]

Проходит еще несколько дней. Наконец, — о счастье! — получается известие из Бутырской тюрьмы, что Шмит там. Жандармы догадались, что в Таганке на Шмита было оказано давление, и изолировали его от нас.

Самоубийство Шмита. И все-таки у меня осталось о Шмите впечатление, как о не совсем, по крайней мере в это время, нормальном человеке, что и подтвердилось потом. Шмит не был расстрелян, но против него было возбуждено в общем порядке дело по обвинению в участии в вооруженном восстании с целью ниспровержения существующего строя.

На предварительном следствии возник вопрос о состоянии умственных способностей Шмита. Эксперты-психиатры признали Шмита ненормальным. Однако, палата, несмотря на заключение экспертов, в распорядительном заседании признала его ответственным за свои действия и дела не прекратила. Чем руководствовалась палата, отринув мнение врачей-специалистов? Разумеется, не наукой, не психиатрией, не юриспруденцией, а чувством мести по отношению к изменнику своего класса.

И Шмит, еще так недавно боявшийся смерти, испытывавший перед ее лицом животное ощущение страха, теперь сам бросился ей навстречу.

Шмит покончил в тюрьме самоубийством, перерезав стеклом себе горло. Тело его было вскрыто, и диагноз психиатров вполне подтвердился. Были найдены такие отклонения в мозго-

---

[1] Удивительно неясная и «сбивчивая» психология! Кого же более жалеет автор: оговоренных Шмитом революционеров, или самого оговорщика? — Ч.

вой области, которые не могли не отразиться на психическом состоянии самоубийцы.

Таким образом, явная тенденциозность определения палаты не могла не сделаться очевидной для всякого беспристрастного человека.

ТЮРЬМЫ ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ. УБИЙСТВА

Убийство Лунца. — Попытка убить меня. Однажды через организованную мною почту я получаю в тюрьме записку от жены следующего содержания: «Не соглашайся под предлогом нездоровья выходить из тюрьмы и не отправляйся даже на прогулку до нашего свидания. Все объясню».

Я решительно ничего не понял и продолжал ходить на прогулки. На первом же свидании, которое состоялось после получения таинственной записки, жена рассказала мне следующее:

К ней приехал мой товарищ Н. В. Тесленко и сообщил, что к нему на прием явился какой-то офицер. Закрывая погоны, чтобы не было видно его полка, офицер спросил у Тесленко, не товарищ ли он Мандельштама? Получив утвердительный ответ, таинственный посетитель изложил цель своего визита:

— Я состою в наряде, охраняющем охранное отделение, — начал офицер свой рассказ. — К нам привыкли и на нас обращают очень мало внимания. Помещаюсь я за ширмами. Оттуда вчера я слышал совещание о том, как поступить с Мандельштамом и Лунцом. Оба являются опасными революционерами, а между тем никаких улик против них нет. Что делать?

После обсуждения было решено повести меня и Лунца на допрос и по дороге, под предлогом попытки побега, застрелить обоих.

По совету Н. В. Тесленко, жена сейчас же поехала к прокурору суда и передала ему сообщение офицера, не говоря, конечно, об источнике полученных сведений. Она была страшно изумлена приемом, который встретил ее рассказ у прокурора. Она ожидала, что он или вознегодует на поведение охранки, или, напротив того, рассмеется над нелепой басней. Ни того, ни другого. Прокурор суда отнесся к рассказу жены, как к обычному деловому заявлению, требующему с его стороны известных мероприятий.

— Найдите возможность сообщить как можно скорее Мандельштаму, чтобы он не выходил ни под каким видом из тюрьмы, а я тем временем пошлю туда предписание, чтобы его

не выдавали жандармам. Если же он понадобится для допроса, то пусть допрашивают его в самой тюрьме.

Прокурор сдержал слово. Предписание действительно вскоре было получено, и жандармы два раза приезжали для моего допроса в тюрьму.

Все, что я сейчас написал, я знаю из первых источников, и сведения эти вполне достоверны. Что касается до дальнейшей судьбы другого заключенного, Лунца, против которого был составлен охранным отделением заговор, то я не имел возможности проверить рассказ, так как непосредственно из тюрьмы был отвезен на вокзал и сослан под гласный надзор полиции. А потому эта часть подлежит проверке. Как мне передавали, родители Лунца обратились не к прокурору, а по административной линии.

— Неужели вы верите подобным басням? — сказал администратор, занимавший видный пост. — Охранка будет готовить убийства! Как вам не стыдно!

Успокоенные родители Лунца отправились домой. Их встретили известием: «Вашего сына вели на допрос. По дороге близ Сокольников он хотел бежать и был застрелен конвоем».

Старики, не веря своим ушам, опять бросились к администратору, который только-что назвал «басней» их сообщение.

Проверка. Звонок по телефону.

— Ваши сведения правильны. Мне сейчас ответили, что ваш сын убит при попытке к побегу.

— Помилуйте, да ведь мы вас только-что об этом предупреждали. Нельзя же объяснить простым совпадением наше предупреждение и убийство.

— Я имею официальное сообщение своих подчиненных. А как по-вашему, кому я должен верить: вашим словам или рапортам должностных лиц?

Так ни с чем и уехали несчастные старики, у которых самым разбойничьим образом убили сына. Они были бессильны даже искать правосудия. Считаем необходимым оговориться. Эпизод Лунца нуждается в проверке; тем более, что он, если верить рассказу, произошел уже не в момент вооруженного восстания, даже не во время, непосредственно следовавшее за его подавлением, а приблизительно через месяц после «успокоения» столицы.

Впрочем, наше тогдашнее «первенствующее» сословие протестовало против бессудных расстрелов. Так, когда в Коломне был расстрелян Тарарыков, рязанское дворянское собрание, к которому он принадлежал, возбудило ходатайство перед ца-

рем о том, чтобы не расстреливали без суда и следствия... людей? Нет, дворян.

Во избежание недоразумения, должен привести небольшую справку. В революции было два Лунца, и, кажется, оба они были большевиками. Один был когда-то сотрудником «Русских Ведомостей»; его я знал и был у него в самые дни вооруженного восстания. Он умер, кажется, от разрыва сердца. Рассказ, следовательно, относится не к нему.

ГЛАВА XVIII

ПОСЛЕ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ

«Добровольная ссылка». — Саратов после московского восстания. — Дело Спиридоновой. — В Париже. — Встреча с Азефом. — Донос Азефа на меня и на Минора. — Приказ о нашем аресте на границе. — Ограбление Волжско-Камского банка в Москве. — Требование выдачи участника ограбления Беленцова, скрывшегося в Швейцарию. — По швейцарским адвокатам. — Выдача Беленцова, его побег и судьба. — Процесс Васильева. — Первый суд над ним. — Бегство и мотивы выдачи. — Разграничение уголовных и политических преступлений. — Разбор конкретных данных дела Васильева. — Защита швейцарским судом царского погромщика. — Процесс Васильева после выдачи. — Мой протест против суда палаты. — Требование экспертизы. — Подложное свидетельство. — Заключение. — Двойная бухгалтерия швейцарского правосудия: по отношению к Васильеву и к Конради. — Классовая сущность швейцарского правосудия. — Беседа с Чебышевым.

ПОД ГЛАСНЫМ НАДЗОРОМ И В ЭМИГРАЦИИ

Добровольная ссылка. Благодаря хлопотам жены и друзей, я отделался сравнительно легко. Однажды вызывают меня в контору тюрьмы. Там жандармский офицер.

— Если хотите, чтобы до окончания дела вас освободили, дайте подписку, что вы выезжаете из Москвы «добровольно».

Я был поражен. Лицемерие превосходило всякие границы. Кого такая расписка могла ввести в заблуждение и зачем она нужна была, я и до сих пор понять не могу. Упоминаю же об этом характерном инциденте, чтобы дать представление о тех шатаниях, которые тогда происходили в правительстве, и о тех страховках и перестраховках, которые на всякий случай производились.

На выбор были предоставлены все города, кроме столиц и университетских городов, так как новый московский градоначальник Рейнбот донес, что в бытность его казанским губернатором я приезжал туда и революционизировал чуть ли не весь университет.

Я выбрал Саратов. Через две недели в Саратов пришло решение особого совещания, которым я отдавался под гласный надзор полиции на три года.

Приехав в Саратов, я застал его в состоянии кипения. Каждый раз, когда мне приходилось бывать у губернатора Столыпина в приемной, она кишела помещиками, приезжавшими умолять губернатора о присылке казаков в их имения.

Из этого я заключил, что, если деревня вступает позже города в революцию, то справиться с ней потом бывает значительно труднее.

Города, в силу скученности населения и большей его организованности, легче революционизируются, но зато и меры репрессий легче принимать против скученных городских масс, чем против крестьян, разбросанных на необозримом пространстве.

Я не знал более лицемерного и бездушного человека, чем был тогдашний саратовский губернатор Столыпин. Щегловитов был подлее, но его ложь была настолько груба, что никого не обманывала. Дурново, воспитанник старого времени, вообще грубую силу предпочитал лицемерию. В восьмидесятых годах, когда складывалась его карьера, можно было насильничать без лжи. Единственно, с кем Столыпин не считал нужным лицемерить, были крестьяне.

Говоря о послереволюционных репрессиях и их видах, мы не упомянули о порке, ибо эта чисто «классовая» мера воздействия применялась исключительно к крестьянству. Обычно она следовала за аграрными беспорядками, и не раз на процессах крестьяне, не только обвиняемые, но и свидетели, в доказательство справедливости своих слов, показывали задние части своего тела.

Служебная карьера Столыпина началась именно с того, что он во главе своей опричины ворвался в «чужую» Самарскую губернию и перепорол «чужих» крестьян, утверждая, что все мы служим «одному богу и одному царю». Молодцеватость была оценена, и блестящая карьера была обеспечена.

Дело Спиридоновой. Во время моего пребывания в Саратове уже и в провинции началась ликвидация революции. Проживая там, я получил приглашение защищать в Тамбове Спиридонову. Я не мог принять приглашения, так как, будучи под гласным надзором полиции, не имел права выезда и защиты без особого разрешения администрации.

Тогда этот процесс так прогремел, что вряд ли нужно рассказывать его содержание и подробности. Если я здесь упоми-

наю о нем, то только, чтобы отметить переход правительства в наступление и в сфере судебных репрессий.

Трудно передать ту популярность, которую стяжала своим выстрелом, как ее тогда называли, Маруся Спиридонова, но так же трудно передать и ту ненависть, которая на нее обрушилась со стороны лиц, находившихся по ту сторону баррикады. Когда молодая Спиридонова, которой тогда не исполнилось, кажется, и восемнадцати лет, была приведена в участок, казаки и офицеры раздели ее донага, в таком виде держали несколько часов, при чем о ее груди тушили папиросы.

Спиридонова обвинялась в том, что, подойдя к советнику губернского правления Луженовскому, выстрелом в упор убила его. Этот советник отличался особой жестокостью при подавлении аграрных беспорядков.

Так как мне не пришлось видеть Спиридонову или участвовать в процессе, то я и не буду дольше останавливаться на нем.

Не имея возможности ни двигаться, ни работать, я просил о замене мне надзора полиции высылкой за границу на тот же срок. Правительство очень охотно на это пошло, правильно считая, что неспокойный элемент всегда безвреднее за границей, чем даже в ссылке.

В общем, за месяц, который я провел в Саратове, нельзя было считать ни город, ни деревню успокоившимися. Правда, внешний порядок удалось кое-как наладить, но под очень тонким слоем льда чувствовалось горячее дыхание революции.

Чувствовалось, что при первой возможности революция прорвется на поверхность с неудержимой силой. И если вся провинция походила на Саратовскую губернию, то революция в России была только вопросом времени, и притом — времени не особенно отдаленного.

В эмиграции. — Азеф. Во время моего пребывания за границей русская эмиграция представляла собой чрезвычайно интересное явление, но я здесь пишу не воспоминания вообще, а лишь воспоминания о первой революции, поскольку она, главным образом, отобразилась в политических процессах, по преимуществу судебных, — поэтому я и не буду описывать своих встреч и бесед по поводу русской революции с Плехановым, Жоресом и другими видными революционерами.

В то время русский Париж кишел шпионами, среди которых самым крупным был тогда еще не разоблаченный Азеф.

Однажды я был у И. А. Рубановича, известного эсера, с которым у меня тогда были приятельские отношения. Рубанович познакомил меня с каким-то плотным, даже массивным челове-

ком, похожим нето на владельца русской провинциальной аптеки, нето на банкира средней руки. Втроем мы ходили по обширной комнате и говорили о текущем моменте и о деятельности Государственной думы.

Рубанович нападал на тактику фракции народной свободы в думе, я же, хоть с оговорками, но отстаивал ее. Третий собеседник слушал очень внимательно, но сам участия в споре не принимал.

Наконец, когда нападки Рубановича стали особенно яростными, он вступился за конституционно-демократическую партию, находя, что ее тактика вызывается опасением преждевременного роспуска думы, за которым последует реакция.

Помню, наш собеседник указал на гиперболический тон нападок левых партий по отношению к партии народной свободы. Так, целых три дня левые нападали на законопроект о свободе собраний, которым запрещались митинги на железнодорожных рельсах. Плотный господин находил эти дебаты просто глупыми. Он стал прощаться и ушел, а мы с Рубановичем остались.

— Глава боевой организации, — сказал мне Рубанович, проводивши гостя.

Я пожалел, что так мало обратил внимания на этого господина с вульгарной внешностью.

Последствия моей мимолетной встречи с Азефом скоро сказались. Меня вызвали в префектуру, чтобы вручить мне carte d'identité, хотя срок, определенный тогдашним законом для проживания иностранца без выполнения этой формальности, еще не истек.

Я спросил чиновника префектуры, почему меня вызвали до наступления законного срока. Очевидно, он не имел права ответить на этот вопрос. Он поступил очень находчиво. Он раскрыл дело на листе, где значилось отношение русского посольства с просьбой учредить за мной надзор, а сам на некоторое время вышел из комнаты. Таким образом, очевидно, сочувствовавший мне французский чиновник ответил молча.

Через некоторое время получено было в Париже письмо Бурцева, который тогда находился в Петербурге. Бурцев предупреждает, чтобы ни я, ни Минор не возвращались в Россию, так как отдан приказ арестовать нас на границе.

Мои друзья из социалистов-революционеров немедленно мне об этом сообщили, прибавив от себя, что у Бурцева хорошо налаженная контрразведка и что его сведениям они придают значение.

Минор все-таки поехал нелегально в Россию. Азеф сильно отговаривал его от поездки, предсказывая возможность ареста. Мне рассказывали, что при прощании Азеф со слезами на глазах расцеловался с преданным им другом. Иудин поцелуй Азефа обошелся Минору в восемь лет каторжных работ.

Когда моя жена была у Столыпина с просьбой сократить срок моего изгнания, министр решительно отказал, ссылаясь на сообщения жандармского надзора в Париже:

— Помилуйте, — ответил Столыпин, — он в Париже на собраниях требует уничтожения всего.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что главная вина моя состояла в моих сношениях с социалистами-революционерами. Очевидно, митинги, на которых я воевал с крайними партиями из-за думской тактики, были решительно не при чем. О нашей беседе у Рубановича сообщил Азеф.

ДЕЛА О ВЫДАЧЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ ШВЕЙЦАРИЕЙ. ДЕЛО БЕЛЕНЦОВА

Русскому правительству за границей приходилось не только шпионить за своими верноподданными, но и вести процессы об их выдаче. В двух из подобных процессов мне пришлось участвовать. В одном — во время моего проживания за границей, в другом — уже после моего возвращения в Россию. Оба дела касались Швейцарии, что представляет сугубый интерес.

Швейцарское буржуазное общественное мнение оправдало Конради, убийцу Воровского, стрелявшего на ее собственной территории и таким образом, кроме всего прочего, нарушившего ее законы. Интересно сопоставить такой либерализм, проявленный при оценке убийства советского работника, с той нетерпимостью, которая проявлялась швейцарским правительством, когда речь шла о терроре, направленном против членов царского правительства.

Однажды ко мне приехал Рубанович и обратился с просьбой. В России, в Москве, был ограблен Волжско-Камский банк. Ограбление было произведено с неслыханной дерзостью. Среди белого дня группа максималистов окружила Волжско-Камский банк; часть грабителей вошла в помещение; с дулами револьверов, наведенными на служащих и публику, они потребовали: «руки вверх!».

Все в испуге подняли руки. Грабители спокойно вскрыли кассу, забрали оттуда около миллиона денег (забыл теперь

точно цифру) и благополучно скрылись. Главой шайки был некто Беленцов, который с экспроприированными деньгами скрылся за границу.

Там он вел себя, как мальчишка, не только разбрасывая направо и налево деньги, но и теряя их. Такой человек не мог не обратить на себя внимания и не возбудить подозрений. Беленцов был арестован в Швейцарии. Возник вопрос о выдаче его русскому правительству.

Социалисты-революционеры ко всему этому делу не имели никакого отношения. Я хорошо помню, что одно из знавших Беленцова лиц явилось ко мне с предложением передать социалистам-революционерам часть сумм, экспроприированных максималистами. Я добросовестно передал предложение. Член заграничного комитета, с которым я вел переговоры, через некоторое время сообщил мне решительный отказ.

Тем не менее, когда зашла речь о выдаче Беленцова русскому правительству, Рубанович сказал мне, что он считает своим долгом помочь всякому революционеру, независимо от того, разделяет ли он его программу и тактику или нет. Поэтому он просил меня отправиться в Швейцарию и сделать что можно, чтобы воспрепятствовать выдаче. Мы условились, что в Люцерне меня встретит товарищ Беленцова по партии и узнает по газете, которую я буду держать в своей руке.

В Люцерне все произошло так, как было условлено. Встретил меня максималист, оказавшийся очень милым и мягким человеком, но он долго не решался подойти ко мне. Он ожидал встретить европейца по костюму и манерам, и вдруг — с газетой в руках выходит типичный русский интеллигент, небрежно одетый и смахивающий на нигилиста доброго старого времени.

По швейцарским адвокатам. Прежде всего я занялся изучением досье. Затем, ознакомившись с положением дела, мы отправились к одному очень видному местному профессору уголовного права. Отправились к нему консультировать.

Моя речь по делу Каляева была переведена и напечатана во многих европейских газетах, что создало мне некоторую популярность среди иностранных криминалистов. Профессор, как истый европеец, начал с комплиментов по моему адресу. По существу же нашей консультации он разбил и те слабые надежды, которые у меня еще теплились.

— У нас, — сказал он, — теперь свирепствует реакция, и правительство не захочет портить отношений с Россией из-за

грабителей, каковыми оно считает Беленцова и его товарищей.

Такого ответа я и ожидал, тем более, что не мог не согласиться с крайней шаткостью нашей юридической позиции. По существующим договорам, выдаче не подлежат только политические преступники, и я понимал всю трудность задачи убедить швейцарский федеральный суд, всех этих мирных буржуа, в том, что грабеж, которым они считали экспроприацию, составляет политическое, а не уголовное преступление.

Мы решили сделать еще одну попытку. Мы отправились к адвокату, швейцарскому социал-демократу. Но и адвокат-социалист не подал нам никакой надежды на благоприятный исход нашего дела. Он также находил случай очень сомнительным, а при царившей тогда реакции был убежден, что суд решит выдать Беленцова.

Выдача Беленцова и его судьба. Тем не менее, я написал объяснение и подал его в швейцарский федеральный суд. Как и следовало ожидать, федеральный суд сделал постановление о выдаче Беленцова.

Интересна дальнейшая судьба Беленцова. Он был выдан швейцарскими властями и препровожден до русской границы, где и сдан русским жандармам. Однако, уже в России Беленцову удалось выпрыгнуть из уборной на полном ходу поезда. Это был чисто кинематографический трюк. Конвой долго караулил пустую уборную. Когда взломали дверь, клетка оказалась пустой: птичка давно улетела. Не только Россия, но вся Европа весело смеялась над самодержавной жандармерией.

Чужая полиция на чужой территории ловит чуждого ей преступника, довозит его до русской границы, отдает из рук в руки жандармам. Тем остается только держать... но и этого они не могли сделать.

Впоследствии Беленцов был опять арестован. Смертная казнь к нему не могла быть применена, потому что, по международным трактатам о выдаче преступников, последние должны судиться по обыкновенным законам и обыкновенным, а не чрезвычайным судом. По обыкновенным же законам за грабеж, даже вооруженный, смертной казни не полагалось.

Беленцов умер в тюрьме от чахотки.

Дело Васильева. — Убийство пензенского полицеймейстера. Дело Беленцова может толковаться двояко: и как политическое, и как уголовное. Все зависит от цели экспроприации, от употребления денег и от других сопутствующих обстоятельств. Оно может быть квалифицировано и как смешанное, с преобладанием уголовного или поли-

тического элемента, в зависимости от конкретных фактов. А потому решение швейцарского федерального суда по данному делу нельзя рассматривать как дающее исчерпывающую характеристику швейцарского правосудия.

Но вот — другое дело о выдаче швейцарскими властями русскому правительству государственного преступника, где нормы уголовного права были попраны самым откровенным и бесспорным образом.

Я уже вернулся в Россию и опять втянулся в политическую деятельность и политическую защиту. Однажды я получил письмо от И. А. Рубановича, который сообщает мне, что социалист-революционер Виктор Васильев выдан швейцарским правительством России, и что ему предстоит процесс. Рубанович просит меня принять на себя защиту Васильева.

Вместе с письмом Рубанович прислал мне и документы по делу.

Виктор Васильев 26 января 1906 года выстрелом из револьвера убил полицеймейстера города Пензы Кандаурова. Убийство состоялось по приговору партии социалистов-революционеров.

Убитый полицеймейстер, очевидно, был одним из тех агентов неофициального правительства, о которых мы уже говорили. На гребне революционной волны они устройством погромов заменяли судебные репрессии.

В приговоре боевой организации партии социалистов-революционеров говорилось, что 19 октября 1905 года население города Пензы мирно манифестировало в честь завоеванных свобод и конституции. Тогда, по общему рецепту, примененному правительством во всероссийском масштабе, полицеймейстер Кандауров приказал казакам избить безоружных юношей.

«Дальше нечего рассказывать» ... Свист нагаек, топтание лошадьми сбитых с ног людей, разбитые физиономии, кровь, изувеченные молодые люди, виновные только в наивном доверии к правительству и его обещаниям.

Но этим не ограничивались подвиги полицеймейстера Кандаурова. В тюрьме он установил неслыханный режим по отношению к политическим заключенным, подвергая их моральному и физическому издевательству.

Тогда организация социалистов-революционеров постановила «подвергнуть полицеймейстера Кандаурова смертной казни» и поручить Виктору Васильеву привести приговор в исполнение.

Первый суд над Васильевым. Васильев был предан военному суду с суждением по законам военного времени, т.-е. по 279 ст. воин. уст., грозившей смертной казнью. На суде выяснились факты, резко бросающиеся в глаза, рисующие психическое состояние Васильева в таком виде, что во всяком случае необходимость психиатрической экспертизы была очевидна. Поэтому даже военный суд, в полном согласии с заключением экспертов, постановил отправить обвиняемого на испытание в психиатрическую лечебницу. Из приведенного постановления военного суда мы еще раз можем видеть, что военные суды только впоследствии сделались послушным правительству орудием в политических процессах.

Васильев имел возможность на себе испытать, как быстро прошла эта «детская болезнь» наших судов под влиянием двух таких прекрасных докторов, как Столыпин и Щегловитов. В 1908 году, когда он вновь предстал пред русскими судебными учреждениями, они выглядели уже совершенно выздоровевшими.

Васильеву удалось бежать из психиатрической лечебницы, куда он был заключен согласно определению суда. После долгих мытарств он счастливо перешел границу и добрался до Швейцарии. Тут молодой человек, психически неуравновешенный, после стольких страданий и переживаний, почувствовал себя впервые в безопасности. Но радость была преждевременна. Русская делегация в Берне в феврале 1908 года потребовала от швейцарского правительства выдачи Васильева, как уголовного преступника. Требование было выполнено.

Крайне характерны мотивы выдачи. Всякий беспристрастный человек, ознакомившийся с ними, уже ни на минуту не усомнится, что федеральное правительство совершило форменное предательство и нарушение элементарнейших, освященных обычаем постановлений о гостеприимстве, которыми оно так гордится.

И еще ярче, еще возмутительнее на фоне этих крокодиловых слез над жестокими мерами террористов прозвучит оправдательный приговор убийце Воровского!

Мотивы выдачи Васильева. Федеральный суд начинает с констатирования того бесспорного факта, что «до убийства у обвиняемого Васильева не было никаких личных отношений с полицеймейстером Кандауровым. Следовательно, он не мог питать к своей жертве ни ненависти, ни вражды, ни иных личных чувств. Полицеймейстера Кандаурова

он даже не знал в лицо, и только благодаря сигналу своего сообщника мог определить человека, в которого должен был стрелять».

До сих пор все правильно. Но дальше идет уже своеобразная философия потомков Вильгельма Телля:

«Для отличия политического преступления от общеуголовного, — гласит определение суда, — существуют два признака: объективный и субъективный. Объективный состоит в положении жертвы и в условиях, переживаемых той местностью, где преступление совершается. Субъективный элемент заключается в целях, преследуемых преступником».

Далее федеральный суд спускается с заоблачных высот юридической философии и находит, что «убийство по самому своему существу составляет акт общеуголовного характера... и только обстоятельства, лежащие вне самого убийства, могут придать ему характер политического».

Федеральный суд ссылается на свои мотивы по делу Беленцова, когда он определил, что «отказ в выдаче может последовать не только по преступлениям чисто политическим, но и по преступлениям смешанного характера, если в связи с обстоятельствами привходящими политическая сторона дела приобретает исключительный характер».

Браво! Лучше нельзя поставить проблему. Где же искать этих «исключительных обстоятельств», если не в деле Васильева! Обещание конституции, объявление неприкосновенности личности, толпы радующегося народа на улицах, и вдруг — низкое предательство, казаки, избиение! Даже прокурор федерального суда уклонился от заключения о выдаче и прикрылся условной формулой: «если суд найдет, что в деянии Васильева превалирует политическая сторона, то в ходатайстве о выдаче должно быть отказано».

Но федеральный суд пошел по иному пути. Как всякий благочестивый буржуа, — или, что то же, как всякий Тартюф, он счел нужным, прежде чем зарезать свою жертву, поставить пудовую свечку богине справедливости.

Но, поставив свечку в виде общих положений, суд уже не считает нужным стесняться.

«Отказ в выдаче может последовать, — продолжает рассуждать федеральный суд, — только в том случае, если виновный ждал улучшения политического строя непосредственно, как результата своего акта. Но если такой непосредственной связи нет, если преступник лишь надеялся, что в связи с его поступком только когда-нибудь, в далеком будущем, изменится

к лучшему политический строй, то нет основания к предоставлению политического убежища».

Почему? Наше старое Улож. о нак. знало именно изменение государственного строя «в более или менее отдаленном будущем» и квалифицировало стремление к нему, как преступление политическое.

Однако, федеральному суду и этого мало. Установив совершенно неслыханное разграничение между уголовным и политическим преступлением в зависимости от надежд на близость политического улучшения, федеральный суд выдвигает еще один аргумент:

«Но даже, если бы была установлена связь между преступным деянием и изменением государственного строя, политический его характер будет зависеть от средств, избранных обвиняемым, и степенью их жестокости.

Установив эти «бесспорные» общие положения, суд с высоты Олимпа юридической философии переходит к конкретному делу Васильева.

То обстоятельство, что Васильев действовал по поручению партии социалистов-революционеров, не устраняет его ответственности, а лишь ставит рядом с ним партию. Совершенно верно, как верно и то, что никто на это не ссылался в процессе о выдаче. Поручение партии рассматривалось лишь как одно из доказательств политического характера деяния Васильева, так как партия социалистов-революционеров образовалась не для уголовных преступлений и таковыми не занималась.

Итак, по объективному признаку суд находит, что, хотя Пенза и была объявлена во время убийства полицеймейстера на положении чрезвычайной охраны, но никакого восстания там не было. «Что же касается до черной сотни, — вспоминает вдруг суд свободной республики, — то ничем не доказано, чтобы полицеймейстер Кандауров был организатором этой банды».

Далее федеральный суд берет на себя благородную задачу защиты царского полицеймейстера Кандаурова от обвинения его в жестокости.

«Императорское правительство указывает, — гласит определение федерального суда, — что ни одной жалобы по начальству на действия Кандаурова не поступало».

Швейцарский суд договорился до анекдотических доводов. В России ни для кого не составляло секрета, что все жестокости совершаются по приказанию высшего начальства и самого императора. Всякая жалоба лишь содействовала бы

повышению по службе Кандаурова, как человека твердой власти.

Впрочем, суд отрицает жестокость Кандаурова не только на этом основании. Он указывает, что за Кандауровым числится, согласно экспозе, убийство «лишь одной девушки».

Так мало? Только одной! Если же экспозе социалистов-революционеров указывает и на другие убийства, то ведь оно не называет имен жертв, ограничиваясь общей ссылкой на то, что «эти убийства памятны всему городу».

Итак, не жаловался Дурново на Кандаурова. Только одно убийство совершил Кандауров. Стоит порядочным людям разговаривать о таких пустяках!

Наконец, федеральный суд подходит к главному своему доводу, который он приберегает до конца. Васильев и партия социалистов-революционеров не могли рассчитывать, что благодаря убийству Кандаурова произойдет в России изменение государственного строя, тем более, что сам обвиняемый признает мотивом своего преступления месть за жестокость.

Здесь федеральный суд делает открытие в области уголовного права. Разграничение политического преступления от уголовного находится в зависимости от того, думает ли обвиняемый, что одним своим актом он в состоянии свергнуть власть, или же он ставит в зависимость свержение власти от целого ряда причин, в числе которых его преступление составляет лишь одно звено? А так как нужно быть совершенно сумасшедшим человеком, чтобы думать, что какой-либо один факт может ниспровергнуть государственный строй, то швейцарский суд из последовательности должен совершенно отрицать самую возможность бытия так называемых смешанных политических преступлений. А между тем, в общей части приговора он сам признал наличность таковых!

Теоретическая мысль всегда мстит за попытки насилия над ней.

Швейцарский суд не был бы филистерским судом, если бы он в заключение не пустился в область морализирования. По его мнению, необходимо соответствие между идеалом и средствами, употребляемыми для его достижения. Террор находится в кричащем противоречии с теми гуманными целями, которые, по утверждению партии социалистов-революционеров, она преследует.

Но щепетильная совесть наших филистеров не удовлетворяется даже такими соображениями. Она ссылается на обязательство русского правительства судить Васильева, как

обыкновенного преступника, исключительно за убийство и по обыкновенным законам.

Последнее обязательство русское правительство могло дать тем охотнее, что наши обыкновенные суды были исключительными. Убийство должностного лица судилось не судом присяжных, а палатой с участием сословных представителей.

ДЕЛА О ВЫДАЧЕ ШВЕЙЦАРИЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ
ДЕЛО ВАСИЛЬЕВА

Я с особенным удовольствием принял предложение Рубановича выступить защитником Васильева после его выдачи Я должен был протестовать не только против русского правосудия, но и против правосудия швейцарского, растоптавшего по моему глубокому убеждению, самым возмутительным образом все нормы уголовного права и все обычаи политического гостеприимства.

Дело слушалось в городе Пензе в выездной сессии Саратовской судебной палаты. Председательствовал тот самый Чебышев, которого царь послал творить в Польше «правосудие на уничтожение», и который тогда не понял, кого именно он должен был уничтожать. В нашем процессе он это отлично знал.

Едва открылся процесс, я, основываясь на акте о выдаче, заявил самый решительный протест против слушания дела судебной палатой с участием сословных представителей. Васильев был выдан, как преступник уголовный, убийство им Кандаурова считалось преступлением уголовным, а таковые по нашим законам должны были разбираться присяжными заседателями.

Само собой разумеется, что мой протест остался гласом вопиющего в пустыне. Все лицемерие мотивов выдачи Васильева швейцарским судом можно было оценить, присутствуя на процессе в Пензе. Федеральный суд утешал филистеров всех стран, что Васильев по условиям выдачи не может быть судим за принадлежность к партии социалистов-революционеров. А между тем за убийство полицеймейстера наказание могло быть назначено, и действительно было ему назначено, более тяжкое, чем следовало бы за принадлежность к революционной партии.

В процессуальном же отношении той гарантии независимости, которая дается судом присяжных, ему дано не было.

Васильев на суде не отрицал факта убийства им пензен-

ского полицеймейстера. Таким образом, следствие не могло иметь большого значения. По обыкновению, свидетели-агенты подчеркивали ту опасность, которой они, не щадя живота своего, подвергались при задержании Васильева. По обыкновению же, защите ничего не стоило доказать, что Васильев добровольно отдался в руки полиции и не искал лишних жертв.

Таким образом, весь интерес сосредоточился на экспертизе. Читатель помнит: при первом разборе дела состояние умственных способностей обвиняемого возбудило настолько серьезные сомнения как у экспертов, так и у суда, что последний счел необходимым в интересах всестороннего исследования истины, согласно существовавшим тогда законоположениям, отправить Васильева на испытание в психиатрическую лечебницу. Так поступил два года тому назад даже военный суд.

Первое испытание, как мы видели, было прервано побегом Васильева и потому не было доведено до конца. Простая логика требовала докончить его теперь. Этого сделано не было, и таким образом определение военного суда осталось неисполненным.

Мало того, эксперт-психиатр счет за благо на суд не явиться, чтобы не быть вынужденным вступить в бой с защитой. Он представил удостоверение медицинского инспектора о болезни, препятствующей его явке.

А между тем у меня были самые достоверные сведения, что свидетельство ложно и что врач-психиатр совершенно здоров. Тогда я потребовал в корректной, но настойчивой форме проверки медицинского свидетельства.

Очевидно, я попал в цель, потому что, в ответ на мое законное ходатайство, очень корректно заявленное, послышался грубый окрик обычно вылощенного председателя:

— Я не позволю вам инсинуировать на русскую администрацию!

Лично я не привык к такому тону и такой манере обращаться с защитой. Он был для меня тем более неожиданен, что Чебышев-Дмитриев был человек вылощенный и выхоленный. Он кончил училище правоведения. Такую выходку я мог объяснить себе лишь тем, что сам председатель участвовал в комплоте и что неявка эксперта и выдача ему медицинского свидетельства произошли по совету председателя.

Чтобы протестовать против грубой выходки председателя, потребовал перерыва, мотивируя его тем, что не могу с должным спокойствием продолжать заседание в виду оскорбительного тона, допущенного председателем палаты.

Был объявлен перерыв. По возобновлении заседания я сделал заявление:

— Я могу объяснить слова, сказанные председателем, только в том смысле, что мною было заявлено обвинение в выдаче неправильного удостоверения в общей форме. А потому, принимая ответственность за сказанное, я открыто заявляю, что медицинский инспектор выдал здоровому человеку свидетельство о болезни. Я прошу произвести об этих действиях медицинского инспектора следствие, при чем обязуюсь представить свидетелей, что эксперт совершенно здоров.

Мое заявление подействовало на председателя, как разорвавшаяся бомба. На этот раз сама палата объявила перерыв, во время которого председатель вышел уговаривать меня взять обратно свое заявление.

Лишнее говорить, что я на это не согласился. Тогда палата отказала в моем ходатайстве.

В своей защитительной речи я опять и опять требовал направления дела к доследованию для испытания умственных способностей Васильева, и, конечно, с тем же успехом. Тем не менее приговор был сравнительно не очень суров. Чебыщев-Дмитриев не был из самых суровых судей, а во-вторых, правительство, очевидно, хотело блеснуть перед Западной Европой мягкостью своих приговоров и тем обеспечить себе выдачу политических преступников на будущее время.

З а к л ю ч е н и е. — К о н р а д и и В а с и л ь е в. Мы остановились так долго на процессе Васильева не потому, что он сам по себе выделялся из ряда террористических процессов тогдашнего времени. Для нас важным представилось, пользуясь историческим фактом, подчеркнуть кричащую непоследовательность швейцарского правосудия. Оно меряет, как видите, двумя мерами террор, смотря по тому, против кого он направлен: против царского правительства или же против правительства крестьян и рабочих.

Террор, направленный против правительства дворян и крупной буржуазии, встретил самое отрицательное отношение швейцарского суда, несмотря на то, что его жертва, полицеймейстер Кандауров, не только олицетворял собой определенную правительственную систему, не только проводил погромную политику, но и выделился индивидуально, как лично жестокий и злобный человек.

И тем не менее мы видим, какую тонкую паутину лжи, хитросплетений, юридического крючкотворства и бесстыдного

цинизма (отсутствие жалоб по начальству, как доказательство правильности действий Кандаурова!) затрачивает высший швейцарский суд, чтобы террористический акт не остался безнаказанным.

Но вот, убит член советского правительства, убит не где-то далеко, в снегах России, а тут же, в Швейцарии, с нарушением элементарных основ гостеприимства. Во время судебного следствия сами обвинители ничего не могли сказать дурного индивидуально про Воровского. Про него суд не мог сказать, что на нем тяготело «только одно установленное убийство». Напротив, свидетели и обвинения и защиты показали в один голос, что Воровский был лично удивительно мягкий и добрый человек, что он делал все зависящее для смягчения участи отдельных лиц даже из белой эмиграции. Иосиф Гессен в своем «Руле» поместил заметку о Воровском, в которой эта непримиримая и узко озлобленная газета отзывается с уважением и похвалой о жертве террористического акта Конради. И тем не менее правосудие буржуазной Швейцарии оправдало убийцу Воровского!

На эту классовость правосудия в буржуазном государстве нам и хотелось указать.

В одном из гражданских процессов торгпредства с французским акционерным обществом прокурор французского суда, давая заключение по коммерческому делу, сказал: «Представитель советского правительства правильно указывает на нормы «высшей любезности», принятые в международных сношениях; но вопрос заключается в том, могут ли такие нормы быть применены к СССР, как к государству классовому?»

Все современные государства построены по классовому принципу, и разница между ними и СССР заключается лишь в том, что СССР об этом открыто может заявить, так как ее господствующие классы составляют колоссальное большинство населения. Капиталистические же страны с правящим меньшинством заинтересованы скрывать свой классовый характер.

Классовый характер европейского, в частности швейцарского, правосудия ярче всего вырисовывается из сопоставления двух приговоров швейцарских судов: по делу Васильева и по делу Конради.

Беседа с Чебышевым. Я уже говорил, что из Пензы я поехал на политический процесс в Оренбург и что со мною ехал председатель палаты Чебышев-Дмитриев. Он вошел ко мне

в купе, очевидно, с целью помириться после своей раздражительной выходки. В разговоре я ему дал прочесть определение федерального суда о выдаче Васильева и номер «Tribune Russe», в котором это определение подвергалось жестокой критике.

Определение федерального суда, несмотря на свой софистический характер, было с технической точки зрения прекрасно написано, так что Чебышев-Дмитриев не мог удержаться от вздоха:

— Вот почему у нас так не пишут?

Да, у нас «применительно к подлости» выходило гораздо грубее.

И тут же мой собеседник не мог отказаться от долголетней привычки следователя и политического прокурора. Он как бы вскользь задал мне вопрос, откуда я получил эти документы. Его, очевидно, интересовало установить, что политическая адвокатура находится в непосредственных отношениях с руководящими органами революционных партий и что, таким образом, мы сносимся не с обвиняемыми, а с комитетами.

Я дал неопределенный ответ, и Чебышев сам понял бестактность своего вопроса в купе первого класса, в которое он вошел в качестве гостя. Он переменил тему.

ГЛАВА XIX

ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ

Мое возвращение в Москву. — Процесс детей. — Фидлер. — Приказ об аресте дружины. — «Ноев ковчег». — Переговоры о сдаче. — Аресты. — Процесс. — Самооборона и боевая дружина. — Показание подсудимых. — Поведение подсудимых. — Прения сторон. — Отношение суда к школьникам. — Тамбовский процесс. — Приговор по фидлеровскому делу.

Мое возвращение в Москву. Когда я вернулся осенью 1906 года в Москву, ликвидация революции была в полном разгаре. Тяжесть этой ликвидации смягчалась несколько, благодаря существованию Государственной думы.

Смелые выступления ораторов крайних партий с высоты думской трибуны производили иллюзию продолжающейся революции. И этим выступлениям резонировали выступления с другой кафедры, со скамьи подсудимых, представителей тех же партий.

Судебная ликвидация шла по разным линиям.

Во-первых, ликвидировались забастовки и вооруженные восстания; во-вторых — преступления легальных общественных организаций и учреждений и, наконец, — революционных или хотя бы просто неразрешенных партий.

Начнем с первых.

Процесс детей. Вооруженное восстание в Москве начали дети.

Вернее сказать, правительство прежде всего напало на детей и заставило их в первую голову осуществить лозунг революционных партий о переводе забастовки в вооруженное восстание.

Это не парадокс, это — факт.

10 декабря Москва, проснувшись, узнала, что накануне ночью артиллерия обстреливала среднее учебное заведение,

реальное училище Фидлера, и что, таким образом, вооруженное восстание началось.

Реальное училище Фидлера было хорошо известно всем интеллигентным москвичам. Там часто читались рефераты, которые нельзя было прочесть официально и открыто. Автору этой книги самому приходилось неоднократно выступать в гостеприимных стенах училища Фидлера. Так, я помню, что читал там, между прочим, сообщение о процессе Каляева.

Естественно, что училище Фидлера в октябре и декабре сделалось излюбленным местом для всевозможного рода собраний и митингов. Собирались там по всевозможным делам: и для выслушания реферата, и для обсуждения текущих дел какого-либо союза, и для организации самообороны или даже боевой дружины.

9 декабря ничем не выделялось изо всех предшествовавших дней. По обычаю, происходили в училище всевозможные собрания, заседания, митинги. На этот именно вечер были назначены: заседание железнодорожного союза, какое-то рабочее заседание и пр. в том же роде. Там же заседала дружина.

Что касается до учеников реального училища Фидлера, то они тесно сплелись с завсегдатаями вышеописанных собраний.

Ф и д л е р. Трудно сказать с уверенностью, знал ли глава училища Фидлер обо всем, что происходило у него в здании, т. е. знал ли он во всех подробностях и вполне точно. Во всяком случае, он был осведомлен, что у него в училище собираются вооруженные люди и помещается санитарный пункт.

Но была ли то дружина для самообороны или для восстания, он мог и не разобрать; тем более, что даже в заседании палаты этот вопрос не был с достаточной полнотой освещен, что и отразилось на приговоре палаты.

П р и к а з о б а р е с т е д р у ж и н ы. Внезапно 9 декабря полковник Сумского полка Рахманинов получает приказ арестовать боевую дружину, засевшую в училище Фидлера, а если потребуется, то прибегнуть к действию оружием, до артиллерии включительно.

С полковником Рахманиновым мне приходилось и раньше не раз встречаться в военном суде, где он заседал иногда в качестве временного члена. Пришлось мне его допрашивать в качестве свидетеля и по делу Фидлера.

Дело фидлеровцев слушалось два раза в силу кассации приговора по протесту прокурора. Я участвовал во втором процессе; но оба они, конечно, были вполне аналогичны.

Рахманинов давал показания по обоим процессам. Несмотря на свой сравнительно нестарый возраст, Рахманинов был человек суровый, строгий, но не садист и не глупый. Благодаря этому, картина начала вооруженного восстания была им изображена перед судом довольно правильно.

Получив приказ арестовать всех находящихся в училище Фидлера, пристав Гедеонов вместе с полковником Рахманиновым, во главе войск всех родов оружия, отправились на поле военных действий. Они окружили училище со всех сторон и потребовали от находившихся внутри его безусловной сдачи.

К ним для переговоров вышел сам директор Фидлер. Он сочувствовал революции, но ему и в голову не приходило, что вся эта, с его точки зрения, невинная игра молодежи в дружинников может кончиться настоящим сражением и артиллерийским боем, с убитыми и ранеными.

Поэтому, когда в воздухе запахло порохом, когда, выйдя для объяснений, он увидел направленные на дорогое ему училище жерла пушек, суровые ряды выстроенных, ощетинившихся штыками солдат, Фидлер понял, что дело зашло слишком далеко и что двенадцатый час пробил. Не за себя испугался этот свободолюбивый и хороший человек. Он сознавал, что на нем лежит ответственность за готовую пролиться кровь вверенных ему детей, которых он так любил.

По рассказам некоторых свидетелей-очевидцев, Фидлер бросился на колени перед приставом Гедеоновым, умоляя его не губить молодежь. На его мольбы Гедеонов ответил, что имеется приказ арестовать всю боевую дружину, находящуюся в училище, и, в силу этого приказа, он требует безусловной сдачи и передачи всего находящегося в наличности оружия.

«Ноев ковчег». Такой приказ как нельзя лучше показывал, что администрация не была в курсе дела.

Предполагалось, что у Фидлера сосредоточена строго организованная боевая дружина, и только дружина.

А между тем здание училища к моменту разгрома представляло собою повторение легендарного «Ноева ковчега». В ковчеге Фидлер, как ветхий Ной, имел «всякой твари по паре».

После окончательной сдачи было задержано 115 человек. Среди них студенты университета, студенты московской школы живописи, ученики училища Фидлера, московского технического училища, инженерного училища. Далее идут: железнодорожные служащие, служащие молочной Чичкина, телефонного общества, чайной фирмы Попова. Кроме того, рабочие: развес-

чик, чернорабочий, слесарь, типограф, наборщик, зубной врач и пр., до одного иконописца включительно!

Ну, чем не «Ноев ковчег»!

Люди приходили кто за чем. Один пришел справиться, когда, наконец, начнутся в училище занятия; другие забежали, как в клуб, узнать новости дня; третьи — для очередного митинга; четвертые — на заседание делегатов железнодорожного союза.[1] Были и дружинники, но не в большинстве.

Переговоры о сдаче. Такой разношерстный состав не мог не отразиться на ходе переговоров. Восстановим последние со слов свидетелей на суде.

По настоянию Фидлера, для обсуждения вопроса о сдаче был предоставлен часовой срок. Если бы администрация имела перед собой дружину, спаянную дисциплиной, то такого срока было бы более чем достаточно. Но в том-то и дело, что «Ноев

---

[1] Автор делает большую ошибку, изображая фидлеровскую «общественность» столь невинной и наивной и впадая при этом даже в прямой каррикатуризм. Здесь он, в сущности, повторяет анти-историчный прием многих бывших защитников, переносящих свои бывшие защитнические оценки и позиции в свои нынешние мемуары и в историю. По аналогии припоминается знаменитое дело витмеровцев, которое не только в свое время, но и сейчас еще пытаются изобразить, как кружок невинных гимназистов, собиравшихся для чтения Надсона. Таковы же, в большинстве, воспоминания б. политзащитника С. Анисимова и многое, и многое другое. Авторам все еще по старой памяти представляется, что они выступают в зале царского суда и что нужно им во что бы то ни стало «обелить» своих подзащитных!

Автор слишком положился на утверждения «иконописцев», «служащих молочной Чичкина» и прочих «зубных врачей», зашедших к Фидлеру «на огонек». К тому же, многого о боевых делах он мог просто-напросто и не знать. Свидетельства доподлинных участников декабрьского восстания, во всяком случае, таких идиллий не рисуют.

Покойный большевик В. К. Таратута, например, в книжке «1905 год и московское восстание» пишет:

«Фидлеровское училище служило местом всяких собраний, а также местом обучения наших боевиков и боевиков социалистов-революционеров. Наши боевики еще накануне покинули училище, получив известие, что тут грозит опасность нападения со стороны властей. Эсеры, хотя и были предупреждены об этом, все же остались. К оставшимся боевикам присоединились отдельные одиночки-боевики. Вот это-то училище и было оцеплено войсками».

Известный краснопресненец Литвин-Седой, рассказывая о московских событиях в декабре 1905 года, говорит, что еще 5 декабря в училище Фидлера происходило заседание конференции московских большевиков и большевистских боевых дружин, на котором присутствовало от 400 до 500 человек. То было 5-го, а 9 декабря уже произошел разгром училища артиллерийскими войсками, при чем у осажденных «иконописцев» оказались неплохо действовавшие гранаты и бомбы!

Нет, версия о «Ноевым ковчеге» Фидлера нуждается в серьезных поправках. — *Ч.*

ковчег» органически не мог столковаться и притти к определенному решению. Ибо что могло быть общего между дружинником-революционером, пришедшим, чтобы умереть или победить, железнодорожником, пришедшим на делегатское заседание, и учеником, явившимся, чтобы справиться о начале занятий?

Торг был продолжителен. Фидлер вышел с известием, что осажденные согласны сдаться, но не позволят себя арестовать и не хотят сдавать оружия. Разумеется, условие было отвергнуто; был предоставлен новый срок.

Опять совещание. Опять Фидлер с делегатами выходит и передает решение: согласны выдать оружие, но не хотят арестов.

После второго выхода Фидлер уже не был отпущен в училище. Он был арестован и отведен за линию войск. Остальные парламентеры вернулись. Гедеонов решил, что придется прибегнуть к оружию, и потому, согласно закона, передал власть в руки военных в лице полковника Рахманинова.

Последний дал четверть часа на размышление. Четверть часа прошло.

По окнам дан был залп из ружей. Здание ответило на выстрелы выстрелами. С крыши и из окон послышались выстрелы, полетели бомбы...

Московское вооруженное восстание началось, и начали его дети!

Осажденные пытались уговорить солдат не стрелять в своих братьев, но призыв остался без отклика.

Полковник распорядился стрелять гранатами. Гранаты с треском рвались. Училище — не крепость. Стали падать раненые, комнаты наполнились дымом, кое-где появилась опасность пожара. Из здания неслись крики:

— Сдаемся! Сдаемся! Прекратите огонь!

Войска прекратили огонь.

Но крики явились результатом не общего решения, а паники отдельных испуганных лиц. А потому, когда Рахманинов, прекратив обстрел, хотел занять здание, выстрелы оттуда возобновились. Потребовалось еще дать 11 выстрелов из пушек, чтобы окончательная сдача состоялась.

А р е с т ы. Находившиеся в училище стали один за другим выходить и тут же арестовывались. Полиция вошла внутрь здания для производства обыска. Было найдено много оружия и нелегальной литературы. Между прочим — 14 гранат.

П р о ц е с с. Сам Фидлер был освобожден под залог своего

дома, но ухитрился, тем не менее, дом продать и бежать за границу. Процесс же фидлеровцев слушался одним из первых в рядах процессов о московском вооруженном восстании. И все-таки к моменту его слушания Москва декабря, Москва, покрытая баррикадами, с пушечным грохотом и ружейными залпами, стала историей и притом историей, довольно древней.

Процессами того времени общество интересовалось очень мало [1], гораздо меньше, чем премьерой Художественного театра или вернисажем модной выставки картин: о том повышенном интересе к политическим процессам, который мы могли наблюдать до революции, когда толпы народа стояли у стен суда, не было и речи. Происходила в полном смысле слова ликвидация революции.

Самооборона и боевая дружина. Само собой разумеется, что революционные партии стремились решить свою распрю с правительством силою оружия. Но партии представляли собою сравнительно незначительные организации с ограниченным полем влияния. И, если вооруженное восстание приняло и могло принять такие размеры, если оно владело солидным запасом оружия, то в значительной степени правительство за это должно было благодарить само себя и свою погромную политику.

На процессе фидлеровцев можно было прекрасно проследить, как самооборона октября диалектическим развитием событий превращалась в боевую дружину декабря.

Сам Фидлер на предварительном следствии показал, что он разрешил в октябре учреждение в своем училище самообороны, которая силой событий сделалась центром вооружения. При ней организовался целый санитарный отряд. Она обучалась владеть оружием и старалась приобрести его. Широкие круги общества, по опыту других городов знавшие, что они не могут рассчитывать на помощь государства в случае нападения черных банд, организуемых самим правительством, не могли не сочувствовать учреждению и вооружению самообороны. А потому ее учреждение пользовалось поддержкой и симпатиями общества. Отсюда широкие возможности в деле вооружения и финансовой помощи.

Как и когда дружина самообороны переродилась в дружину боевую, оружие, собираемое в целях защиты от черной

---

[1] Это, нужно думать, то самое «общество», о котором все время говорит автор? Т.-е. — общество привилегированных классов и групп. — *Ч.*

сотни, — в оружие для нападения на монархию, — он, Фидлер, не заметил и о таком превращении не подозревал.

Возможно, конечно, что такое показние было дано Фидлером в целях смягчения своей ответственности, хотя я лично должен удостоверить, что его родственники, бывшие у меня по делу его защиты, рассказывали мне то же самое.

Кроме того, показание директора училища находит себе полное подтверждение во всех обстоятельствах дела. Даже обвинительный акт признает, что дружина и санитарный пункт в училище Фидлера были организованы еще в октябре. Первоначально дружина самообороны состояла исключительно из учеников училища, которому действительно, в виду его либеральной репутации, грозил погром, но потом в нее стали вступать и посторонние элементы.

Собрать деньги на оборону от погромщиков было гораздо легче, чем для вооруженного восстания. Последнему сочувствовал преимущественно рабочий класс, тогда как самооборона была чрезвычайно популярна среди самых широких кругов буржуазии, и мне самому пришлось в Иркутске защищать весь состав городской думы с управой и городским головой в главе, обвиняемых в устройстве милиции в целях охраны порядка и безопасности мирных граждан.

С уверенностью можно сказать: никогда вооружение масс не могло бы принять таких размеров, если бы погромная политика правительства не популяризировала эту идею.

П о к а з а н и я   п о д с у д и м ы х. Показания многих подсудимых на процессе сводились к констатированию изложенного; некоторые шли дальше и утверждали, что до самого конца смотрели на себя, как на членов самообороны от черной сотни. Что касается до объяснения причин, почему обвиняемые 9 декабря оказались в училище Фидлера, то объяснения этому факту давались самые разнообразные.

Одни говорили, что пришли слушать назначенную на этот день лекцию по аграрному вопросу; другие — пришли на митинг железнодорожников. Некоторые объяснили, что пришли без всякой цели, «на огонек».

Самое интересное было то, что обвиняемые говорили правду. Никакого общего организованного собрания в этот день не было. Существовал пароль, но только для красоты. На самом же деле вход был свободный и пароля почти не спрашивали. Надо было лишь назвать свою фамилию, но и это требование не всегда соблюдалось.

Между прочим, на суде выяснилось, что при первой балло-

тировке, несмотря на все старания Фидлера, большинством в 24 голоса было решено не сдаваться.

Всего суду было предано 99 человек. Прокуратура не могла отмахнуться от того совершенно установленного факта, что в училище Фидлера была захвачена не какая-либо однородная группа или организация с единой целью, а именно «Ноев ковчег». Поэтому и обвинение было предъявлено не однородное. Из всех 99 человек, только к пятнадцати было предъявлено обвинение в принадлежности к революционной партии. Остальные обвинялись в скопище, оказавшем вооруженное сопротивление. Таким образом, правительство само сознало свою ошибку. В противоположность известной басне, правительство, думая схватить змею, схватило ужа.

Суд это понял. Он отвергнул совершенно обвинение в принадлежности к революционному сообществу даже тех пятнадцать человек, к которым прокурор его предъявил. Эти пятнадцать человек были осуждены за скопище. Что же касается до вооруженного восстания, то такого обвинения ни к кому даже не было предъявлено.

Поведение подсудимых. Фидлеровское дело слушалось вскоре после революции, и потому настроение обвиняемых было довольно воинственное. Тогда еще многие смотрели вперед, а не назад, хотели продолжать революцию, а не ликвидировать ее.

При упоминании имени одной из жертв обстрела, вся скамья подсудимых, по предложению подсудимого Деева, встала, как один человек, чтобы почтить память погибшего, игнорируя присутствие суда.

Момент был чрезвычайно торжественный и на всех присутствующих оставил сильное впечатление. Сама палата растерялась и с некоторым невольным чувством почтения наблюдала эту сцену, прежде чем порядок был восстановлен.

Некоторые обвиняемые в ответ на вопросы председателя о виновности заявили, что не желают давать никаких ответов, чтобы не содействовать суду в выполнении его задачи.

Подсудимый Дункель заявил, что уклоняется от ответов, так как не признает законов, изданных без участия народа и его представителей.

Еще решительнее и резче поступил подсудимый Пржиходский. Он заявил, что не желает присутствовать при комедии суда, и потребовал, чтобы его удалили.

— Если вы меня не удалите, — заявил он, — я устрою скандал и заставлю вас меня вышвырнуть!

Под такой угрозой суду не оставалось ничего другого, как выполнить требование и удалить Пржиходского.

Доктор Котик показал, что он действительно принадлежит к революционной партии, ни одной минуты не хочет этого отрицать, но все-таки находит обвинение страшно раздутым и нелепым.

Прения сторон. Прокурор Золотарев, человек чрезвычайно близкий к союзу русского народа, впоследствии товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией, с деланным пафосом построил свою речь на высоких патриотических мотивах. Он оплакивал великую Россию и упрекал молодежь в том, что в трудную годину, вместо помощи родине, она занимается революцией.

Товарищ прокурора Золотарев не понимал, что при таком царе, каким был Николай II, в революцию идут не только социалисты и классовые враги дворянства, но и многие члены привилегированных классов[1].

В процессе были нарушены основы права, а нигде талант Маклакова не сверкал таким блеском, как в процессах, где надо было реагировать против нарушения этих основ. Речь В. А. Маклакова в первом процессе, питаемая таким благодарным материалом, как процесс фидлеровцев, была одной из лучших речей этого замечательного оратора.

Своим острым скальпелем юриста он вскрыл все больные места обвинения и этим не мало содействовал удачному исходу процесса.

Отношение судов к школьникам. Лично я участвовал во втором процессе, после кассации приговора. Во время формирования защиты по первому делу я был еще за границей. Но при обсуждении плана защиты мне приходилось беседовать с обвиняемыми по обоим делам. Некоторые из них меня уже тогда поражали быстротой происшедшей в них эволюции. Во время процесса они казались совсем другими людьми, чем те, которые как-никак выдержали бомбардировку гранатами в училище Фидлера.

Явление это, впрочем, было довольно распространенным, и мне приходилось его часто наблюдать среди учащейся моло-

---

[1] Отнюдь не «многие», и — лишь случайно и временно. Иное дело — в оппозицию. Но оппозиция — еще не революция.

Кстати: о том, что дело не в «таком царе, каким был Николай II», а в породивших таких Николаев и такую революцию исторических условиях, очень спорить с автором не приходится. Сейчас это уже каждому пионеру известно. Тоже — и о «роли личности в истории». — Ч.

дежи, вышедшей из рядов привилегированных классов. Казалось, оправдывались слова старого Бебеля о социализме выходцев из привилегированных классов, как о «детской болезни» буржуазной интеллигенции. Она рано проходит.

Наше правительство и наши суды с этим никак не хотели считаться. Сколько раз мне приходилось наблюдать, как люди не только в ранней юности, на гимназической скамье, но уже потом, гораздо позднее, в университете, занимались довольно энергично революционной деятельностью, оправданные судом или отбывшие незначительное наказание, впоследствии отходили от революции. Они становились вполне благонадежными с точки зрения правительства людьми. А те из них, которые были оторваны от привычной обстановки, отправлены в ссылку, остались без законченного образования, втягивались революционной средой и до гробовой доски оставались в революции.

Но все это соображения от политики, а не от политиканства. Последнее же требовало одного: суровых, как можно более суровых приговоров!

Я помню защиту в Тамбове гимназистов, почти детей. Статья, по которой было предъявлено обвинение, грозила каторгой, в лучшем случае ссылкой на поселение. При желании суда, можно было перейти на другую статью и дать детям непродолжительное заключение в крепости.

Председательствовал председатель департамента палаты Стельмахович. Проходя мимо совещательной комнаты, я слышал, как он старался успокоить совесть сословных представителей, которые, очевидно, не хотели ссылать детей в Сибирь. Стельмахович уверял их, что обвиняемым, как несовершеннолетним, будут в Сибири предоставлены все льготы и что им там будет прекрасно.

До какой степени морального падения надо было дойти, чтобы губить детей и при этом еще уверять, что «карась любит, чтобы его жарили в сметане»!

При рассмотрении дела о фидлеровском восстании, Московская палата не пошла по следам Саратовской. Она разобралась в юридической стороне дела. Уж очень было бы скандально признать сообщество между лицами, из которых одни пришли справиться об уроках, а другие — для восстания; где одни стремились при первом требовании властей скорее бежать домой, а другие не позволяли никому выходить и задерживали случайную публику, попавшую в училище Фидлера в роковой день 9 декабря.

Дело фидлеровцев было передано гражданскому, а не воен-

ному суду, формально, по распоряжению генерал-губернатора Дубасова. Такое же направление получили и все другие дела о вооруженном восстании в Москве. Впрочем, Дубасов был лишь слепым орудием в руках министерства.

Правительство не хотело казней по выветрившимся делам. «Прямое действие» было применено на месте. Иные были расстреляны, как мы видели, «при попытке к побегу», иные — откровенно и прямо, без суда и следствия. Лиц опасных и неприятных разослали немедленно в административном порядке по Колымскам и Якутскам. Тем не менее, во втором процессе участвовало 72 обвиняемых. 26 человек из них было присуждено к арестантским отделениям от 2 лет до 1 месяца, а 46 оправдано.

Остался случайный элемент, листья, поднятые вихрем на высоту революции. Вихрь улегся, опали и листья.

В следующей главе мы покажем, что там, где шла речь о пролетариате, палаты были далеко не так снисходительны. Дело восстания на Пресне служит лучшим тому доказательством.

ГЛАВА XX

ВОССТАНИЕ НА ПРЕСНЕ. КАШИРСКАЯ ЗАБАСТОВКА

Рабочий характер восстания. — Приобретение оружия. — Захват участков и части. — Военные действия. — Расстрел начальника сыскного отделения. — Конец восстания. — Процесс. — Каширская забастовка. — Индиферентизм общества к процессу.

Рабочий характер восстания. Прямую противоположность фидлеровскому делу представлял собою процесс Пресненского вооруженного восстания. Там дети, здесь возмужалые люди; там «Ноев ковчег», здесь ярко выраженный рабочий класс; там разговоры, здесь действие.

Первые колебания почвы на Прохоровской фабрике, как и везде, произошли еще в октябре 1905 года. Уже тогда явочным порядком были выбраны депутаты, которые имели влияние на всю фабричную жизнь.

Рабочие Прохоровской фабрики, как и большинство московского пролетариата, смотрели на манифест 17 октября, не как на конец, а лишь как на начало борьбы. Они верили в «окончательную победу» своего дела. К новой схватке они стали готовиться на другой же день после окончания всеобщей октябрьской забастовки.

По мнению пролетариата и социалистических партий, забастовка не могла свергнуть существующий строй, а потому ее в следующий раз следует «перевести в вооруженное восстание». [1]

---

[1] По мнению каких «социалистических партий»? Меньшевики, напр., вовсе этого мнения не держались. Наоборот, большевики в этом были уверены. В частности, Ленин рассматривал политическую забастовку и демонстрацию, как неизбежную прелюдию к восстанию. Но именно поэтому же, позднее, когда российский пролетариат был поставлен действиями правительства перед перспективой политической забастовки, большевики предо-

Приобретение оружия. Весь ноябрь уходит на приобретение оружия. Можно только удивляться, какими путями оно притекало, но обвинительный акт констатирует, что уже в ноябре месяце Прохоровская фабрика была обильно снабжена оружием.

Надо вообще заметить, что размер рабочей армии ограничивался не человеческим материалом, не борцами, «на подвиг и на смерть» готовыми, а количеством вооружения.

Ноябрь прошел в агитации и подготовительных мерах. Прохоровская мануфактура буквально кипела, как котел. Митинги происходили день и ночь, где только можно было: в спальнях холостого общежития, в чайной и т. д.

Наконец слово стало делом. Рабочие вышли на улицу и начали обходить промышленные и торговые заведения с требованием прекращения работ. Толпа несла знамя. Забастовка, таким образом, длилась дня три. Но по тотдашнему боевому настроению рабочих — «что толку в этакой безделке!».

«Повсюду стали слышны речи, пора добраться»... если не до картечи, то до настоящего восстания.

«И вот на поле грозной сечи ночная пала тень».

То было 10 декабря 1905 года, т.-е. на другой день после пальбы из пушек по детям в училище Фидлера. В эту ночь в Москве были воздвигнуты первые баррикады. Уличные фонари были разбиты. Пресня погрузилась во мрак. В постройке баррикад принимали участие не только рабочие, но и посторонние лица. Даже один сын купца «к сему делу руку приложил», но общий вид восстания на Пресне отсюда не изменился и был чисто рабочим.

К Прохоровской мануфактуре присоединились рабочие фабрик Мамонтовых, Шмита и др. И тем не менее, дружинников было не больше 600 человек, зато они были настоящими бойцами. Они стоили доброй армии.

По крайней мере, командующий войсками, он же генерал-губернатор, Дубасов, как мне известно из самых достоверных источников, признавал, что ему очень трудно справиться «с этими мерзавцами». Впрочем, и прокурор признал, что борьба была трудна и что лишь с прибытием из Петербурга 17 декабря Семеновского полка подавление восстания пошло успешно.

стерегали рабочих от этого шага, считая их недостаточно подготовленными для вооруженного и победоносного восстания. Удерживали, конечно, временно и условно, как и все, что предлагали большевики. — *Ч.*

Правительство находило, что революционеры вообще очень удачно выбрали время для восстания, когда в Москве было очень мало войска.

Еще и еще раз приходилось вспомнить о сепаратной забастовке Петербургского узла, которая обессилила его и тем лишила возможности Николаевскую дорогу в решительный час примкнуть к всеобщей декабрьской забастовке, или хотя бы отказаться в подвозке Семеновского полка. [1]

---

[1] Что же было действительной причиной срыва забастовки Петербургского ж.-д. узла?

Замечательно, что литературы на этот счет совсем не имеется. Не только мемуаристы наши, но и историки, предпочитают пользоваться здесь готовыми штампами. Кадетско-меньшевистский штамп о «сепаратной» забастовке в силу этого гуляет невозбранно.

Можно ли отрицать факт усталости рабочих в результате октябрьской и ноябрьской забастовки? Никоим образом, конечно, нельзя. Факт остается фактом. Усталость эта была; усталость была тем фоном, на котором н е м о г л а произойти с т и х и й н а я забастовка, но сама по себе усталость эта не была причиной срыва. Усталость еще вовсе не означала бессилия. Отсутствие ведущей воли, при наличии усталости, — вот что было подлинной причиной.

Большевики правильно опасались, что наличие такой авторитетной беспартийной, но политической организации, как тогдашний Совет, рядом с партией и параллельно с партией, чревато неудобствами для пролетариата и революции, но большевики, конечно, сделали бы грубую ошибку, не пойдя в беспартийный Совет. Логика вещей была сильнее опасений. Пришлось передоверить долю руководства ходом революции Совету. Совет и стал той самой в е д у щ е й в о л е й, которая совершенно правильно руководила пролетариатом в ноябрьскую забастовку. Партия не только использовывала тогда Совет, она и действовала в огромной мере через Совет.

С арестом исполнительного комитета СРД 3-го декабря 1905 года обстановка, таким образом, серьезно изменилась. Партия осталась б е з о т к р ы т о г о а п п а р а т а и без рупора, с которым уже свыклись массы. Партия лишилась на время возможности действовать одновременно широко и стремительно. Партия стала опять подпольем. Открытыми же аппаратами руководства, и притом монопольными аппаратами, остались такие половинчатые и смешанные по социальному составу организации, как псевдо-профессиональные союзы типа ж е л е з н о д о р о ж н о г о и т. п.

Союзы эти также преследовали цели политические, но, в силу именно неоднородности состава, руководство их было... не столько «беспартийным», сколько прикрыто-партийным, но исходившим от чуждых пролетариату социальных групп.

С разгромом питерского Совета союз железнодорожников остался главным и единственным легальным руководителем ж.-д. узла. Союз же, как известно, входил в состав пресловутого Союза союзов, организации в целом кадетской, с примесью радикализма, и всецело находился под его влиянием. Центральное бюро союза, во главе с эсерствовавшим председателем Переверзевым, усиленно рассылало телеграммы по отделам «с требованием воздерживаться от всяких частичных выступлений и ждать сигнала из центра о начале всеобщей забастовки, которая неизбежна, но момент для которой

Когда фонари были разбиты и наступила темнота, дружина первым долгом приступила к разоружению городовых; таким образом добытым оружием можно было увеличить кадры дружины.

Военные действия. Вскоре пришлось приступить уже к настоящим военным действиям. Первое нападение дру-

---

еще не настал» (из мемуаров Переверзева). Момент этот, как известно, так и не настал уже (после октябрьской забастовки) никогда!

Любопытный штрих вскользь отмечает в своих воспоминаниях Д. Сверчков. Даже в день ареста петербургского исполкома СРД представители ж.-д. союза, оказывается, все еще занимались разговорами, отговорами и оттяжками!

«Представители партий и члены исполнительного комитета, — пишет Сверчков, — высказались за необходимость новой всеобщей забастовки и последнего выступления против правительства. Представитель союза железнодорожников просил отложить этот вопрос до второго съезда союза, назначенного на 6 декабря».

До второго съезда союза, — не правда ли, это звучит, как «до второго пришествия»! Так мелкая буржуазия «поспешает медленно» всегда, когда нужно действовать стремительно. Второй съезд союза (конференция), действительно, собрался... в августе 1906 года, но войска тем временем уже благополучно были переправлены в Москву и декабрьское вооруженное восстание было разгромлено.

Очень ревниво оберегая свою мнимую «беспартийность», ЦБ ж.-д. союза ухитрилось, ко всему, еще задраться с социал-демократической организацией Москвы, счеты с которой Переверзев сводит даже и в советские времена (статья в № 4 «Былого» за 1925 год).

Что же думала московская организация с.-д.?

«Она считала, — жалуется Переверзев, — принципиально совершенно недопустимым, чтобы союз имел право самостоятельного политического выступления, т. е. мог бы сам, *независимо от партий*, объявить и начать всеобщую политическую железнодорожную забастовку, что он впоследствии и сделал».

(Сделал раз — удачно, победителей не судят; ну, а дальше?).

«По мнению с.-д. группы, — продолжает наш «независимовец», — политические требования, включенные в программу союза, придают последнему вид какой-то неясной, неопределенной политической партии, затемняющей классовое сознание железнодорожных работников, мешающей им отличать мелкобуржуазные организации от чисто пролетарских и создающей совершенно недопустимый прецедент, когда профессиональная беспартийная организация пытается взять на себя роль застрельщика в политической борьбе».

Видите, как ловко использовывалась в революцию 1905 года господами Переверзевыми «беспартийность»! Лево-кадетская «беспартийность» Союза союзов!

Да и не просто ле — кадетская?

Отбиваясь от нападок москвичей, В. Переверзев писал:

«Ошибочно думать, что союз претендует на роль какой-то политической партии. Последняя в конечном счете имеет всегда в виду захват власти. Союз же стремится *только ослабить* и дезорганизовать правительство».

Ясно теперь, какое руководство могло исходить от ЦБ ж.-д. союза.

жины на регулярные войска произошло 11 декабря. Для разбора баррикад примчались пожарные. Их охраняли войска.

Дружина, защищая баррикады, вступила в бой, во время которого были убитые и раненые с обеих сторон. Революционеры почувствовали себя настолько хозяевами положения, что, не довольствуясь разоружением отдельных городовых, захватили целый участок. Окружив Пресненский участок, дружина выделила отряд для производства обыска. Все оружие было отобрано, были захвачены также дела участка.

Но раз можно захватить участок, почему не попробовать захватить целую часть? И вот дружина, очевидно, рассчитывая встретить серьезное сопротивление, в боевом порядке подходит к Пресненской части. К ее изумлению, власти до того растерялись, что победа достается легко. Дружина захватила пристава, произвела обыск в его квартире и, как трофеи, отобрала два револьвера.

Расстрел начальника сыскного отделения. Но главное, что поразило тогда Москву, это — арест и расстрел начальника сыскного отделения Войлошникова, отличавшегося жестоким характером.

В его квартире раздается ночной звонок.

— Кто вы такие и что вам надо?

— Мы дружинники и пришли арестовать тебя.

А ведь это было единственное тогда легальное руководство, при естественном прорыве в партии в связи с разгромом ее открытого (советского) аппарата. Мало сказать: вялое и дряблое, к тому же бездарное, руководство, — это было еще и определенно «мутное» руководство, при наличии которого действительная усталость в рядах ж.-д. пролетариата Питера имела все шансы превратиться в разложение.

Поздно теперь жаловаться на партию, приговаривая:

«Трудовая железнодорожная интеллигенция была предоставлена самой себе и лишена совершенно сознательно помощи квалифицированных железнодорожных рабочих в новом и трудном деле организации огромной железнодорожной армии».

В чем дело? Почему «интеллигенция»? Да в том, что рабочих-то в ж.-д. союзе, оказывается, почти и не было.

«Все, начиная от ЦБ союза и местных комитетов всех дорог Московского узла и кончая съездами, конференциями и бесконечными собраниями — все находилось целиком в руках интеллигенции, по той простой причине, что рабочих в руководящих органах союза был очень ничтожный процент».

Жалкие «вожди» мелкобуржуазного по существу, «освобожденского» союза! Жалкие попытки реставрировать легенду об «усталости», как результате «сепаратной» забастовки и единственной причине срыва забастовки в декабре!

Понятно ли теперь, откуда шел сепаратизм? — *Ч.*

Войлошников сразу понял всю серьезность положения. Он просил расстрелять его тут же, на месте.

Дружина ответила, что у нее нет полномочий на расстрел. Имеется лишь приказ об аресте, а участь его будет решать комитет, который руководит всем восстанием. В руководящем комитете принимали участие как социал-демократы, так и социалисты-революционеры. Из первых свидетели называли популярного подпольщика «Седого», называли также Мартынова. Из социалистов-революционеров — «Медведя». Кроме них, в комитете участвовало много рабочих.

Несколько времени спустя после своего ухода дружинники снова вернулись, чтобы забрать дела и произвести обыск. На вопрос жены Войлошникова, что сталось с ее мужем, дружинники ответили, что его судьба в его собственных руках. Впоследствии сделалось известным, что Войлошников был расстрелян.

Сидя в части, я разговаривал с одним из сторожвших меня конных жандармов. Он мне рассказывал про дружину, оперировавшую на Пресне, и говорил, что это отважная, очень опасная дружина.

Был случай, когда дружина захватила в плен артиллеристов. Их отпустили, взяв обещание не стрелять в народ. Солдаты дали обещание не только не воевать против своих братьев, но испортить замки у орудий. Из дела не было видно, исполнили ли отпущенные пленники свое обещание.

К о н е ц в о с с т а н и я. 17 декабря прибыл Семеновский полк, и судьба восстания была решена. Начался артиллерийский обстрел Пресни, обстрел, столь памятный нам, старым москвичам. Вспыхнуло пламя пожаров.

Таким образом, дружина держалась более недели. Более недели вся Пресня находилась фактически в руках восставших. Более недели шестьсот дружинников сопротивлялись с успехом регулярным войскам, а комитет рабочих противополагал свои стратегические способности генеральному штабу с командующим Дубасовым во главе.

П р о ц е с с. Ровно через год после описываемых событий, 6 декабря 1906 года, пришлось рабочим держать ответ перед торжествующей реакцией. В громадном Екатерининском зале судебных установлений обвиняемые предстали перед судом царского правительства.

На суде подсудимые вели себя не одинаково. Одни держали свои головы так же высоко на скамье подсудимых, как держали их на баррикадах; другие, напротив, старались зате-

ряться в толпе. Но предателей рабочего дела между ними не было.

Таким образом клевета, созданная жандармами и подхваченная прокуратурой, будто многих рабочих силой принуждали вступать в боевую дружину, на суде торжественно провалилась.

Приговор по Прохоровскому делу был очень суров. Много каторжных работ на продолжительные сроки.

Каширская забастовка. Мы изложили историю двух вооруженных восстаний, столь различных между собой как по своему социальному составу, так по своей революционной энергии. Одно не продержалось и несколько часов; другое, напротив, больше недели господствовало над целым районом Москвы.

Теперь нам предстоит сказать несколько слов по поводу процесса, стоящего как бы на рубеже двух этих дел. Мы говорим о каширской забастовке или, как ее некоторые называли, о «каширском вооруженном восстании». Забастовка была густо окрашена в рабочий цвет. Но, на ряду с рабочими, в ней принимал участие и служащий персонал.

Революционный характер всему делу придавал исключительно рабочий элемент. По показанию свидетелей, рабочие готовились к восстанию и сами выковывали оружие в роде пик. Но восстания в настоящем смысле слова не произошло, хотя настроение было очень агрессивное и приподнятое.

На этом процессе с особой силой сказалась вся нелепость политического суда через четыре года после события. Дело слушалось в Московской судебной палате, когда революционная волна совершенно схлынула с поверхности политической жизни и ушла в глубокое подполье.

В маленьком зале, при отсутствии публики, даже той, которая имела право присутствовать на процессе, при полном отсутствии интереса к делу со стороны общественных кругов, начался разбор дела.

При таких условиях не было никакого смысла ни подсудимым, ни защите приподнимать политическое значение дела. Узкое место суда надо было пройти с притушенными огнями.

Защита пыталась сделать все для смягчения участи обвиняемых, тем более, что настоящих боевых революционеров здесь не было. Из защитников я помню П. П. Лидова, М. Ф. Ходасевича, Шполянского (Дон-Аминато), Львова. Кроме того, защищал я.

Что касается до состава палаты, то большинство ее, с докладчиком Белевским во главе, не было склонно преуве-

личивать значение процесса и готово было итти на мягкий приговор. Несмотря на протесты черносотенной части и, главным образом, Шадурского, палата вынесла очень мягкий приговор. Несколько человек было присуждено к незначительному наказанию. Остальные были оправданы.

Приговор не обошелся безнаказанно докладчику Белевскому. Вскоре после процесса он был переведен в гражданское отделение, несмотря на то, что всю свою служебную карьеру проходил в прокуратуре. Так Столыпин и Щегловитов производили подбор нужного им политического суда, относительно которого, между прочим, даже Витте в своих записках говорит:

«Столыпин совершенно подчинил суд полиции».

ГЛАВА XXI

ДУМСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Обстоятельства, вызвавшие выборгское воззвание. — Текст воззвания. — Полемика против него справа и слева. — Исключение подписавших из дворянских собраний. — Лицемерие. — Положительная сторона воззвания. — Убийства из-за угла. — Попытки распространения воззвания. — Отречение от воззвания. — Цели отречения. — Процесс. — Отражение происходящего в думе и в стране. — Лойяльность партии народной свободы. — Петрункевич. — Набоков и Кокошкин. — Признание суда. — Позиция трудовой группы. — Единый фронт против помещиков. — Врагов и панихида в деревне по Герценштейне. — Врагов и Гонецкий. — Отношение трудовой группы к правым и левым. — Социал-демократическая фракция. — Союз рабочих и крестьян. — Революционная позиция фракции и двойной ее характер. — Полемика Муромцева с Рамишвили. — Приговор. — Процесс депутатов с.-д. второй думы. — Процесс, как предлог для государственного переворота. — Отсутствие оснований для выдачи. — Заседание фракции партии народной свободы. — Визит Струве и Маклакова к Столыпину. — Наивность депутатов и цинизм Столыпина. — Аудиенция председателя думы Головина у государя. — Царь обманщик. — Заключение: цель переворота.

ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ

Разгром вооруженного восстания знаменует собой начало снижения революционной волны. Выборы в первую Государственную думу, а затем и самая дума, нервируя страну, не позволяли реакции надвигаться слишком быстро. Роспуск первой Государственной думы и последовавшее затем опубликование выборгского воззвания могут считаться новым этапом в снижении общественного и революционного настроения.

Обстоятельства, вызвавшие выборгское воззвание. Первая Государственная дума по отношению к правительству вела себя чрезвычайно агрессивно. Она была убеждена, что правительство не осмелится распустить «думу народного гнева». Правительство осмелилось.

Формально роспуск законодательного учреждения был актом вполне закономерным, на чем и настаивал Струве, возражая против выборгского воззвания. Но это только формально. По существу же, если конституции некоторых европейских государств разрешают роспуск своих законодательных учреждений, то исключительно с целью узнать действительную волю народа по данному вопросу[1]. В России же дума была распущена в целях борьбы с совершенно недвусмысленно выраженной волей страны. Новые выборы, новая дума не могли заставить трон изменить ничего в этой борьбе.

Новая дума была бы также обречена на роспуск. Было заведомо известно, что в вопросе о помещичьей земле царь ни на какие уступки не пойдет. При таких условиях роспуск Государственной думы, как бы он ни был формально законен, терял свою конституционную цель, а следовательно, и конституционный характер. Ее не распускали, ее разгоняли.

Что было делать Государственной думе в той обстановке, в которой совершился роспуск? Восстание было немыслимо, и народ бы на него не пошел. Оставалось разъехаться по домам и там заняться революционной деятельностью. Но для этого было наговорено слишком много грозных слов, а слова обязывают.

Все чувствовали, что надо было что-то сделать, но что именно? Было решено для совещания ехать в Выборг, но положение от этой прогулки нисколько не изменилось: в Выборге оно было так же безвыходно, как и в Петербурге. Однако, там, под защитой «великого князя финляндского», можно было сделать выступление против «императора всероссийского».

В Выборге Милюков со своим догматическим и доктринерским умом внес предложение обратиться к населению с призывом к пассивному сопротивлению.

Пассивное сопротивление в безграмотной, некультурной, разобщенной, деспотической России было, конечно, отпиской, двойной отпиской — и от революции, и от правительства.

Вместо действия, Милюков предложил жест. И предложение фракции народной свободы было принято почти единогласно.

Одни приняли его, как максимум того, на что могли пойти;

---

[1] «По существу», это, конечно, чисто юридически-формальное и застарело-кадетское рассуждение, ибо на деле всегда было наоборот. Так оно есть и сейчас в буржуазных странах. Это знает, конечно, автор, но «юридические» навыки мешают ему говорить нужным языком. Сейчас это звучит совсем уже забавно. Есть же мысли, от которых нафталином пахнет! — *Ч.*

другие — как минимум. Сам автор предложения был очень доволен собой: совсем как в Европе! Так поступило прусское собрание, когда было распущено королевским указом.

Но приведем в извлечении текст воззвания.

Текст воззвания. «Граждане всей России! Указом 8 июля Государственная дума распущена. Когда вы избирали нас своими представителями, вы поручали нам добыть землю и волю. Исполняя ваше поручение и наш долг, мы составили законы для обеспечения народу свободы, мы требовали удаления безответственных министров. Но прежде всего, мы желали издать закон о наделении трудящегося крестьянства землею... Правительство признало такой закон недопустимым, и, когда дума еще раз настойчиво подтвердила свое решение о принудительном отчуждении, был объявлен роспуск народных представителей...

Граждане! Стойте крепко за народное представительство, стойте за Государственную думу... Правительство не имеет права ни собирать без согласия народного представительства налоги, ни призывать народ на военную службу... Итак, до созыва народного представительства не давайте ни копейки в казну, ни одного солдата в армию! Будьте тверды в своем отказе! Стойте за свои права все, как один человек. В этой вынужденной, но неизбежной борьбе ваши выборные люди будут с вами».

Авторы воззвания «отписались», таким образом, от обязанности быть героями. Сами они не придавали серьезного значения выборгскому воззванию и отнеслись к нему легкомысленно. Подписавши акт такой значимости, многие вожди преспокойно уехали на отдых по заграничным курортам. Если бы они серьезно относились к своему шагу, то, выпустив воззвание, должны были бы отдать все свое время и все свои силы организации его осуществления.

Всякий здравомыслящий человек, а не безнадежный догматик, не мог не понимать, что в условиях русской действительности выборгское воззвание было или ударом весла плашмя по воде, или необходимо должно было привести к вооруженному восстанию.

Неплатеж налогов в Англии привел бы к иску, в России — к экзекуции, насильному отобранию имущества, порке и стрельбе по крестьянам, «стойко» следующим призыву воззвания. При подобных условиях призыв к пассивному сопротивлению или к вооруженному восстанию имел бы одни и те же последствия.

П о л е м и к а с п р а в а и с л е в а. На выборгское воззвание напали сразу и справа и слева.

Справа его считали открытым бунтом. Начались поголовные исключения из дворянских собраний членов, подписавших выборгское воззвание. Некоторые собрания при этом изощрялись в лицемерии. Так, одно из них (кажется, рязанское) постановило, что в проявлении политических убеждений оно не видит ничего позорящего честь и достоинство дворянина, но, что, поскольку лица, подписавшие бунтарское воззвание к народу, сами разъехались по Карлсбадам, Киссингенам, Виши и другим приятным местам, оставив свой народ расплачиваться за исполнение призыва депутатов, они недостойны носить высокое звание дворянина.

Конечно, в такой мотивировке много несправедливого и еще больше лицемерного. Много от Тартюфа и мало от Радищева. Выборжцы не уклонялись от личной ответственности и с большим достоинством держали себя на процессе. Но несомненно что вожди партии народной свободы, внося предложение о воззвании, серьезно к нему не относились. Трагедию восстания они превратили в фарс жеста.

Нападки на выборгское воззвание раздавались не только справа, но и слева. Не без остроумия оно было прозвано «выборгским кренделем». Но нападки левых партий должны бы были умолкнуть перед подписями их собственных представителей, красующимися под воззванием. Конечно, в предложение пассивного сопротивления Милюков внес весь свой блестящий, но догматический и лишенный политической интуиции ум. Выборгское воззвание стоит «делового министерства» в момент революции.

П о л о ж и т е л ь н а я с т о р о н а в о з з в а н и я. Но, несмотря на все нападки на выборгское воззвание, оно несомненно имело и свои положительные стороны. С высокого лобного места, отовсюду видимого и слышимого, не анонимно, а за подписью популярнейших людей страны, начиная от С. А. Муромцева и кончая Жордания, Аникиным и др., не подпольно, а совершенно открыто и гласно, в массы был брошен лозунг сопротивления правительству. Брошенный при таких условиях в момент обострения борьбы между царем и народом, этот лозунг не мог не быть сильным агитационным средством, если не для непосредственной своей цели, то в качестве орудия общей пропаганды.

У б и й с т в а и з - з а у г л а. Лично я приехал в Выборг с некоторым опозданием, так как проживал тогда в Териоках

и поздно узнал о происходящем. На общее собрание я уже не попал, да и не знаю, имел ли я право на нем присутствовать. Приехал я во время заключительного заседания фракции, когда воззвание было уже принято.

Правая часть фракции, очевидно, с трудом согласилась на воззвание. По крайней мере М. Я. Герценштейн требовал, чтобы никаких действий более не предпринималось.

Он на заседании произвел на меня впечатление наиболее право настроенного человека, подписывающего воззвание, скрепя сердце.

Немного спустя, в нескольких шагах от меня Герценштейн пал жертвой подлого убийства, организованного чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе Гершельмане. Ему мстили за речи в думе по аграрному вопросу. Я бросился к нему на помощь. Но передо мной лежал уже труп. Убийца скрылся. Он потом был разыскан финляндской полицией, но вдохновители, известные всем и каждому, остались безнаказанными. Еще одна черта царского правосудия!

Так же подло был убит другой депутат первой думы, Иоллос, редактор «Русских Ведомостей». Подстрекатели убедили темного рабочего в том, что Иоллос является опасным реакционером, и несчастный убил свою жертву, не понимая своего преступления.

Владикавказский прокурор рассказывал мне однажды, что, когда в его округе «патриоты» убили революционера, он (прокурор) по наивности предписал начать правильное следствие. По приказу Щегловитова, следствие было прекращено, и наивный прокурор имел большие неприятности.

Даже Витте напрасно искал правосудия, когда было обнаружено покушение союза русского народа на его жизнь.

Там, где нельзя было судить, там царизм убивал из-за угла, и эта сторона царского правосудия еще ждет своего историка.

Попытки распространения воззвания. Но вернемся к прерванному рассказу. Подписав выборгское воззвание, депутаты разъехались по домам — «так глубоко довольны собой, что подумаешь — в том их призванье».

Никакой организации пассивного сопротивления не было произведено, и никто этим даже не интересовался, а меньше всех сам инициатор и автор воззвания, П. Н. Милюков. Поэтому нас не удивило, что при всем желании прокуратуры раздуть дело, она не могла указать ни одного случая организованного проведения в жизнь директивы, данной выборгским воззванием.

Прокуратуре поневоле приходилось собирать осколки само-

чинных попыток в этом направлении. Так, трудовик-крестьянин Врагов, защитником которого на суде я являлся, по словам обвинительного акта, вернувшись на родину в Пензенскую губернию, собрал крестьян, сделал доклад о работах думы и изложил цели и смысл выборгского воззвания. Другой случай: член фракции народной свободы, и даже ее правый член, Езерский, возвратясь в ту же Пензенскую губернию, собрал крестьян, прочел им выборгское воззвание и убеждал не платить податей и не давать рекрут. На предварительном следствии Езерский показал, что он «действовал без соглашения с остальными членами думы, подписавшими воззвание». Езерский показал вполне правдиво. Левый кадет Иваницкий тоже собирал крестьян, разъясняя им значение и цель воззвания, за что был тоже предан суду.

Член Государственной думы Михайличенко в Бахмутском уезде собрал рабочих. На митинге присутствовало до 600 рабочих. Им депутат объяснил значение воззвания, добавив, что если народ не даст правительству ни солдат, ни денег, то последнее поневоле должно будет пойти на уступки.

Были и другие случаи попыток со стороны депутатов ознакомить народ с содержанием воззвания, но все эти попытки, во-первых, предпринимались на свою ответственность, а во-вторых, они были очень немногочисленны. Обвинение могло насчитать только 13 таких случаев.

Во всех приведенных случаях речь идет о чтении воззвания, разъяснении его содержания. Но нигде нет речи об организации пассивного сопротивления. Лично я знаю только одну такую попытку. После Гельсингфорского съезда, о котором речь впереди, ко мне приехали два молодых человека — большевика. Они ехали из Петербурга в Кострому по поручению комитета организовать в губернии пассивное сопротивление.

Это был единственный случай, когда мне пришлось столкнуться с серьезным отношением к выборгскому воззванию; по странной иронии судьбы — со стороны партии, относившейся наиболее критически резко к нему.

Отречение от выборгского воззвания. «Башмаков еще не износила»... Быстро промчалось лето. Наступила осень, а вместе с тем время или платить по векселям, выданным в Выборге, или объявить себя банкротом. Центральный комитет партии народной свободы решил не делать ни того, ни другого. Он созвал партийный съезд в Гельсингфорсе для отказа от воззвания, а вместе с тем и для отказа от прошлого партии. То был пробный шар перемены курса.

Политическая обстановка стала выясняться. На революцию никакой надежды, реакция с каждым днем крепла. Плавать на поверхности политической жизни в данный момент можно было, лишь отряхнув прах революции с ног своих.

Милюков, который органически не мог уйти из политики сегодняшнего дня, решился на такой шаг. И вот, как первый балласт, было выброшено выборгское воззвание.

В сущности, конечно, отрекаться от воззвания не нужно было просто потому, что всерьез его никто не принимал. Но жесту воззвания надо было противопоставить жест отречения.

Речь шла о том, чтобы засвидетельствовать свою благонадежность перед близлежащими правыми и в дальнейшем расчистить путь к сближению с ними. Окончательно эта политика была установлена на следующем партийном съезде, но здесь она намечалась.

Как читатель мог видеть из сказанного здесь, я не был поклонником выборгского воззвания, но вместе с тем не хотел «итти в Каноссу» на поклон к Столыпину. А потому на съезде партии я резко возражал как против принятого курса вообще, так и против отречения от выборгского воззвания в частности.

Здесь начались мои резкие разногласия с большинством партии и с центральным комитетом ее, которые через несколько месяцев привели к выходу моему из последнего и к снятию моей кандидатуры, выдвинутой партийным плебисцитом, в третью Государственную думу.

С тех пор я отошел от руководящего большинства партии и занялся исключительно организацией левого крыла ее.

П р о ц е с с. Зал суда был зеркалом того, что происходило в стенах думы, а следовательно, в уменьшенном виде и того, что делалось в стране. Поэтому в показаниях подсудимых, в системе и речах защиты сказались все основные течения, которые волновали тогда Россию.

Партия народной свободы, составлявшая большинство думы и имевшая в ней превалирующее значение, оставалась на почве конституционной. Напротив, левые партии демонстрировали открыто свои революционные позиции.

Л о й я л ь н о с т ь п а р т и и н а р о д н о й с в о б о д ы. Ораторами партии народной свободы выступали Петрункевич, настоящий Нестор земского движения; Кокошкин, человек больших научных дарований, которого политика и жизнь, к сожалению, отвлекли от науки (его ждала участь Лавуазье); Набоков, в последние годы своей жизни ударившийся в контр-

революцию, но красиво умерший, заслоняя от выстрела грудью своего политического противника, Милюкова.

Все три оратора не отрицают существующего дворянско-промышленного государства. Они борются за форму власти и за отдельные социальные подгруппы, а не за свержение правящих классов. Поэтому Петрункевич имел полное основание заявить от лица фракции народной свободы: «Мы признаем суд!». Кокошкин развивает ту же мысль: «Мы хотим, — говорит он, — чтобы Россия стала страной свободной, правовым государством, страной счастливой и развивающейся».

Речи Кокошкина и Набокова произвели сильное впечатление, несмотря на то, что были произнесены без пафоса, с той простотой, которая отличала этих ораторов. И тот и другой более всего старались оттенить полную конституционность выборгского воззвания, т.-е. доказать недоказуемое. Не обошлось дело без ссылки на прусское законодательное собрание, и прокурор Камышанский не без едкости, в ответ на ссылку, посоветовал русским кадетам подражать германским социал-демократам, которые во время Марокккского инцидента заявили, что теперь в Германии «нет партий, есть только немцы».

Если Кокошкин не видит классового расслоения, то Набоков начинает догадываться, что сущность конфликта заключается не в форме, «а в роковом несоответствии между требованиями народа и тем, что правительство хочет дать». Пройдет не особенно много времени, а такое же «несоответствие» между требованиями народа и тем, что уже не Николай II, а он, Набоков, желает дать, отбросит героя выборгского воззвания в лагерь контрреволюции.

П о з и ц и я «т р у д о в о й г р у п п ы». Но и для Набокова народ представлялся солидарным и противополагался правительству. На иной позиции стояла вторая по количеству партия, так называемая трудовая группа. За ее спиной стояли социалисты - революционеры, официально бойкотировавшие думу. Трудовая группа выражала интересы крестьянства в его борьбе с помещиками и помещичьим государством.

Борьба крестьянства, как целого, затушевывала борьбу внутри крестьянства. Феодальные формы эксплоатации затушевывали капиталистические. Такая затушеванность содействовала тому, что трудовая группа состояла в значительной части из зажиточных крестьян, пользующихся наемным трудом. Батраков в думе или не было совсем, или было очень мало. Не по линии этого водораздела шла тогда борьба.

Представителем зажиточной части трудовой группы являлся

крестьянин-трудовик Врагов, о котором нам приходилось уже говорить. Он пользовался, и совершенно по заслугам, уважением всей округи, был предан интересам крестьянства в его борьбе с помещиками. Врагов был человек развитой, умевший обобщать борьбу и связывать экономические факторы с политическими.

Характерным для Врагова фактом является как распространение им выборгского воззвания, так в особенности панихида, отслуженная по его инициативе в деревне по Герценштейне. Собрав крестьян, Врагов прочел им выборгское воззвание, разъяснил его, затем изложил роль Герценштейна при разработке аграрного вопроса и в заключение предложил отслужить по нем панихиду.

Власти были возмущены таким демонстрированием отсутствия антисемитизма у крестьянства, и Врагов был арестован после панихиды.

Революционная тактика. Не отрицая значения борьбы за формы власти, ораторы трудовой группы резко подчеркивают свою борьбу за ее материальное содержание: главным образом, сословно-феодальную борьбу из-за земельного вопроса. Оратор трудовой группы Ганецкий говорит об исторической тяжбе старого и нового мира.

«Эта историческая тяжба, более того, эта кровавая борьба, — говорит он, обращаясь к особому присутствию палаты, — наболевшая язва родины, именуется земельным вопросом. Трудовая группа отдает себе ясный отчет в том, что кровавая борьба, которую она ведет, не решается и не решится конституционным путем».

Поэтому, в противоположность ораторам партии народной свободы, трудовик Лунин заявил, что трудовая группа не заботится о легальности форм своей борьбы.

«Добыть для крестьянства землю, — говорит другой оратор, — невозможно, оставаясь на почве существующего права... Нет той конституционной почвы, на которой старый и новый мир могли бы сговориться».

«Крестьянин от сохи», как сказали бы теперь, Врагов, рассказав палате, как он был арестован за панихиду по Герценштейне, как крестьянство его освободило, несмотря на присутствие целой роты солдат, как торжественно его встречало крестьянство после подписания им выборгского воззвания, обращается к судебной палате в заключение:

«Я вам скажу: у вас есть сила, есть власть, есть смелость, но нет права нас судить».

«Нет права», конечно, с точки зрения нового строя, уже шедшего на смену «дряхлому миру».

Отмежевание от правых и левых. Так говорили трудовики. Они, следовательно, отмежевывались от представителей господствующих классов, от либеральных групп. Это во-первых.

Они не только не заботятся о легальности форм борьбы, но ясно отдают себе отчет в том, что только революция может решить их вековечную тяжбу из-за земли. Это во-вторых.

Они представляют собой крестьянство, как феодальное сословие, эксплоатируемое землевладением, а не капиталом. Расслоение крестьянства и борьба его с капиталистической эксплоатацией — дело будущего. В-третьих.

Этим предрешается отмежевание представителей трудовой группы не только от либерально-буржуазных групп, но и от пролетариата. В их заявлениях нет и речи о прекращении исторической эксплоатации со стороны капитала; нет и речи об изменении хотя бы в самом отдаленном будущем общественных форм; об уничтожении права собственности на капитал, следовательно, об упразднении категории наемного труда.

Переход земли в руки крестьянства — такова единственная ясно осознанная цель того блока борьбы, который назывался трудовой группой.

Социал-демократическая фракция. Точку зрения социалистов на сущность борьбы, происходившей, как в думе, так и в стране, одним из эпизодов которой было выборгское воззвание, выявила партия социал-демократов. От ее имени выступали, главным образом, Рамишвили и Шерский. Представители пролетариата говорили, впрочем, не только от имени этого последнего, но вообще от имени «молодой нации в лице ее новых классов», т.-е. от имени рабочих и крестьян.

Делалось это вполне сознательно.

Союз рабочих и крестьян. «Еще в июне, — говорит оратор партии, — мы располагали сведениями от всех российских районных организаций пролетариата. Они говорили, что в ближайшей борьбе пролетариат не может рассчитывать исключительно на свои силы». «Значит, — спрашивает риторически оратор, — пролетариат выборгским воззванием хотел дать лозунг крестьянству?». И тут же отвечает утвердительно на поставленный вопрос.

От имени социал-демократической партии оратор заканчи-

вает глубокой уверенностью в окончательном торжестве революции.

Таким образом, из речей социал-демократов мы прежде всего узнаем, что они твердо стоят на точке зрения пролетариата и классовой борьбы.

Они, правда, говорят о «молодой нации», но понимают под этим термином определенные классы-союзники, интересы которых они противополагают всем другим классам общества.

Во-вторых, в речах ораторов по выборгскому процессу намечена политика, властно диктуемая историческими условиями русской революции и впоследствии так полно осуществленная Лениным, — политика союза двух революционных классов[1].

Революционная позиция фракции. Социал-демократы не могли, подобно обвиняемым из партии народной свободы, признать суд, в котором, по выражению одного из подсудимых, они видели «защитников ста тридцати тысяч столыпинских помещиков, являющихся врагами народа и свободы». Фракция стояла на почве осуществления программы-минимум. О программе-максимум, как о чем-то близком, тогда еще никто не мечтал.

И тем не менее, пролетариат был вдвойне революционен: он был революционен потому, что вместе с крестьянством боролся за перемещение собственности. Он был еще более революционен потому, что понимал, что интересы рабочего класса могут быть полностью осуществлены не путем перемещения собственности, а путем полного упразднения собственности на землю и капитал.

Незачем и говорить, что социал-демократы меньше всего заботились о лойяльности и конституционности выборгского воззвания. И когда Рамишвили высказал объективную истину, что воззвание давало народному негодованию по поводу роспуска думы некоторое удовлетворение и тем содействовало успокоению страны, он тотчас же, чтобы не быть дурно понятым, спешит прибавить: «Это, конечно, не входило в планы нашей партии».

С своей стороны, он считал выборгское воззвание слабым ответом на сильный удар правительства.

Роль адвокатуры. Партия народной свободы и

[1] Не совсем так. Ленин имел в виду не крестьянство, как «класс», — для класса крестьянство слишком неоднородно, — а бедняцкие и середняцкие группы крестьянства. — Ч.

левые разошлись не только в системе защиты, но и в задачах адвокатуры на процессе. Так как я дорожил защитой Врагова, как очень колоритной и яркой фигуры, а фракция народной свободы поставила мне на выбор участвовать в ее защите, но отказаться от защиты Врагова, или же защищать его, но выйти из состава защитников фракции, то я предпочел последнее. Таким образом, лично я выступал, как защитник члена трудовой группы.

Адвокаты партии народной свободы решили, на ряду с речами подсудимых, с своей стороны произнести защитительные речи. Мы же решили, что подсудимые настолько квалифицированы, что сами должны и могут говорить со страной со скамьи подсудимых, как они говорили раньше со скамей законодателей. Наше присутствие представлялось необходимым лишь для охраны их процессуальных интересов.

Нашу точку зрения мы поручили выразить товарищу нашему, присяжному поверенному А. М. Александрову, который и сделал это с присущей ему красочностью и лиризмом.

А. М. Александров и В. А. Маклаков. Но особое впечатление произвел своей речью Маклаков. Его речь была чисто юридической, но в том-то и состояла особенность этого ораторского таланта, что он, как никто другой, загорался пафосом права. Психологические переживания, бытовые картины, — все это мало затрагивало Маклакова, скользило мимо его темперамента, и в подобных делах он едва возвышался над уровнем хорошего оратора. Но стоило только какому-либо нарушению права «до слуха чуткого коснуться», как Маклаков преображался [1]. Его речь достигала редкой силы подъема, он захватывал и подчинял себе слушателя.

Мне приходилось защищать с лучшими ораторами России, но, если бы меня спросили, какая речь произвела на меня самое сильное впечатление, я бы не колеблясь ответил: речь Маклакова по выборгскому процессу.

Когда он кончил говорить, весь зал как бы замер, чтобы через минуту разразиться громом аплодисментов.

Сущность речи Маклакова сводилась к юридическому поло-

---

[1] О каком «праве» говорит здесь автор? К нарушению какого «права» было «чутко» ухо Маклакова? Права царских законов? Совсем иначе реагировали уши (и ноги) Маклаковых на право пролетарской революции. Автору прекрасно это известно, но «право» на принадлежность к одному «сословию» толкает его и сейчас еще на реверансы перед своими бывшими друзьями и нынешними противниками. Все они гениальны и чутки — до бесчувствия! Ну, что же — право быть смешным есть тоже право. — Ч.

жению, что нельзя составителей воззвания, в силу только их подписи, преследовать, как соучастников распространения. Для этого необходимо соглашение между распространителями и составителями, каковое соглашение в данном случае не только не доказано, но и не существовало.

Полемика Муромцева и Рамишвили. В своем последнем слове бывший председатель Государственной думы С. А. Муромцев, державший себя на скамье подсудимых с такой торжественностью и с таким достоинством, что непосвященному могло показаться, что он председательствует и на процессе, — высказал мысль, что выборгским воззванием дума хотела отвести поток народного негодования.

Такое заявление было неудачно вообще, а тем более в устах председателя не кадетской фракции, а всей думы. Тогда Рамишвили, уже произнесший свое последнее слово, вопреки всем установленным формам и традициям, потребовал слова, а когда ему было в этом отказано, успел сказать, что ни он, ни его фракция нисколько не стремились смягчать размеры народного гнева.

Процесс закончился приговором, осудившим почти всех подсудимых на три месяца тюремного заключения, которое они и отбыли.

ВОПРОС О ВЫДАЧЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ ВТОРОЙ ДУМЫ

Государственный переворот и вопрос о выдаче. Процес выборгского воззвания, или процесс первой Государственной думы по существу был процессом партии народной свободы. Ее инициатива, ее идеология. И как ни старались левые переложить конституционные мотивы, распеваемые партией народной свободы, на революционную оркестровку, это так же шло одно к другому, как классический «Ревизор» к постановке Мейерхольдом.

Прямой противоположностью выборгскому процессу был процесс фракции социал-демократов во второй Государственной думе. Если выборгский процесс был характерен для большинства Первой думы, то процесс социал-демократической фракции освещал собой левое крыло Второй думы. В ней конституционно-демократическая партия была стиснута между двумя крыльями, готовыми в каждую данную минуту вступить между собой в рукопашный бой.

Фракция социал-демократов была во второй Государственной думе крайним левым и наиболее выдержанным револю-

ционным крылом. Для нее Государственная дума была только удобным орудием, а положение депутата — наиболее защищенной позицией революционной борьбы.

Меньше всего революция заботилась о соблюдении декорума конституционности, и нелегальная, подпольная деятельность в глазах партии составляла не только право, но и обязанность каждого депутата парламентской ее фракции.

Столыпин это знал и понимал. Замышляя государственный переворот, он чувствовал, что настает час, когда вторая Государственная дума должна принять законопроект о земле. Он понимал, что разрешение аграрного вопроса укрепит ее положение в широких массах крестьянства, и в то же время, не желая давать бой именно на этой почве, премьер решил для своего удара остановиться, как на предлоге, на деятельности социал-демократической фракции.

Обстоятельства благоприятствовали государственному преступлению, замышляемому царем, Столыпиным и всем землевладельческим классом. Революция в стране явно шла на убыль, была загнана в подполье, а на поверхности распылялась. Государственная дума, раздираемая внутренними разногласиями и постоянно провоцируемая своим крайним правым крылом, была абсолютно неспособна к выступлениям и, по тогдашнему выражению, «гнила на корню». Ей недоставало coup de grace.

Это coup de grace Столыпин ни за что не хотел дать на аграрном вопросе, хотя именно он и был причиной государственного переворота, т. е. насильственного изменения избирательного закона и передачи народного представительства всецело в руки землевладения и крупной буржуазии. Для этой цели он решил воспользоваться революционной ролью социал-демократической фракции.

У него уже лежал в кармане приказ государя о роспуске думы и об изменении избирательного закона. Заручившись содействием царя, Столыпин решил в ударном порядке поставить думе ультимативное требование о выдаче депутатов социал-демократической фракции.

Срок для ответа был дан молниеносный: кажется, около 24 часов. Столыпин играл свою игру наверняка. При соотношении сил в думе, правая, готовая вотировать за выдачу не только социал-демократов, но и всех, кого прикажут, и левая, готовая отказать в выдаче даже заведомых террористов, уравновешивали друг друга. Вопрос, таким образом, должен был решаться голосами партии народной свободы.

Я тогда случайно был в Петербурге и в качестве юриста был приглашен на заседание фракции. В противоположность правым и левым, фракция народной свободы решила голосовать «по совести», вполне согласно с конституционной моралью.

Доклад делал Н. В. Тесленко. Из материала, им доложенного, было очевидно, что все обвинение построено на данных чисто провокационного характера. Мы, все юристы, присутствовавшие на заседании фракции, подвергли сообщенные правительством данные уничтожающей критике. Мы категорически заявили, что ни один уважающий себя юрист и ни одна достойная уважения политическая партия не согласятся заклеймить себя выдачей товарищей своих на основе таких шатких доказательств.

Фракция решила вотировать против выдачи. Жребий был брошен, и судьба думы решена.

Визит Струве и Маклакова к Столыпину. Я не участвовал в процессе социал-демократической фракции второй Государственной думы, а потому изложил только начало дела, т.-е. разрешение вопроса о выдаче, в котором мне пришлось участвовать.

Дальнейшее я изложу со слов Маклакова в том виде, в каком он мне тогда рассказывал. В. А. Маклаков, как юрист, несмотря на свою близость к правым кругам, не мог не высказаться за отказ в выдаче депутатов.

Но в то же время он боялся роспуска думы, боялся реакции, революции и потому решился на последнее средство. Желая предупредить государственный переворот, о котором уже тогда носились темные слухи, посоветовавшись со своим приятелем и человеком одних с ним взглядов, П. Б. Струве, они решили сделать последнюю попытку предотвратить события. Они решили, ничего не говоря ни центральному комитету, ни фракции, на свой страх и риск попытаться доказать Столыпину, что требование его о выдаче депутатов лишено законного основания и не базируется на твердых судебных доказательствах.

Даже теперь, почти через 25 лет, когда я пишу и вспоминаю об этом визите, я не могу удержаться от улыбки.

Меня всегда изумляло, каким образом умные люди, как П. Б. Струве или В. А. Маклаков, могли в то же время так не понимать положения. Ребенок и тот бы увидел, что решение распустить думу и произвести государственный переворот у Столыпина было непреклонно и вызывалось борьбой за со-

хранение помещичьей власти, а совсем не действиями социал-демократов. Если бы таковых не было в природе, Столыпин их изобрел бы.

Поздно ночью, — рассказывает мне потом Маклаков, — отправились они со Струве к премьеру. Столыпин их немедленно принял. Я забыл, кто был с ними третий, но кажется — Н. Н. Львов.

Столыпин был крайне удивлен их ночным визитом; удивление еще более усилилось, когда Маклаков посвятил его в романтически-наивную цель посещения.

В. А. Маклаков передавал мне, что Столыпин, несмотря на всю свою внешнюю воспитанность, едва интересовался тем, что ему говорили приехавшие депутаты. Во время беседы беспрестанно приходили чиновники, которым Столыпин отдавал приказания, связанные с предстоящим роспуском Государственной думы.

После стольких колебаний и усилий ему, наконец, удалось поставить дело роспуска думы и государственного переворота на твердые рельсы. Все готово. За депутатами социал-демократической фракции уже ходят по пятам сыщики, готовые их схватить по первому сигналу, а тут являются люди, боящиеся революции не меньше его, и серьезно доказывают отсутствие достаточных оснований для ареста. Как-будто он сам этого не знает, и как-будто это представляет какой-либо интерес!

Когда депутаты высказались, Столыпин, которому, очевидно, было очень некогда, сразу поставил все точки над «и».

— Да ведь все равно, — ответил он на всю блестящую юридическую аргументацию Маклакова, — думу пришлось бы распустить, если не на этом вопросе, то на аграрном. Здесь соглашение между нами немыслимо.

Вот где была зарыта собака!

М. А. Стахович как-то сказал: «Крестьянство настроено монархически, но если бы для овладения землей ему пришлось перешагнуть через труп монархии, оно не задумается это сделать». Он мог бы прибавить: «Дворянство настроено монархически, но если бы для удержания земли в своей собственности ему понадобилось переступить через трупы монарха и монархии, оно не задумалось бы это сделать».

Так мало значит форма правления по сравнению с его материальным, т.-е. классовым, содержанием!

— Почему вы так думаете? Мы бы могли по аграрному вопросу столковаться, — ответил Столыпину Маклаков.

В. А. Маклаков мне рассказывал, что это был единственный

момент, когда Столыпин оживился и проявил интерес к беседе. Но интерес этот мог быть тогда только историческим. Рубикон был уже перейден.

Трудно передать тот взрыв негодования, который вызвал визит видных депутатов, членов партии народной свободы, к министру разгона дум и государственного переворота. Это недовольство было распространено и в кадетских кругах. Но так как Маклаков был талантливейшим оратором партии и связан с правыми кругами, а в третьей думе было решено «различать в темноте оттенки», то недовольство Маклаковым за грубое нарушение партийной дисциплины не имело никаких практических последствий.

Аудиенция председателя думы у Николая II. Чтобы покончить с делом фракции социал-демократов и связанным с ним роспуском второй Государственной думы, мы приведем беседу председателя думы Головина с царем незадолго до переворота.

Ф. А. как-то рассказывал мне с непритворным негодованием о лживости императора. Негодование было тем живее, что сам Ф. А. Головин был корректным человеком.

На аудиенции, данной Головину, последний делал доклад о работах второй Государственной думы. По окончании царь обратился к Головину с фразой:

— Положение партии народной свободной во второй думе очень трудное. Ее теснят оба крайние фланга, и дума совершенно неработоспособна.

Ф. А. Головин начал доказывать Николаю II, что работа налаживается, что между крайними флангами и центром устанавливается известный modus vivendi.

Царь слушал внимательно и делал вид, что убеждается доводами своего собеседника. Когда Ф. А. Головин начал какую-то фразу словами: «а вот министры говорят», царь его прервал:

— Ну, мало ли что министры говорят! На то и щука в море, чтобы карась не дремал.

И в дальнейшей беседе царь держал себя таким образом, что Головин от него ушел совершенно успокоенный за судьбу думы и за продолжительность ее работ.

Мне это Ф. А. Головин рассказывал уже давно, и возможно, что некоторые подробности этой знаменательной аудиенции, происходившей очень незадолго до подписания манифеста о роспуске думы и государственного переворота, изгладились из моей памяти; но помню хорошо, что Головин ни-

как не мог примириться с мыслью, что царь был самым обыкновенным обманщиком.

Заключение. Подводя итоги сказанному, мы можем утверждать, что процесс социал-демократической фракции был процессом политическим по преимуществу. Он был затеян не в целях уголовной репрессии, а как предлог и оправдание государственного переворота, носившего чисто классовый характер.

Надо было передать выборный закон в руки господствующего класса. Помещичьему государству не могла соответствовать дума мелкой буржуазии. Или дума должна была быть путем избирательного закона приспособлена к интересам землевладения и крупной буржуазии, или же все содержание государственной власти должно было быть изменено в угоду думе.

Такое изменение мирным порядком не делается. И потому еще раз, в последний раз победил помещичий класс.

Процесс социал-демократической фракции был лишь предлогом и оправданием переворота. Если бы этому нужны были доказательства, то визит Маклакова и Струве (кажется, и Н. Н. Львова) к Столыпину дает их в полной мере. Поэтому-то я и счел нужным изложить здесь заседание кадетской фракции по вопросу о выдаче, визит депутатов к Столыпину и аудиенцию Головина у Николая II незадолго до государственного переворота в пользу господствующих классов.

ГЛАВА XXII

ПРОЦЕСС ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ

Обвинение в деятельности незарегистрированной партии. — Обвинение провинциального комитета, как пробный шар. — Дурново о партии народной свободы. — Колебания министерства в вопросе о регистрации партии. — Сущность защитительной речи. — Приговор оправдательный и аплодисменты. — Понижение председателя суда за приговор.

Пробный шар. — Обвинение в отсутствии регистрации. Годы между первой и второй революциями прошли, с одной стороны, в ликвидации дел 1905 года, с другой — в судебных и административных репрессиях против текущих политических преступлений. К последним суды относились значительно строже. Но послереволюционные дела уже выходят за пределы этой книги, и, может быть, в другой раз мы посвятим им другую работу.

Здесь же мы останавливались на таких процессах послереволюционного периода, которые касались дел, имевших место во время революции или до нее.

К числу последних принадлежит процесс комитета конституционно-демократической партии. Ее трудно было заподозрить в желании ниспровергнуть монархическую форму правления. Еще с меньшим основанием можно было говорить о желании изменить общественный строй и водворить социализм.

Но реакция, по естественному ходу событий и имманентному закону каждой реакции, должна была докатиться до предела, когда даже конституционная партия, как таковая, становится для деспотического правительства, прикрывающегося фиговым листом лжеконституционализма, нетерпимой именно в силу ее конституционности.

Пробил час и партии народной свободы. Партия была совершенно открытая. Она печатала в легальной печати отчеты о заседаниях своих комитетов. Правительству прекрасно были известны адреса как местных, так и центрального комитета, хотя бы из партийных и близких к партии официозных органов. О съездах печатались подробные отчеты с именами всех ораторов и изложением их речей.

Одним словом, партия не делала никакой тайны ни из персонального состава своего центрального комитета, ни из своих постановлений, заседаний и съездов. Казалось, что при таких условиях, если уж правительство хотело привлечь партийные организации к суду, то следовало начать с центрального комитета и столичных органов партии.

Но правительство не отважилось на такой шаг. Оно боялось шума и агитации в столице, которые, несомненно, должны были за этим последовать. Поэтому, решено было «начать с конца», т. е. возбудить дело против какого-нибудь отдаленного провинциального комитета и посмотреть, что выйдет из пробного шара. Таким козлищем отпущения был выбран Екатеринбургской комитет партии народной свободы. Ко всему комитету было предъявлено обвинение в устройстве сообщества не зарегистрированного.

Екатеринбургский комитет, руководимый доктором Спасским и Кролем, был одним из крайних левых, всегда поддерживал на съездах вносимые крайней левой резолюции и лично меня, а потому вполне понятно, что он обратился ко мне за защитой. Центральному комитету неудобно было вмешиваться и навязывать своего защитника, несмотря на большое значение, которое процесс имел для всей партии. Не говоря уже о политической установке процесса, юридические его последствия могли отразиться на дальнейшем существовании партии, как открытой организации. Все наши фамилии, все фамилии партийного актива были известны каждому мальчишке, и если бы екатеринбургский процесс прошел с обвинением, нас всех можно было бы посадить в тюрьму.

Председатель Екатеринбургского комитета доктор Спасский, товарищ председателя инженер Кроль и все члены комитета держали себя на суде твердо. Вместо защиты, мы перешли в наступление. Благодаря левому составу комитета, такая позиция легко получила всеобщее признание.

Д у р н о в о о п а р т и и н а р о д н о й с в о б о д ы. В качестве свидетеля мы вызвали, между прочим, секретаря центрального комитета, старого народника А. А. Корнилова, по-

бывавшего в Сибири за свои убеждения. Корнилов, скромный и пользующийся уважением человек, рассказал, что партия сделала все возможное для своей легализации. В срок, установленный законом, было подано прошение и необходимые бумаги.

Однако, никакого ответа не последовало.

Тогда Корнилов отправился к министру внутренних дел того времени, Дурново, с просьбой ускорить дело о регистрации или вообще дать какой-либо ответ.

Дурново дал ответ: «Партия, к которой, очевидно, принадлежит такое огромное большинство населения, не нуждается в легализации».

Разговор происходил уже после выборов, когда, благодаря бойкоту думы левыми партиями, громадное количество депутатов, прошедших в думу, принадлежало к партии народной свободы, но еще до открытия думы.

Смена министерства (вместо Дурново — Столыпин) не внесла ничего нового в вопрос о регистрации партии. Министерство, с одной стороны, очевидно, стеснялось перед лицом Европы запретить единственную в стране действительно конституционную партию, а с другой, оно хотело держать эту партию под постоянной угрозой закрытия и преследования ее актива. Одним словом, правительство хотело не выпускать кадетов из-под своего произвольного усмотрения.

В своей защитительной речи я не защищал подсудимых; я обвинял правительство. Когда скромную девушку спрашивает влюбленный в нее юноша, отвечает ли она на его любовь, то, согласно хорошему тону и известной песенке, она «не скажет да, не скажет нет». Многие одобряют такую стыдливость девушки. Но ведь Дурново не невинная девушка, и если на ходатайство партии правительство не говорит ни «да», ни «нет», то вряд ли такая скромность служит ему к украшению.

Еще меньше пристало правительству давать ответ Пифии, как это сделал Дурново. При древней прорицательнице, как известно, были жрецы, которые истолковывали те нечленораздельные звуки, которые Пифия изрекала. Очевидно, лавры жрецов не давали покоя прокуратуре, и она взяла на себя роль толкователя слов Дурново. Остается пожалеть, что правительство так поздно вздумало разъяснить, что «не нуждаться в легализации» означает итти под суд.

Далее, в юридической части речи я доказывал, что раз партия выполнила все требуемое законом для регистрации, то впредь до получения отрицательного ответа она должна счи-

таться легально существующей. Если правительство не хотело допустить существования партии, то оно не имело права вести такую двусмысленную игру, а министр внутренних дел не должен был, в ответ на ребром поставленный вопрос, изрекать непонятные никому афоризмы.

Приговор. Дело слушалось в окружном суде, который, как общее правило, не рассматривал политических дел. Для этого были палаты и военные суды. В данном случае, по совершенно особым обстоятельствам, скромный процесс о незарегистрированном сообществе приобрел огромный юридический и политический интерес.

В силу того, что окружные суды стояли в стороне от большой дороги политических дел, правительство мало заботилось об их составе, тем более, что оно было поглощено заботой о подборе судей для палаты, сената и военных судов.

Этим объясняется, что в окружных судах еще сохранялись честные и независимые судьи. И вот, к большому скандалу для правительства, Екатеринбургский окружной суд, заседавший под председательством самого председателя суда, оправдал всех обвиняемых. Зал суда, переполненный публикой, загромыхал аплодисментами. Председатель, как это требовалось ритуалом, пригрозил удалить публику за недопустимые в суде аплодисменты.

Столыпин и Щегловитов пришли в настоящую ярость. Но скандал и поражение правительства были слишком очевидны, чтобы переносить дело во вторую инстанцию, а тем паче возбуждать новые дела в том же роде.

Прокуратуре было приказано протеста не подавать. Но Щегловитов не был бы Щегловитовым, если бы он оставил приговор суда без отмщения. Председатель суда был немедленно переведен — конечно, согласно прошения — с большим понижением в члены Казанской палаты.

За приговор? Нет, это было бы недопустимым вторжением в совесть судьи. Официально председателю было поставлено на вид, что он после аплодисментов не удалил публику. О, лицемерие, это — ты!

ГЛАВА XXIII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отдельные классы после революции. — Рабочий класс. — Советская организация. — Крестьянство. — Неудовлетворенность крестьянства результатами первой революции. — Единство крестьянского фронта и его расслоение. — Елецкий процесс. — Тамбовский процесс. — Местный террор. — Привилегированные классы. — Их отход от революции. — Преувеличивание значения этого отхода. — Царь и правительство. — Воинственное настроение царя. — «Не уступать». — Переговоры после роспуска первой думы с общественными деятелями. — Императрица о конституции для России. — Сужение базы власти. — Репрессии судебные и внесудебные. — Приспособление судов. — Расправы со старыми деятелями.

Отдельные классы после революции. — Рабочий класс. Во время изложения процессов мы старались их классифицировать по классам и партиям, поскольку самые партии являются отражением классов. Мы рассматривали с особым интересом выявление классовых организаций и классового самосознания в процессах, которыми мы занимались. Теперь нам предстоит выполнить последнюю задачу: рассмотреть те же элементы, каким они вышли из первой русской революции.

Начнем с класса, которому предстоит сыграть превалирующую роль в дальнейшем движении революции. Начнем с рабочего класса и его партий.

Рабочий класс не мог удовлетвориться завоеваниями первой русской революции. Не говоря уже о том, что рабочий класс вообще в буржуазном обществе не в состоянии полностью разрешить своей классовой проблемы и потому всегда в большей или меньшей степени будет настроен революционно, первая русская революция дала ему очень мало экономически и почти ничего политически.

Избирательным законом он был обречен на положение

ничтожного меньшинства, на роль понятого. Его партии попрежнему преследовались, как подпольные; его профессиональные организации попрежнему не получили легального признания.

При таких условиях нас не может удивить, что в дальнейших политических процессах мы будем встречаться неизменно с рабочим классом, как с элементом революционным.

Мы видели из первых судебных дел, что в революцию рабочий класс вступил разношерстным по степени своей сознательности и по своей организационной силе. В процессе самой революции он получил свое боевое крещение, он способствовал рождению пролетарской партии, он принял ее руководство. В дальнейшем он пойдет в бои уже под определенным знаменем социализма.

В течение всей первой революции приходилось не призывать пролетариат к наступлению, а напротив, сдерживать его. Мы помним процесс почтово-телеграфной забастовки, выскочившей из общего уровня. Мы не забыли сепаратной забастовки петербургского железнодорожного узла, помешавшей осуществлению в полной мере декабрьской всеобщей забастовки[1] и пр.

Как бы то ни было, социал-демократы имели возможность во время первой революции впервые, хоть на очень краткий промежуток времени, вырваться из подполья, прокричать свои лозунги во всеуслышание, ознакомить с собой широкие массы пролетариата.

Советская организация. А пролетариат впервые понял силу и значение собственного класса, мог не отдельными кружками и группами, а всей своей массой приобщиться к революционному движению. Но первая революция дала для пролетариата еще нечто более важное, и притом не только для русского пролетариата, но и для мирового. Я говорю о форме отправления пролетариатом своей диктатуры: о советской конституции. Конечно, в 1905 году нельзя было говорить о разработанной в деталях советской системе; но самый принцип совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов вырос из стачечных комитетов и успел, по крайней мере на верхах, переродиться в советы.

Эта заслуга первой русской революции незабываема. Советы так пришлись к общей структуре рабочего класса и крестьянства, что даже заклятые враги их в моменты борьбы, уже

---

[1] В упорстве нашему автору отказать нельзя. — *Ч.*

во время господства пролетариата, должны были выбросить лозунг: «советы без коммунистов». Это, конечно, было глупостью, такой же глупостью, как если бы кто-нибудь провозгласил: «диктатура рабочего класса без рабочих».

Позднейшей реакции удалось на время загнать рабочих в подполье, терроризировать рядового рабочего; но идея, посеянная первой революцией,[1] сознание своей силы и возможностей своих, воспоминание о советской организации — продолжали жить в толще рабочего класса. Нужна была только подходящая обстановка, чтобы погребенное пеплом реакции пламя вспыхнуло. И эта обстановка была дана 1917 годом.

Крестьянство. Первая русская революция не могла дать крестьянству той степени сознательности, которую она дала рабочему классу. Крестьянство успело лишь расправить свои могучие члены к тому времени, когда удар реакции загнал революцию в подполье. Но первая русская революция разбудила в крестьянстве его вековечную мечту о земле. Потенциальную революционную энергию она превратила в действующую.

За время революции крестьянство успело только раскачаться, и потребуется еще не мало времени, чтобы свое стремление к земле крестьянство связало с государственной системой, политическим и социальным строем. Выборы во все четыре думы; деятельность в них социалистических партий и трудовой группы; репрессии; позиция поддержки дворянства, которую теперь уже совершенно открыто должен был занять царь, — все это закончит уроки по политграмоте, данные крестьянству революцией 1905 года.

Во всяком случае, крестьянство не было удовлетворено завоеваниями 1905 года. Оно только-что вступало в революцию и было бессознательным сторонником тактики «прямого воздействия». Аграрные погромы оно предпочитало парламентской борьбе.

Единство крестьянства и его расслоение. Против привилегированных классов крестьянство стояло сплошной стеной, не диференцируясь между собой[2]. Из дела выборгского воззвания так же, как и из состава трудовой группы, мы могли убедиться, что крестьянство часто выдви-

---

[1] Говоря о советах лишь как о формах правления, автор все же сбивается на аналогию советов 1905 и 1917 годов по существу, что совершенно неправильно.

[2] Это не точно. Не было лишь сословной диференциации, и это надо различать. — Ч.

гало в качестве своих представителей состоятельных крестьян, как более развитых. Таков был, между прочим, трудовик Врагов, защитником которого в выборгском процессе я состоял.

Но, если крестьянство стоит против привилегированных классов, как однородная масса, это не доказывает, что внутри его самого не было расслоения. В одном из процессов, который мне пришлось защищать в Ельце, я наблюдал крайне интересное расслоение на скамье свидетелей в их отношении к пропагандистам. Студент Стуков обвинялся в разбрасывании прокламаций в деревне. Староста с несколькими богатеями погнались за убегавшим Стуковым и поймали его на вокзале. Стуков на суде признался, что это именно он раздавал и разбрасывал прокламации и, тем не менее, рядовые крестьяне в один голос утверждали на суде, что не могут признать обвиняемого.

— Да он сам сознается! — с раздражением обратился председатель к одному из крестьян.

— Его воля, — ответил свидетель, — а мы признать не можем.

Тамбовский процесс. Еще ярче классовое расслоение внутри крестьянства сказалось на одном тамбовском процессе. К сожалению, я забыл фамилию как самого подзащитного, так и остальных обвиняемых, но самый процесс был настолько характерен вообще и в смысле начавшегося расслоения крестьянства, что прекрасно сохранился в моей памяти.

Дело слушалось в военном суде. Председательствовал знаменитый судья-вешатель, — если не ошибаюсь, фамилия его была Лопатин. Это тот самый Лопатин, который приговорил в екатеринославском процессе к повешению десятка два человек, что вызвало вмешательство председателя Государственной думы Родзянко. За такой подвиг, конечно, Лопатин был переведен в Москву.

Это был человек недалекий, безудержного темперамента и без всяких задерживающих центров. Кроме того — большой самоуверенности.

Местный террор. Процесс слушался уже значительно позже роспуска первой Государственной думы. Революция к тому времени распылилась. Крестьянство не успокоилось, оно перешло только к иным способам борьбы, и, между прочим, к местному террору. Убивались стражники, урядники и другие представители власти в деревне.

В одном из уездов Тамбовской губернии такая борьба велась систематически, при чем террористы прибегали также к бомбам. Между прочим, было произведено покушение на

урядника. Дело было передано военному суду. Урядник был фаворит местного губернатора, приобретшего громкую известность своей карьеристской реакционностью.

Мне была предложена защита, и я приехал по обыкновению за несколько дней до слушания дела, чтобы иметь возможность на месте ознакомиться с производством и личностью обвиняемого.

Обвиняемый, зажиточный крестьянин типа Врагова, содержался в тюрьме, где я и имел с ним свидание. Он объяснил мне, что ни душой, ни телом не причастен к преступлению.

— Власти не разбираются в деревенских отношениях, — сказал он мне. — У себя в деревне я в роде Милюкова (оппозиция его величества). Я борюсь с властью законными средствами и в душе являюсь кадетом. Вот и теперь я всеми способами разоблачал урядника и уже почти добился его смещения, как вдруг социалист-революционер (подсудимый назвал своего сообвиняемого, тоже крестьянина) устроил это покушение. Они мне только мешают: благодаря покушению, урядник упрочился. Чтобы отомстить мне за жалобы, которые я подавал на него губернатору, он и припутал меня к делу.

У моего деревенского Милюкова оказалось около 80 десятин земли. Здесь впервые за все время своей адвокатской деятельности и среди целого ряда процессов, которые я успел провести, я встретился с фактом сознательного классового расслоения внутри крестьянского сословия.

Но еще интереснее было наблюдать такое же классовое отношение суда и его председателя к обвиняемому, деревенскому буржую.

— Нашивки имеешь?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Сколько десятин земли?

— Восемьдесят, ваше превосходительство, — отчеканивал наш Милюков.

Судьба подсудимого была решена. Со свойственной Лопатину стремительностью, он уже составил себе непоколебимое убеждение в невиновности обвиняемого и с присущим ему темпераментом проводил это убеждение на протяжении всего процесса.

Помощнику военного прокурора он не давал сказать ни одного слова, обрывал его на каждом шагу. Помощник прокурора стал демонстративно читать газету. Тогда председатель буквально закричал на него: «Прошу во время заседания газеты не читать!». В своем кратком слове я представил истинное

положение дела, т.-е., что процесс подстроен урядником, желающим избавиться от грамотного разоблачителя своих действий.

После минутного совещания обвиняемый был оправдан. Лопатин сказал мне, что как только узнал, что у обвиняемого восемьдесят десятин, пришел к непоколебимому убеждению в его невиновности.

— Помилуйте, будет ли крестьянин, имеющий восемьдесят десятин, заниматься революцией?

Я был поражен таким подходом не меньше, чем сознательным классовым расслоением на скамье подсудимых. Обычно, благодаря сословно-феодальному строю, в глазах властей крестьянин был или «мужичком», или негодяем; деление крестьян на сельскую буржуазию и сельских бедняков в их отношениях к революции я встретил впервые.

Губернатор немедленно подал донос на председателя и вызывал его лично для объяснений. Лопатин, сделавший внезапное открытие о классовом расслоении крестьянства, потом мне горько жаловался и на губернатора и на министерство, нарядившее над ним дознание. Губернатор, как оказалось, в повышенном тоне упрекал судью в том, что он не поддержал «слугу царя и отечества».

На дознание в качестве свидетеля вызывали и меня, но весь инцидент, кажется, не имел для судьи последствий.

Таким вышло крестьянство из первой революции. Стена по отношению к привилегированным классам, очень слабые и очень редкие признаки сознательного классового расслоения внутри самого крестьянства. Жажда земли, сильно поколебленный авторитет монарха, жажда воли, не как комплекса демократических свобод, а как освобождения от гнета помещиков и дворянской государственности.

Привилегированные классы. Привилегированные классы вошли в первую революцию с самыми радужными надеждами. В выступлениях рабочих, крестьян и служащих они видели орудие для борьбы за их интересы. Мы, конечно, здесь не имеем в виду тех групп привилегированных классов, интересы которых были тесно связаны со старым режимом и самодержавием.

Как сейчас, помню начало железнодорожной забастовки. Мы возвращались из Костромы в Москву. Тащились набитые в один вагон. Тут и крестьяне, и рабочие, и крупная буржуазия. Входит кондуктор и объявляет, что вследствие забастовки поезд дальше не пойдет.

Надо было видеть всеобщую радость самой разношерстной публики, наполнявшей вагон. Казалось, не было сословий и классов; казалось, все одинаково приветствуют грядущую революцию.

Какая разница между всеобщим ликованием, встретившим первую забастовку, и тем озлоблением ,с которым впоследствии относились к революционным забастовкам сначала крупная буржуазия и либеральное дворянство, а затем и интеллигенция или, по крайней мере, ее цензовая часть! А позднее, гораздо позднее, в 1917 году это раздражение захватит по самым разнообразным причинам уже почти всю интеллигенцию и даже «революционные» партии.

Дворянство и крупная буржуазия первые испугались революции. Партии, представляющие эти классы, — правые, националисты, октябристы, прогрессисты — лишь различные оттенки этого испуга.

Городская мелкая буржуазия, интеллигенция и часть либерального земства, сгруппировавшиеся в партию народной свободы, вышли из первой революции значительно поправевшими, но еще не отвернувшимися от революции. Партия все время станет колебаться между революцией и правительством, между конституционным стремлением и порядком. Отчасти она будет делать это из тактических соображений, отчасти — по своим социальным устремлениям. Что же касается интеллигенции, даже левой ее части, то она на этот раз не пошла по пути, предуказанному ее былым вождем Н. Г. Чернышевским. Гениальный провидец более чем за полвека до революции заносит в свой дневник: «А если вспыхнет (революция *М. М.*), я приму участие. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня. Правление должно перейти в руки самого низшего и многочисленного класса земледельцев, поденщиков, рабочих, так чтобы через это мы были избавлены от всяких переходных состояний...»

Но ошибаются те, кто приписывает непосредственную неудачу революции 1905 года расслоению в ее рядах или форсированию событий революционными партиями, — форсированию, якобы отпугнувшему от революции буржуазию. Влиятельные в качестве силы оппозиционной, наша крупная буржуазия и наше либеральное дворянство были совершенно ничтожны и бессильны в качестве силы революционной, как всякая буржуазия, в своих корнях не опирающаяся на крестьянство.

Привилегированные классы могли своим влиянием на пра-

вительство усилить или ослабить реакцию, но создать контрреволюцию или революцию они были бессильны.

Царь и правительство. Таким образом, мы видели, что массы вышли из первой революции готовыми к новой схватке, хотя не в равной мере сознательные и организованные.

Воинственно были настроены и по ту сторону баррикады. Царь и правительство решили, что «дарование» конституции не вызывалось необходимостью, что это была ошибка, сделанная под влиянием и давлением Витте. Было решено держаться впредь твердого курса, не делая никаких уступок. С революционерами — борьба на уничтожение; с оппозицией — отсутствие всяких церемоний.

Отчасти под влиянием такого решения, отчасти благодаря самой сущности представительных учреждений, царю пришлось сбросить свою внеклассовую маску и предстать перед крестьянством, как царю помещиков и крупной буржуазии. А это обстоятельство само по себе содействовало дальнейшему революционизированию крестьянства, тем более, что класс помещиков тоже стал в воинственно-контрреволюционное положение.

Таким образом, оба лагеря не склонны были к разоружению. Один в каждую минуту готов был взяться за вилы; другой приготовился к отчаянной обороне. Но внешне все было покойно. Я помню, когда еще сидел в тюрьме, разговор начальника тюрьмы с приехавшим жандармом.

— Все спокойно? — спросил начальник тюрьмы.

— Теперь все будет спокойно, — ответил ему самодовольно и молодцевато жандармский ротмистр.

Когда я был как-раз на другой день после роспуска первой Государственной думы у Макарова, заведывавшего тогда полицией, по вопросу о разрешении жить в России (мне был разрешен временный въезд), он подвел меня к окну и не без чувства удовлетворения, показывая на улицы Петербурга, сказал:

— Посмотрите, разве столица похожа на состояние революции?

Лед, сковавший на зиму реку, правительство в своем ослеплении принимало за прочный базис для строительства дворянской государственности.

После роспуска первой думы правительство еще колебалось. Оно вело переговоры с общественными деятелями типа Н. Н. Львова относительно образования смешанного министерства. Львов даже составлял программу и ни за что не

хотел верить, когда я предсказывал ему, что из новой затеи не получится ничего. Он был принят царем и царицей. Последняя сказала ему:

— Конституция — это, конечно, очень хорошо. Но ведь русский народ к ней не подготовлен!

И все-таки он продолжал верить!

— Помилуйте, — возражал он на мой скептицизм, — мне даже поручено написать программу.

Так он со своей программой и остался. Правительство, как только увидело, что страна спокойно отнеслась к роспуску первой думы и не воздвигла баррикад на улицах столицы, решило, что никаких общественных деятелей ему не надо и что оно может управлять попрежнему. Столыпин разыграл перед Львовым мелодраматическую сцену.

— Они в Царском Селе там ничего не понимают! — воскликнул он, схватив себя за голову, когда Львов пришел к нему для окончательного сформирования министерства.

И я никак не мог уверить Львова, что Столыпин вполне солидарен с царем и что разыграл перед Львовым комедию, на которые новый премьер был такой мастер.

С этих пор началось постепенное сужение базы власти, пока, наконец, в решительную минуту около трона не остались только одни лакеи. Но лакеи при сотрудничестве с ними обладают сотнями достоинств и — только одним недостатком: когда в действительно тяжелую минуту их услуги нужны, а платить больше нечем, лакеи разбегаются.

Николай II познал эту истину.

«Всюду предательство, подлость и трусость», — писал царь в своем дневнике, когда после отречения от престола остался один. Он не прибавил, что все свое царствование только и делал, что культивировал эти свойства.

Впрочем, похмелье наступило много позже. Из первой же революции правительство вышло формально победителем. А что зрело в толще народной, какие силы там накапливались, — правительство не хотело и не умело видеть. Оно рассчитывало на репрессии. Но никакие репрессии, никакие силы и ограничения свободы не могут спасти правительство экономически мертвого класса, опирающееся только на силу штыков и вставшее поперек развитию производительных сил страны. Это — бесспорная истина.

Деспотизм Абдул-Гамида, деспотизм китайских императоров, не допускавших и тени критики, пал так же, как и наше самодержавие.

Репрессии судебные и внесудебные. Распустивши первую думу, Столыпин пытался, на ряду с репрессиями, создать и органические меры борьбы с революцией. Часть казенных и удельных земель должна была отойти в земельный фонд для крестьян. Была выработана целая система хуторских хозяйств, но центр тяжести борьбы с революцией все-таки заключался не в реформах, а исключительно в репрессиях.

На предложение Львова отказаться от административных репрессий, Столыпин, как мы видели, ответил отрицательно, ссылаясь на неподготовленность судей. Таким образом, вплоть до второй революции у нас существовали и судебные и административные меры борьбы с надвигающимися потрясениями.

Первые две думы мешали проявиться политике репрессий во всей задуманной Столыпиным и Щегловитовым широте. Приходилось соблюдать хотя некоторое приличие. Зато после государственного переворота, при третьей Государственной думе, можно было распоясаться во-всю. Дума не только не мешала правительству расправляться жесточайшим образом с революционерами, но, напротив, требовала все новых и новых жертв.

Когда один из депутатов с думской трибуны заявил протест против массовых смертных приговоров, со скамей правых раздались крики:

— Мало, мало!

— Для того, чтобы отстоять ваши привилегии, — обратился к прерывавшим правым скамьям оратор, — сколько бы ни выносилось смертных приговоров, все будет мало. Ваши привилегии могут быть поддержаны только целым лесом виселиц!

Приспособление судов. Одновременно происходило приспособление судебных учреждений к задачам борьбы с революцией. Заведомые дураки назначались на ответственные посты председателей уголовных департаментов палат, если только они ни перед чем не останавливались. Так, в Саратовскую палату был назначен большой дурак и невежда, Евреинов, только за то, что он сыпал без разбора каторжные приговоры. Другим судьям давалось понять, что они не получат никакого повышения, доколе не перестанут «либеральничать», т.-е. доколе не перестанут быть судьями и не станут палачами. Третьих переводили из уголовных отделений в гражданские или даже просто сокращали.

Таким образом, подбор судей скоро не оставлял желать лучшего.

Мы видели, что на первых порах ликвидация дел первой революции велась с некоторой умеренностью. Казалось, что чем дальше она отодвигалась в историю, тем слабее должны быть налагаемые репрессии. На самом же деле, чем более преступление покрывалось пылью времени, чем тверже чувствовало себя правительство, тем жестче суд расправлялся со своими противниками.

Наиболее важные дела слушались, конечно, непосредственно после 1905—06 г.г. Дальше шли уже мелочи: то вдруг в 1912 году поймают кого-нибудь из учеников гимназии Фидлера, которого не заметили своевременно; то вспомнят о мелком чиновнике почты, о котором раньше забыли.

И вот, в пустом зале, при скучающем прокуроре, при зевающих свидетелях, давно успевших уже все забыть, в обстановке, так же далекой от той, в которой обвиняемые совершали свои преступления, как далек был грохот пушек 1905 года на улицах Москвы от спокойно мчавшихся по ним теперь автомобилей с разряженными дамами, — начинался разбор дела. Обвиняемые — иные успели возмужать, иные состариться. Зал пуст, дело никого, даже самого обвиняемого, не интересует, и вдруг... ссылка на поселение, в каторжные работы!

Так все усиливающаяся реакция на протяжении многих лет тешила себя преследованием своих бывших врагов, делая из правосудия и социальной защиты орудие бессмысленной и бесцельной мести.

А в это время подрастали новые люди, новые борцы, и на них совершенно не действовали никому не нужные и ничего не говорящие процессы по делам 1905 года, успевшего стать историей.

Революция была загнана в подполье для того, чтобы через двенадцать лет, сразу, как карточный домик, снести с поверхности политической жизни и монархию, и те классы, во имя которых она существовала.

Москва — Кисловодск.

20 июня — 20 декабря 1929 года.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

В

Г

Д

Е.

Ж

З

И

К

Л

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Я

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава IV

САРАТОВСКАЯ МАНИФЕСТАЦИЯ

Глава V

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

Глава VI

РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

Глава VII

КИШИНЕВСКИЙ ПОГРОМ

Глава VIII

ГОМЕЛЬСКИЙ ПОГРОМ

Глава IX

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ КЛАССЫ

Глава X

ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ

Глава XI

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Глава XII

ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ

Глава XIII

ПРОЦЕССЫ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ

Глава XIV

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Глава XV

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Глава XVI

СОЮЗЫ

Глава XVII
ПРЫЖОК ТИГРА

Глава XVIII
ПОСЛЕ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ

Глава XIX
ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ

Глава XX
ВОССТАНИЕ НА ПРЕСНЕ. — КАШИРСКАЯ ЗАБАСТОВКА

Цена 3 р. 50 к.



ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1. Правлению Издательства политкаторжан — Москва, ГСП-10, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73 и 1-31-26.
2. Магазину Издательства политкаторжан „МАЯК“ — Москва-Центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.

